# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Сборник научных трудов
Выпуск 1

ВИЛЬНЮС
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2007

УДК 009(08)
ББК 6/8я43
А43

*Рекомендовано к изданию:
Академическим советом магистерских, аспирантских и иных программ последипломного образования Европейского гуманитарного университета
(протокол № 43-07 от 26 сентября 2007 г.);
Редакционно-издательским советом Европейского гуманитарного университета (протокол № 2 от 5 ноября 2007 г.)*

Редколлегия:
А.В. Лаврухин (глав. ред.), И.Н. Дунаева, А.Н. Колбаско,
А.Н. Круглашов, И. Матоните, С.А. Наумова, Г.Н. Саганович, А.А. Соколова,
М.А. Соколова, А.Р. Усманова, В.Н. Фурс

norden

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Европейского Союза и Совета министров Северных стран

А43 **Актуальные** проблемы гуманитарных и социальных наук : сб. науч. тр. Вып. 1 / редкол. : А.В. Лаврухин (гл. ред.) [и др.]. – Вильнюс : ЕГУ, 2007. – 318 с.

ISBN 978-9955-773-01-6.

В сборнике представлены научные труды молодых исследователей Европейского гуманитарного университета, затрагивающие современные проблемы философии, культурологии, правоведения, других областей гуманитарного знания.

Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей.

**УДК 009(08)**
**ББК 6/8я43**

**ISBN 978-9955-773-01-6** © Европейский гуманитарный университет, 2007

# СОДЕРЖАНИЕ

# ОТ РЕКТОРА

Первый выпуск сборника научных трудов молодых исследователей Европейского гуманитарного университета имеет своей целью восполнение все еще существующего в современной литературе пробела, связанного с переосмыслением многообразия всего того, что было вызвано к жизни гуманитарными науками. Нам все еще предстоит осознать с большей отчетливостью, чем мы это делали до сих пор, суть того, что мы подразумеваем под гуманитарным знанием. В самом общем виде оно представляет собой способ осмысления человеком и обществом собственных проблем.

Такого рода знание никогда не отвечало потребностям и нуждам общества, однако особенно очевидной его недостаточность становится в свете беспрецедентного динамизма современных изменений в мире. Испытавший драматизм этих изменений XX в. в такой степени подверг переосмыслению традиционные устои и принципы нашего мышления, что крайне насущная проблема собственного самоопределения по отношению к этому знанию значительно осложнилась. Отныне мы уже не можем с абсолютной уверенностью полагаться на то, что еще вчера казалось нам столь очевидным и незыблемым.

И тем не менее в этой утрате привычных ориентиров и почвы под ногами таятся неисчерпаемые возможности для каждого из нас. Мышление получает возможность для своей подлинной реализации лишь в атмосфере *свободного* проявления себя в ответ на вызовы, которые предъявляет нам наша жизнь.

Разумеется, это не предполагает, что мы абсолютно суверенны и автономны по отношению к многообразию импульсов той интеллектуальной традиции, причастность к которой была затруднена для нас целым рядом обстоятельств, в том числе и длительным разрушительным доминированием тоталитарной идеологии. Нам все еще предстоит напряженная работа по восстановлению связей с идейным наследием, которое предопределяет контуры современной цивилизации. Главная задача, од-

нако, заключается в том, чтобы, приобщаясь к этому наследию, мы могли содействовать пробуждению личностного творческого начала, способного нейтрализовать догматически эпигонское следование в заведомо заданном, парализующем самостоятельность мышления русле.

Наш сборник выходит в свет в новых условиях воссоздания ЕГУ в гостеприимной Литовской Республике. Уверен в том, что совместными усилиями мы сумеем сформировать интеллектуальное сообщество, столь необходимое для решения насущных задач, стоящих перед Беларусью.

*А.А. Михайлов*

***Ю.А. Бедаш***

# ОПЫТ РАЗЛИЧЕНИЯ И ГЕНЕЗИС НАЦИОНАЛИЗМА

В статье осуществляется феноменологический анализ феноменов нации и национализма. С точки зрения автора, нация, «естественно» рождаясь из самой – хиазматической – структуры жизненного мира, заключает в себе, однако, возможность патологических деформаций, которые возникают вследствие нарушения вышеупомянутой структуры. В роли «пускового механизма» деформации базовой хиазматической структуры выступает национализм, заключающий в себе гипертрофию аспекта идентификации (акцентуация Своего в ущерб Чужому).

## 1. Введение

Оглядываясь на прошлое столетие, осознаешь, что ничто другое в нем не имело такой силы и власти, как нации и, соответственно, национализм. Какую бы область социального мира мы ни взяли – политику, искусство, экономику, науку, образование, спорт и т.д. – всюду заметна ведущая роль нации в определении интересов и ценностей, имеющих основополагающее значение для любой из сфер человеческой деятельности. В этой связи тезис британского исследователя Энтони Смита о том, что основной путь, каким должно двигаться понимание природы современного мира, – это путь, ведущий через объяснение природы и происхождения наций [4, с. 106], приобретает особую актуальность.

Если парадигматическая роль нации в современном мире у исследователей серьезных разногласий не вызывает, то вопрос

о «происхождении» наций остается полемичным и сегодня. Динамику этой полемике придают две крайних позиции, одну из которых принято сегодня называть «примордиализмом», вторую – «модернизмом». Если «модернисты» настаивают на том, что нация – это чистая абстракция, воображаемое сообщество, сконструированное в определенное время теми или иными элитами, то «примордиалисты» говорят о «реальности» наций и о том, что порождаемое ими национальное чувство – это не конструкт, но то, что зарождается в совершенно естественных связях того или иного этнического сообщества и воплощается в его повседневном самосознании. Наша задача – реконструировать генезис двух этих точек зрения на природу нации и национализма и затем сопоставить их в рамках одной, общей для них теоретической перспективы, которую я попытаюсь разработать в общих чертах, используя концептуальные средства феноменологической философии.

## 2. Структура жизненного мира: Свое\Чужое

Как бы мы ни критиковали национализм, в особенности его радикальные формы (ксенофобию, расизм и шовинизм), и сколько бы мы ни говорили о его противоестественном и разрушительном для человеческого существа характере, следует, однако, признать, что лежащая в его основании идея нации порождается «естественным» образом – самой структурой жизненного мира. Имеется в виду следующее: в представлении о таком гомогенном и гомогенизирующем феномене, как нация всегда заключено *различение*, которое является неотъемлемой характеристикой структуры жизненного мира. Жизненный мир принципиально гетерогенен и таит в себе множество отдельных миров (*Sonderwelten*), которые, в свою очередь, тоже многомерны, многослойны и плюралистичны. Но главным различением, лежащим в основании жизненного мира и всех его измерений, является различение между Своим и Чужим (Б. Вальденфельс), или, как это ранее сформулировал Э. Гуссерль, различение между родным (*Heimwelt*) и чужим (*Fremdwelt*) миром, служащее отправным пунктом для всех других различений: своя\чужая семья, родной\чужой язык, своя\чужая нация, эксперт\профан, больной\здоровый и т.д.

Внутренний плюрализм жизненного мира раскрывает его как *Zwischenwelt* (Между-мирие). Это «между» представляет собой констелляцию особого рода, образующуюся путем «переплетения», «скрещивания», «столкновения» Своего и Чужого, и указывающую на исходную – *хиазматическую* – структуру отношений между родным и чужим миром. «Эта фигура мышления [скрещивание] противодействует экстремальному противопоставлению абсолютного совпадения или полного слияния, с одной стороны, и абсолютной разнородности – с другой. Применительно к противоположности Своего и Чужого скрещивание означает, во-первых, что Свое и Чужое *в большей или меньшей степени* вплетены друг в друга подобно сети, способной уплотняться или ослабевать. Во-вторых, это означает, что свое и чужое всегда разделяют лишь *нечеткие границы* (*unscharfe Grenzen*), которые больше похожи на акцентирование, взвешивание и статистическое сложение, нежели на тщательное разделение» [8, с. 67].

Хиазматическая структура указывает на *соконститутивность*, *ко-реллятивность* и *ко-генеративность* родного и чужого миров [5, с. 178–185]. Хиазма, или, другими словами, переплетение, скрещивание, как форма отношений Своего и Чужого указывает на *децентрированный* и *неиерархичный* характер этих отношений. Не случайно Б. Вальденфельс сравнивает эти отношения с *сетью*, в которой есть узлы, поперечные соединения, но нет центров [6, с. 140]. Это означает, что ни родной, ни чужой мир не могут и не должны рассматриваться в качестве «первоначальной сферы», выполняющей функцию основания, поскольку они конститутивно взаимозависимы и эта взаимозависимость носит структурный характер: уникальность Чужого задается границами Своего, образующего *горизонт* для первого, и наоборот.

Энтони Стейнбок вслед за Э. Гуссерлем говорит о том, что со-конституирование родного и чужого мира происходит через процесс *нормализации*[1], *который он называет пограничным опытом* (*liminal experiencing*), выделяя при этом две его формы:

[1] Стоит заметить, что нормальное и ненормальное выступают как у Гуссерля, так и у Стейнбока модальностями смыслообразования и не связаны с медико-психологическими представлениями о нормальном и, соответственно, ненормальном.

*присвоение* (*appropriation*) и *трансгрессию*. Важно отметить, что пограничный опыт протекает не в какой-то одной из двух этих форм, но сразу в обеих, поскольку каждая из них дополняет другую. Это значит, что со-конституция чужого мира происходит через присвоение родного, а со-конституция родного мира – через трансгрессивное столкновение с чужим. Развивая, усваивая и тем самым при*сваи*вая родной мир как нормальный, с определенной традицией, социальной структурой и системой ценностей, мы одновременно участвуем в со-конституировании чужого мира как *не* принадлежащего к нашей традиции, к нашей системе ценностей, к тому, что мы называем нормальным [5, с. 181]. В то же время чужой мир всегда вносит коррективы в формирование родного мира путем трансгрессии. Тем самым еще раз подтверждается, что родной и чужой мир находятся не в отношении некоего вертикального фундирования, но в отношении ко-релляции, для которого принципиальное значение имеет их децентрированный, ко-генеративный и со-конститутивный характер.

Идея пограничного конституирования Своего и Чужого преодолевает, таким образом, просвещенческую, метафизическую традицию негативной трактовки границы как того, что лишь ограничивает и разделяет. Напротив, как показывает феноменологический анализ родного и чужого мира, граница, вернее опыт границы, имеет позитивное значение: он формирует измерения Своего и Чужого, указывая на уникальность каждого из них.

Эти рассуждения во многом совпадают с *кооперативным* понятием границы Ульриха Бека [10, с. 96], в основании которого лежит не *эксклюзивный* («или-или»), а *инклюзивный* («не только, но и») способ «демаркации»: границы возникают не вследствие исключения, а вследствие пересечения и столкновения Своего и Чужого. Именно такие – подвижные и проницаемые – границы образуют структуру жизненного мира.

Безусловно, все вышесказанное не отменяет *привилегированного* характера родного мира (в качестве *дома*, *родины*, *нормального* мира) для нас, оно лишь указывает на то, что эта привилегированность не является структурной. Вот что на этот счет пишет Энтони Стейнбок: «Родной мир является привилегированным, поскольку он развивается с внутренне присущей ему

когерентностью. Родной мир является нормальным, поскольку как типично знакомый в генеративной плотности традиции, он оказывается тем, посредством чего наши опыты соединяются как наши собственные и именно таким образом, что наш мир структурирует сам наш опыт» [5, с. 184]. Таким образом, тот приоритет, которым мы наделяем родной мир, ничего не меняет в структуре отношений между родным и чужим миром, описанной выше. Не случайно в этой связи Энтони Стейнбок называет аспект ко-релятивности Своего и Чужого «*аксиологической асимметрией*», имея в виду несводимость этих позиций друг к другу и значимость каждой из них.

Признавая привилегированность Своего (со всеми сделанными оговорками), мы всегда должны помнить об онтологической значимости Чужого и хиазматической структуре отношений между Своим и Чужим. Анализ этой структуры позволяет нам, вслед за Б. Вальденфельсом [7, с. 156–158], сделать следующие выводы:

- *Изначально есть различие*, а *не единство*. Как было показано, Свое и Чужое возникают из *различения*. Вера в изначальное единство – это иллюзия, которая, однако, может вырасти в идеологию.
- *Изначально есть переплетение и смешивание, а не чистота*. Хиазматическая структура противостоит любой форме чистоты, будь то чистота некой расы, нации, культуры, идеи или разума.
- И, наконец *все виды и степени различения случайны*, поскольку не являются раз и навсегда заданными, а формируются контекстом. Это, конечно, не означает, что границы проводятся совершенно произвольно. Речь идет, скорее, о том, что они могут быть проведены *по-другому* в изменившихся исторических условиях.

Структура Свой\Чужой играет ключевую роль в рассмотрении многих вопросов, в том числе и при рассмотрении проблемы «своя\чужая нация» и проблемы национализма. Проведенный выше, пусть и достаточно схематично, анализ и сделанные на его основании выводы послужат нам в этом исследовании концептуальным базисом.

## 3. «Рождение» нации как пограничный опыт

Что же такое нация и каково ее происхождение? Пусть коренное значение слова «нация» («*natio*» от «*nasci*» = «быть рожденным») и склоняет к тому, чтобы мыслить этот феномен как нечто естественное, я все же предпочитаю в своем анализе делать акцент на его *символической* роли как элемента социальной классификации и диагностики, даже если изначальным правом на определение этого символа обладала та или иная этническая группа. Интерес к этому символу вызван самой его историей, которая показывает, что нация является одним из самых мощных символов, вызывающих социальные битвы и трения, которыми так изобиловало прошлое столетие. Но вернемся к поставленному выше вопросу.

На основании предыдущих рассуждений мы можем сказать, что нация рожается из *различения*. Не бывает просто нации. Она всегда формируется либо как «своя», либо как «чужая». Конституирование своей нации – это пограничный опыт, предполагающий одновременое со-конституирование и делиминирование чужой нации. В качестве примера можно привести любой националистический дискурс, выстраиваемый всегда *контрастным* способом: особенности той или иной нации артикулируются там, где она соприкасается с границами, отделяющими ее от других наций. Некоторое сообщество рассматривается как «своя нация» лишь потому, что существует некоторое другое сообщество, рассматриваемое как чужое, к которому мы не относимся и которое не отвечает «нашим нормам». Столкновение с Чужим, повторюсь, совершенно необходимо для при*своe*ния Своего (своей нации). Кроме того, в случае с нацией этот контраст необходим для артикуляции ее уникальности и неповторимости, что, собственно, только и позволяет нации найти признание среди других наций и сообществ: «Другая группа является той самой воображаемой противостоящей стороной, тем противовесом, который необходим нашей группе для самоидентификации, для ее согласованности, внутренней сплоченности и эмоциональной безопасности… если бы такой группы не существовало, ее следовало бы придумать…» [9].

И все-таки что за чуждость имеется в виду в этом контексте? Согласно Б. Вальденфельсу, существуют различные формы чуждости [8, с. 78], а именно:

● *повседневная*, или *нормальная, Чуждость*, дающая о себе знать (например, в случае с прохожим или незнакомым соседом) внутри общего порядка;

● *структурная Чуждость*, обнаруживающаяся (например, в случае профессионального языка, который не знаком дилетанту, или иностранного языка, на котором не говорят местные жители) вне определенного порядка. Эта Чуждость, как говорит Вальденфельс, ведет нас к чужим мирам;

● *радикальная Чуждость*, которая существует вне всяких установленных порядков. Эта форма вне-порядковости (Außerordentlichkeit) указывает, по Вальденфельсу, на такие пограничные феномены или, иначе, гиперфеномены как эрос, искусство, рождение и смерть.

В случае с нацией мы имеем дело со второй формой чуждости – структурной, которая выступает контрастным фоном, выполняющим конститутивную функцию в формировании национальной идентичности[2]. Как всякая идентичность, нация представляет собой целый комплекс, образуемый процессами различного уровня. В этой связи весьма продуктивным, с моей точки зрения, оказывается подход британского социального теоретика П.В. Престона [3], который рассматривает идентичность в контексте анализа трех взаимосвязанных моментов: *места действия* (*locale*), *сети* (*network*) и *памяти* (*memory*). Этот подход, на мой взгляд, заслуживает внимания не из-за своей оригинальности, а, напротив, ввиду своей простоты, благодаря чему и становится универсальным. Несложно заметить, что эта триада – место, сеть и память – присутствует в том или ином виде у большинства исследователей нации и национализма.

Итак, нацию можно определить как сообщество людей, образующих социальную сеть, существующую в синхроническом и диахроническом срезе и сотканную из отношений различного рода – экономических, политических, культурных, лингвистических, религиозных, исторических, географических – и их рефлексии в коллективном сознании [2]. Большинство этих связей, стоит заметить, взаимозаменяемы: одни играют главную роль в процессе формирования определенной нации, в то время как для другой нации эти самые же связи выступают лишь в эпизодических ролях, уступая первенство другим. И тем не менее есть

2 Нацию я рассматриваю как одну из форм коллективной идентичности.

несколько неизменных элементов, которые можно обнаружить в процессе становления любой нации:

● *Миф* или серия мифов о происхождении этого сообщества, в которых толкуется о том, как представители данного сообщества были связаны воедино общим для всех историческим прошлым.

● Несколько общих исторических воспоминаний о том, что было пережито вместе. Это *память* общего прошлого, которая трактуется как «судьба» этой группы, как факт, который сложно оспорить.

● Общая «историческая *территория*», «родина» или же ассоциация с ней.

● Плотность лингвистических, религиозных или культурных связей, делающая возможным высокий уровень *социальной коммуникации* в этом сообществе и за его пределами.

● Концепция *равенства* всех членов сообщества, организованного как гражданское общество.

Но как бы исследователи, занимающие позицию так называемого «примордиализма», ни пытались приводить некоторые из перечисленных выше моментов в качестве обоснования «естественности» нации как неустранимого факта, как «приговора истории, реальность которого столь же объективна и ощутима, как реальность любого природного явления» [9] и говорить о практически «природном» качестве этнических связей (ссылаясь зачастую на факт территориальной и языковой общности), в которых, собственно, и зарождается то национальное чувство, близкое родственному, которое отличает национальное от всякого другого коллективного чувства, я все-таки продолжаю настаивать на символической «природе» нации. Нации являются, несмотря на ту силу и власть, которыми некоторые из них обладают, *воображаемыми сообществами*[3], *которые формируются в определенных исторических условиях путем артикуляции собственной уникальности через разграничение со всем тем, что является Чужим как находящимся вне наших* лингвистических,

[3] Определение, введенное Б. Андерсоном. Об этом подробнее: *Anderson B.* 1991: Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism; L. – N. Y.: Verso (в русском переводе: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Кучково поле, 2001).

религиозных, социальных и культурных связей, как неродным, неравным, с иной судьбой и иного происхождения. Тем самым, однако, не говорится, что нация – это нечто эфемерное, иллюзорное, нереальное. Напротив, это – реальность, но не данная от природы, а социальная, вызванная к жизни и поддерживаемая социальными процессами различного уровня.

Если и можно говорить о некоторой «естественности» нации, то только в том смысле, что сама структура жизненного мира позволяет формироваться таким символам социальной классификации как нации. Нация – это символ, «рожденный» в гетерогенной структуре жизненного мира и служащий, как говорит Кэтрин Вердери, легитимации различного рода социальных движений и действий [11].

## 4. Национализм как деформация опыта Своего и Чужого

Именно социальное происхождение наций объясняет само стремление активистов того или иного национального движения обосновать естественность будущей нации (*nation-to-be*). Формирование любой нации начинается именно с национального движения, которое проходит в своем развитии несколько стадий [2, с. 63]:

а) энергия активистов сосредоточена вокруг научных исследований, направленных на выявление культурных, лингвистических, социальных и исторических особенностей определенной группы;

б) возникает новая группа активистов, которая пытается путем патриотической агитации пробудить национальное сознание у представителей определенного сообщества (довольно часто это этническая группа);

в) формируется массовое национальное движение, когда уже большинство представителей определенного сообщества ассоциирует себя с той или иной национальной идентичностью.

Все эти стадии представляют собой одновременно этапы формирования национальной идентичности: от генезиса самой идеи или символа нации до использования этого символа в повседневных практиках, что позволяет тому или иному сообществу осознавать собственное *место* в мире, быть включенным

в некоторую *сеть* смыслов, которые аккумулируются в коллективной *памяти*, образуя тем самым основу для социального и межличностного взаимопонимания и взаимодействия внутри этого сообщества и за его пределами.

Хотя Мирослав Хрох и говорит о необходимости различать национальное движение (как организованные попытки, направленные на достижение атрибутов полноценной нации) и национализм (как точку зрения, для которой лишь определенная нация представляет абсолютный приоритет и ценность), следует, однако, заметить, что это различие весьма спорное. И первое, и второе являются лишь различными формами национализма как «гомогенизирующего, дифференцирующего или классифицирующего дискурса, или приведения к однородности: он адресует свой призыв людям, которых предположительно что-то объединяет друг с другом, противопоставляя их тем людям, которых, опять же предположительно, ничто не связывает между собой» [11].

Таким образом, в формировании нации мы можем усмотреть два движения – *центростремительное* и *центробежное*: первое направлено на сведение воедино и ведет к центрированию, как сказал бы Б. Вальденфельс, второе – на дифференциацию и ведет к децентрированию. На первый взгляд, это полностью соответствует структуре отношений Своего и Чужого, о которой упоминалось выше: конституирование Своего всегда происходит через трансгрессивное столкновение с Чужим.

Но все-таки это не так. На самом деле проводимые в националистическом дискурсе дифференциации ведут не к различению, а к *индифферентности*, к сглаживанию различий между Своим и Чужим, ведущим, в свою очередь, к присвоению, ассимиляции и, в конечном итоге, элиминации Чужого. Все эти националистические дифференциации являются в результате обратной стороной центрирования и приводят к деформации хиазматической структуры, к разрушению той аксиологической асимметрии между Своим и Чужим, о которой говорилось ранее, путем уничтожения самого измерения Чужого и нивелирования его значимости в структуре жизненного мира.

Этот деформирующий, основанный на центрировании характер национализма просматривается во всех его формах, которые можно разделить, опираясь на типологию Б. Вальденфельса [7,

с. 151], на *оборонительный* (дефенсивный), ведущий к образованию относительно закрытых сообществ, микроцентров путем ограждения и сопротивления (форма, ведущая к регионализму, провинциализму), и *наступательный* (оффенсивный), ведущий к образованию макроцентров, метрополий путем расширения, завоевания и присоединения (форма, ведущая к космополитизму).

Обе эти формы национализма демонстрируют уязвимость нации как символического образования, которое пытаются сделать более устойчивым путем проведения жестких границ. Неслучайным является само стремление нации институционализироваться, оформиться в государство. Государство имеет всегда четко очерченные границы, как на карте, так и на поверхности земли. Кроме того, силовой потенциал государства позволяет легитимировать интересы определенной группы путем принятия законов, «которые должны соблюдаться всеми подданными этой власти… и теми, кто окажется на территории этого государства лишь в физическом смысле» [9]. Однако, стоит заметить, тенденция нации к институционализации выгодна и самому государству, которое может использовать потенциал национализма для собственной легитимации. «Национальное государство требует подчинения на том основании, что оно выступает от имени нации, и поэтому дисциплина по отношении к государству, как и подчинение общей национальной судьбе, являются ценностью, которая не служит никакой иной цели, являясь целью самой по себе. Неповиновение государству – наказуемое преступление – становится теперь чем-то большим, нежели «простое» нарушение закона: оно превращается в предательство дела нации – в грустный, безнравственный поступок…» [9].

Именно таким образом национализм перерождается в идеологию, являющуюся результатом деформации пограничного опыта и симптомом гетерофобии (боязнью различений). Не только жизненный мир имеет гетерогенную структуру, но и сознание как его коррелят. Первичный (нормальный) опыт сознания – это опыт различений, деформация же этого опыта предполагает нехватку этих различений, которая говорит об аномалиях в опыте. В своей монографии «Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания» В.И. Молчанов описывает такую деформацию опыта сознания, как агрессивное сознание,

которое «характеризуется прежде всего нехваткой различений. Объективный смысл агрессии – вторжение с целью превратить «объект агрессии» в несамостоятельную часть, «подчинить своей воле»... К агрессии может привести такой избыток сил, при котором недостает различия своего и чужого. Агрессия всегда стремится присвоить и объединить; это избыток сил единения» [12, с. 315]. Таким образом, национализм является примером *агрессивного сознания*, в основании которого лежит деформация опыта Чужого, «когда собственное навязывается чужому в качестве образца». Как было показано выше, различие между Своим и Чужим является фундаментальным не только для опыта сознания, но и человеческого мира в целом, «это необходимая граница, структурирующая наш мир. Нехватка этой дифференциации деформирует, и иногда весьма значительно, порядок значимостей жизненного мира» [12, с. 315–316].

Так, национализм, порожденной этой агрессивной силой единения, оказывается, как сказал бы Э. Гуссерль, *субструкцией*, т. е. тем, что, однажды возникнув в гетерогенной структуре жизненного мира, в своем развитии становится интерпретативным фундаментом, разрушительная сила которого состоит в его гомогенизирующем эффекте. «Единство, общность, сплоченность как ценности – в объективном, социальном смысле – редко подвергались радикальной критике... В современном мире почти утрачено различие между единством как объединяющей агрессивной силой и единством как промежуточным результатом различений» [12, с. 316].

## 5. Заключение

Таким образом, феноменологическая философия вносит свой вклад в развитие динамической трактовки социального мира, которая, как мне представляется, более адекватна природе модерного общества. Феноменологическая концепция структурной взаимосвязи Своего и Чужого предоставляет социальному теоретику не только одну из моделей социальной динамики, позволяющую сформировать на ее основе понятийный аппарат обновленной концепции социума, но и диагностический инструментарий, вскрывающий структурные патологии современного социального мира и способствующий выработке по-настоящему критической точки зрения.

Основные итоги проведенного рассмотрения можно выразить в следующих тезисах:

1. Жизненный мир – сфера перманентного символического производства, в основе которого лежит процесс различения Своего и Чужого.

2. Свое и Чужое образуют равновесную, «хиазматическую» структуру, что, кроме прочего, означает, что утверждение Своего имеет своей (структурной) параллелью утверждение Чужого. Говоря иначе, становление национального осуществляется во взаимосвязи процессов присвоения и трансгрессии.

3. Однако этот «конститутивный механизм» становления нации заключает в себе возможность патологических деформаций, которые возникают вследствие нарушения вышеупомянутой структуры. В роли «пускового механизма» деформации базовой хиазматической структуры выступает национализм, заключающий в себе гипертрофию аспекта идентификации.

4. Акцентуация Своего в ущерб Чужому ведет к формированию патологических форм «национального самосознания», которые, разрушая конститутивную для формирования национального хиазматику, способствуют не только собственному уничтожению, но и нарушению структуры самого жизненного мира.

## *Литература*


1. *Anderson B.* 1991: Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism; L. – N. Y.: Verso (в русском переводе: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Кучково поле, 2001).
2. *Hroch M.* 1996: From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe / Becoming national: a reader ed. by Geoff Elay and Ronald Grigor Suny, N.Y., Oxford: Oxford University Press.
3. *Preston P.W.* Political\Cultural Identity. Citizens and Nations in a Global Era. London\Thousand Oaks\New Delhi: SAGE Publications, 1997.
4. *Smith A.D.* 1996: The Origins of Nations / Becoming national: a reader ed. by Geoff Elay and Ronald Grigor Suny, N.Y., Oxford: Oxford University Press.
5. *Steinbock A.J.* 1995: Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl. Evanston, Illinois.

6. *Waldenfels B.* 1997: Europa angesichts des Fremden / Topographie des Fremden: Studien zur Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Main.
7. *Waldenfels B.* 1997: Nationalismus als Surrogat / Topographie des Fremden: Studien zur Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
8. *Waldenfels B.* 1997: Verschränkung von Heimwelt und Fremdwelt / Topographie des Fremden: Studien zur Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
9. *Бауман З.* 1996: Мыслить социологически / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Аспект-Пресс (см. www. auditorium.ru).
10. *Бек У.* Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001.
11. *Вердери К.* Куда идут «нации» и «национализм» / Нации и национализм. М., 2002 (см.: http://www.praxis.su/text/16/).
12. *Молчанов В.И.* Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2004.

**Y. Biedash**

## The Experience of Difference and Genesis of Nationalism

Summary

The article carries phenomenological analysis of the phenomena of nation and nationalism. The author considers nation as “naturally” begotten within chiasmatical structure of the life world that, however, implicates the possibility of pathological deformations arising from the destruction of the above mentioned structure. Nationalism, which implicates a hypertrophy of the identification moment, plays in this context the role of the deformation trigger.

*О.Б. Белая*

# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК В МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ

В статье проанализированы правовые документы международного права, права зарубежных стран и Республики Беларусь, регулирующие область электронной коммерции, которая касается электронных сделок. Нормативно-правовое регулирование электронных сделок рассмотрено в хронологическом порядке, и это дает возможность показать, что нового привнесло в развитие правового регулирования электронных сделок принятие того или иного нормативного акта.

**Ключевые слова:** правовое регулирование, электронная сделка, международное и национальное право, электронный обмен данными.

Век развивающихся информационных технологий наложил отпечаток на технику заключения гражданско-правовых договоров. Возможность совершать сделки на расстоянии значительно упростила взаимоотношения контрагентов по договору и позволила сотрудникам компаний сэкономить время, затрачиваемое на преодоление немалых расстояний нередко с одной лишь целью – поставить подпись на договоре.

Субъекты международных отношений все больше и больше используют альтернативы методам связи и хранения информации, основанным на применении бумажных носителей информации. Можно констатировать увеличение числа сделок в международной торговле, которые совершаются посредством электронных средств связи.

Возможность заключения договора в электронной форме позволяет в полной мере реализовать потенциал международной сети Интернет как средства удаленного выполнения работ и оказания услуг, а также оперативной доставки информации пользователю. Интернет представляет собой глобальную информационную сеть, объединенную множеством региональных, ведомственных, частных и других информационных сетей, каналами связи и едиными для всех ее участников правилами организации пользования и приема/передачи данных[1].

С начала 1980-х гг. в Европе, США и в ряде других зарубежных стран начат нелегкий процесс по созданию нормативных основ сети Интернет. В международном праве также начинают появляться акты, посвященные регулированию сети Интернет. Постепенно сформировалось правовое поле, которое стало базисом современного регулирования сети Интернет.

Возрастающее осознание мировым сообществом феномена сети Интернет и электронной торговли в глобальной экономике привело к тому, что основные элементы электронной торговли (заключение сделок, налогообложение, защита частного характера информации, интересов потребителей и др.) стали объектом исследования многих международных организаций. К наиболее известным из них относятся: ООН, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО), Международная торговая палата (МТП), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и целый ряд других организаций. Результатом деятельности этих организаций стало принятие типовых законов, рекомендаций, директив и т.п., речь о которых пойдет далее.

Одной из основных причин пересмотра Международной торговой палатой редакции Международных правил толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС) 1990 г. было стремление адаптировать их к возрастающему использованию электронного обмена данными[2]. Новая редакция Унифицированных правил и

1 Воройский С.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах). 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. С. 363.

2 Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС», редакция 1990 г., Публикация МТП № 460 // Сборник международных

обычаев для документарных аккредитивов 1993 г. (публикация Международной торговой палаты № 500) также была принята с учетом правил безбумажной технологии документарных аккредитивов на основе электронного обмена данными[3].

Значительная работа по нормативному закреплению электронной коммерции была проведена в рамках ЮНСИТРАЛ – Комиссии ООН по международному торговому законодательству.

В 1995 г. ЮНСИТРАЛ был разработан Типовой закон «О правовых аспектах электронного обмена данными». Закон предоставляет странам возможность закрепить в национальном законодательстве положения, связанные с юридической значимостью записей в памяти ЭВМ, требованием письменной формы, условиями распределения риска и ответственности при несоблюдении сторонами обязательств, возникающих из договоров, заключенных с помощью электронных средств связи. В Типовом законе предусмотрен равный правовой режим для документов в бумажном и электронном виде. Включив предусматриваемые Типовым законом процедуры в национальное законодательство для урегулирования тех ситуаций, когда стороны выбирают электронные средства передачи данных, государство тем самым создает правовую среду, нейтральную по отношению к различным носителям информации. Принятием Типового закона «О правовых аспектах электронного обмена данными» были заложены принципы для последующего формирования правовой базы регулирования электронных сделок в международном праве.

Следующим шагом в развитии правового регулирования электронных сделок стало принятие примерного свода правил – Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной коммерции» (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции)[4]. Закон представляет собой модель для разработки

---

договоров и других документов, применяемых при заключении и исполнении внешнеэкономических контрактов. М.: Торгово-промышленная палата ССР В/О «Внешэкономсервис», 1991. С. 37–71.

3 Правила Международной торговой палаты «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» (Публикация МТП № 500) // Консультант Плюс: Беларусь [Электр. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. Минск, 2006.

4 Об электронной коммерции: Типовой закон Комиссии Организации Международных Наций по праву международной торговли, 1996 г. // Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий

национального законодательства. Он содержит в себе определение понятий «электронный документ», «электронный обмен данными», «адресат электронного документа», «электронная подпись», «информационная система». Типовой закон придает юридическую и доказательственную силу электронным документам, определяет условия, предъявляемые к электронной подписи, как средства подтверждения подлинности и целостности электронного документа.

Правовой режим электронного обмена данными, предусмотренный в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции, основывается на принципе так называемого функционального эквивалента. Это означает, что в случае, когда национальный закон предписывает, чтобы действия, связанные с заключением и исполнением сделок, осуществлялись в письменном виде или с использованием письменных документов, данное требование считается выполненным, если указанные действия осуществляются посредством одного или нескольких электронных сообщений с соблюдением положений законодательства.

В 1999 г. была принята Директива Европейского парламента и Совета 1999/93/ЕС от 13 декабря 1999 г. о правовых основах Сообщества для электронных подписей (далее – Директива об электронных подписях), что явилось следующим шагом в формировании европейского и международного права в области электронной коммерции[5]. Названная Директива задает основные направления дальнейшего развития и совершенствования права в области электронной коммерции. В Директиве дано определение понятия «электронная цифровая подпись», предусматриваются требования, которым должны соответствовать средства электронной цифровой подписи, установлены принципы их использования и др. Данный документ создает правовые предпосылки для широкого использования электронной цифровой подписи в странах Европейского Союза, а именно, придания ей юридической и доказательственной силы. Таким образом, в Директиве об электронных подписях наиболее полно урегули-

(анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. М.: Статус, Интертех, БДЦ-пресс, 2003. С. 148–154.

5 О правовых основах сообществ для использования электронных подписей: Директива Европейского Парламента и Совета 1999/93/ЕС от 13 декабря 1999 г. // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 309–317.

рованы отношения, связанные с использованием электронных подписей.

Правовой режим электронного обмена данными при совершении торговых операций закреплен в Директиве 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в том числе электронной коммерции, на внутреннем рынке (далее – Директива об электронной коммерции)[6]. Целью Директивы является обеспечение надлежащего функционирования внутреннего рынка посредством обеспечения свободного движения услуг информационной сферы. Она не устанавливает дополнительные правила по международному частному праву, а лишь дополняет законодательство Европейского Сообщества.

С учетом развития законодательства Европейского союза в 2001 г. был принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях»[7]. Он применяется в случае использования электронных подписей для коммерческой деятельности. При этом следует отметить, что закон не имеет преимущественного действия применительно к нормам, направленным на защиту прав потребителей. Целью принятия Типового закона было укрепление правовой определенности применительно к использованию электронных подписей. Типовой закон устанавливает презумпцию того, что электронные подписи, если они удовлетворяют определенным критериям технической надежности, рассматриваются как эквивалентные собственноручным подписям.

Государствами – членами Европейского Союза, США и рядом других развитых стран был воспринята выработанная в международном праве правовая база регулирования отношений, возникающих в сети Интернет. Под влиянием международных документов стало формироваться национальное право. Так, в значительном числе зарубежных стран электронная торговля, а также заключение электронных сделок в настоящее время регулируется специальными нормативными правовыми актами. В Австралии в 1999 г. был принят закон «Об электронных сделках»,

6 О некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в том числе электронной коммерции, на внутреннем рынке: Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 317–327.

7 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» 2001 г. // [Электр. документ] http://www.un.org/russian/documen/convents/uncitral.pdf.

который вступил в силу с 1 июля 2001 г.[8] Данный закон воспринял положения Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции. В США в 2000 г. был принят закон «Об электронных подписях в глобальной электронной коммерции»[9]. Примечательно, что этот закон был подписан президентом США с помощью электронной подписи. Он посвящен, во-первых, общим принципам регулирования электронной торговли, в том числе правовому признанию электронных сделок, а во-вторых, включает значительное число норм, регламентирующих применение электронных подписей и соответствующих сертификатов. В Ирландии в июле 2000 г. был принят и подписан закон «Об электронной коммерции»[10]. Среди других вопросов закон регулирует правовое признание электронных договоров, а также реализует положения Директивы об электронной коммерции. В Гонконге 7 января 2000 г. был издан ордонанс «Об электронных сделках»[11]. В Болгарии в 2001 г. был принят закон «Об электронном документе и электронной подписи»[12]. Названный закон регулирует электронный документооборот, электронную подпись и порядок предоставления услуг по их удостоверению. В Сингапуре в 1998 г. был принят закон «Об электронных сделках»[13]. Таким образом, формируется национальное законодательство, регулирующее заключение электронных сделок в сети Интернет.

Одним из первых государств, применивших Типовые законы ЮНСИТРАЛ в качестве базы для разработки национального законодательства, стала Республика Беларусь. Западноевропей-

---

8 Об электронных сделках: Федеральный закон Австралии, 10 декабря 1999 г., № 162 // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 566–580.

9 Об электронных подписях в глобальной электронной коммерции: Федеральный Закон Соединенных Штатов Америки, 30 июня 2000 г. // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 800–814.

10 Об электронной коммерции: Закон Ирландии, 10 июля 2000 г., № 27 // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 674–689.

11 Об электронных сделках: Ордонанс Гонконга (специального административного района Китая), 2000 г., № 553 // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 609–626.

12 Об электронном документе и электронной подписи: Закон Болгарии, 7 апреля 2001 г. // Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. М.: Статус, Интертех, БДЦ-пресс, 2003. С. 581–594.

13 Об электронных сделках: Закон Сингапура, 10 июля 1998 г., № 25 // Шамраев А.В. Указ. соч. С. 784–800.

ский опыт правового регулирования имеет для Республики Беларусь особую важность, поскольку наша страна относится к той же правовой системе, что и большинство европейских стран.

В 2000 г. в вступил в силу закон Республики Беларусь «Об электронном документе» (далее – Закон об электронном документе), где сказано, что с помощью электронных документов могут совершаться сделки (заключаться договоры)[14]. При этом под электронным документом понимается информация, зафиксированная на машинном носителе и соответствующая требованиям, установленным данным Законом. В ч. 3 ст. 2 Закона об электронном документе сказано, что электронные документы могут пересылаться с помощью любых средств связи, включая информационные системы и сети, если это не противоречит законодательству Республики Беларусь и международным договорам Республики Беларусь.

Закон об электронном документе является важным нормативным актом, регулирующим отношения, связанные с использованием документов в электронной форме и применением электронной цифровой подписи. Он определяет правовой статус электронного документа и способствует развитию электронной коммерции в Республике Беларусь. Названный Закон непосредственно регулирует общественные отношения в сфере Интернета: устанавливает правовые основы применения электронных документов, определяет основные требования, предъявляемые к электронным документам, а также права, обязанности и ответственность участников правоотношений, возникающих в сфере обращения электронных документов.

Если говорить о юридической силе электронного документа, то согласно ч. 1 ст. 11 Закона Республики Беларусь об электронном документе электронный документ на машинном носителе приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу. В случае наличия требования законодательства о письменном оформлении документа либо представлении его в письменном виде или письменной форме, электронный документ считается соответствующим этим требованиям (ч. 2 ст. 11 Закона об электронном документе).

---

[14] Об электронном документе: Закон Республики Беларусь, 10 января 2000г., № 357-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 7. № 2/132.

На наш взгляд, данные положения не входят в противоречие с требованиями п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), в соответствии с которыми договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору[15].

Заключение договора посредством электронной связи приравнивается к письменной форме сделки (исходя из содержания ст. 404 ГК Республики Беларусь). При этом средства связи должны позволять достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. В силу п. 2 ст. 161 ГК Республики Беларусь использование при совершении сделок электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

Необходимо отметить, что согласно ч. 1 ст. 84 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З письменными доказательствами являются акты, договоры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе выполненные в форме цифровой, графической записи,

---

[15] Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З в в ред. Законов Республики Беларусь от 14.07.2000 № 415-З, от 03.05.2001 № 7-З, от 04.01.2002 № 79-З, от 25.05.2002 № 104-З, от 24.06.2002 № 113-З, от 17.07.2002 № 128-З, от 11.11.2002 № 148-З, от 16.12.2002 № 159-З, от 04.01.2003 № 183-З, от 26.06.2003 № 211-З, от 08.01.2004 № 267-З, от 18.08.2004 № 316-З, от 04.05.2005 № 9-З, от 19.07.2005 № 44-З, от 22.12.2005 № 76-З, от 05.01.2006 № 99-З, от 16.05.2006 № 115-З, от 29.06.2006 № 136-З, от 29.06.2006 № 137-З, от 20.07.2006 № 162-З // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь. 1999. № 7–9. ст. 101; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 69. 2/190; 2001. № 46. 2/750; 2002. № 7. 2/828; 2002. № 62. 2/853; 2002. № 75. 2/862; 2002. № 84. 2/877; 2002. № 128. 2/897; 2003. № 1. 2/908; 2003. № 8. 2/932; 2003. № 74. 2/960; 2004. № 4. 2/1016; 2004. № 137. 2/1065; 2005. № 73. 2/1106; 2005. № 122. 2/1141; 2006. № 6. 2/1173; 2006. № 18. 2/1196; 2006. № 78. 2/1212; 2006. № 106. 2/1234; 2006. № 107. 2/1235; 2006. № 114. 2/1247; 2006. № 122. 2/1259.

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа[16].

Постановлением Совета Министров Беларусь 27 декабря 2002 г. № 1819 утверждена государственная программа информатизации республики на 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»[17]. Ее основной целью является «формирование в стране единого информационного пространства как одного из этапов перехода к информационному обществу, обеспечивающего создание условий для повышения эффективности функционирования экономики, государственного и местного управления, обеспечения прав на свободный поиск, передачу, распространение информации и состоянии экономического и социального развития общества».

Правовые нормы, определяющие порядок заключения электронных сделок, доказательственную силу электронных документов, использование электронных документов с банковской деятельности и др., содержатся в Гражданском кодексе Республики Беларусь, Хозяйственно-процессуальном кодексе Республики Беларусь, Банковском кодексе Республики Беларусь (далее – БК Республики Беларусь)[18].

Довольно широкое применение электронные документы нашли в банковской сфере. Так, например, к банковской гарантии, выданной в письменной форме, приравнивается банковский электронный документ (ч. 3 ст. 167 БК Республики Беларусь).

---

16 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь, 15 декабря 1998 г., N 219-З в ред. Законов Республики Беларусь от 6 апреля 2004 г. № 314-З, от 22.12.2005 № 76-З, от 29.06.2006 № 137-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 127. 1/5085; 2004. № 138-139. 2/1064; 2004. № 138-139. 2/1064; 2006. № 6. 2/1173; 2006. № 107. 2/1235.

17 Государственная программа информатизации республики на 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 27 декабря 2002 г., № 1819 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 3. 5/11734; 2005. № 61. 5/15856; 2005. № 197. 5/16924; 2006. № 42. 5/21055.

18 Банковский кодекс Республики Беларусь, 25 октября 2000 г., № 441-З в редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г., № 148-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 106. 2/219; 2002. № 128. 2/897.

В силу ст. 171 БК Республики Беларусь допускается передача банковской гарантии бенефициару по почте либо посредством электронного документа. При этом гарантия считается выданной бенефициару с момента передачи ее предприятию связи либо ввода электронного документа в информационную систему отправителя. Платежные инструкции клиента могут быть выданы в письменной форме или в форме электронного документа (ч. 1 ст. 239 БК Республики Беларусь). Аналогичное положение содержится и в Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь (далее – Инструкция о банковском переводе)[19].

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201 были утверждены Правила осуществления операций с электронными деньгами[20]. Данные Правила регламентируют порядок совершения банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами операций с электронными деньгами.

В Республике Беларусь заложены основы правового регулирования электронных сделок, однако отсутствует механизм их практического применения. В таможенной сфере, например, невозможно применение электронного договора для оформления паспорта сделки. Нет и единого центра, который осуществлял бы регистрацию электронных цифровых подписей. Необходимо совершенствовать законодательство по пути принятия специальных норм, касающихся отдельных отраслей права. Разработка механизма практического применения основ заключения электронных сделок, заложенных в ГК Республики Беларусь и Законе Республики Беларусь об электронном документе, позволило бы

[19] Об утверждении Инструкции о банковском переводе: Постановление Правления Национально банка Республики Беларусь, 29 марта 2001 г., № 66 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 49. 8/5770; 2001. № 91. 8/7204; 2002. № 84. 8/8322; 2003. № 15. 8/9014; 2003. № 87. 8/9813; 2004. № 55. 8/10742; 2004. № 78. 8/10989; 2005. № 20. 8/12048; 2005. № 163. 8/13237.

[20] Об утверждении правил осуществления операций с электронными деньгами: Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 139. 8/10290.

довольно широко использовать электронные средства связи в коммерческом обороте.

Межпарламентской ассамблей Евразийского экономического сообщества было принято Постановление «О типовом проекте "Об электронном документе"» от 25 марта 2002 г. № 2–19[21]. Межпарламентской ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств было разработано Постановление «О модельном законе "Об электронной цифровой подписи"» (далее – Модельный закон об электронной цифровой подписи)[22]. Оно устанавливает правовые условия для использования электронных цифровых подписей, при соблюдении которых подпись признается достоверной. Постановление определяет также права, обязанности и ответственность организаций, предоставляющих услуги по удостоверению электронных цифровых подписей.

Правовые вопросы, связанные с заключением и (или) исполнением сделок электронным способом, могут решаться участниками сделки посредством специального соглашения «Об электронном обмене данными», «Об использовании электронных документов» и т.п. Такие соглашения находят применение преимущественно в предпринимательской деятельности и регламентируют отношения между коммерческими партнерами. Условия соглашения являются дополнительными по отношению к основному договору (поставке, подряду, хранению, переводу денежных средств и др.). Они не регламентируют исполнение самих договорных обязательств, при совершении которых могут использоваться электронные средства, поскольку на эти обязательства распространяется собственный набор норм и правил, закрепленный в гражданском или торговом праве.

Соглашение «Об электронном обмене данными» упрощает, разъясняет и модернизирует правовой механизм, регламентирующий торговые сделки. Оно придает юридическую силу

[21] О типовом проекте «Об электронном документе»: Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества, 25 марта 2002 г., № 2-19 // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 2002. № 29-пр.

[22] О модельном законе «Об электронной цифровой подписи»: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 9 декабря 2000 г., № 16-10 // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 2001. № 26.

сделкам, совершаемым электронным способом, обеспечивает их правовое признание, а значит, и судебную защиту. Использование таких соглашений способствует дальнейшему расширению практики электронной торговли на основе договоренности сторон.

Возможность заключения сделок с помощью электронных средств связи также наложило отпечаток и на развитие *lex mercatoria*.

В 2004 г. Международной Торговой Палатой был разработан свод правил по электронной коммерции – «E-Terms 2004» или «Электронные условия МТП»[23]. Данный документ призван гармонизировать нормы права в сфере электронной коммерции. Его действие распространяется лишь на коммерческие договоры – *business-to-business (*участниками электронной коммерции являются два юридических лица, как правило, это коммерческие организации, заключающие и (или) исполняющие договор(ы)). «E-Terms 2004» – это аналог правил Инкотермс, набор стандартных положений, которые Международная Торговая Палата рекомендует использовать сторонам, намеревающимся заключать договоры в электронной форме. Эти правила касаются заключения договора, вопросов конфиденциальности и доказательственной силы электронного документа.

История регулирования электронной коммерции на международном уровне насчитывает уже более 20 лет. Несмотря на такой сравнительно небольшой период времени, международно-правовых актов, направленных на регулирование правоотношений в сети Интернет, принято достаточно много. Однако это не означает, что все вопросы получили надлежащее правовое регулирование. Поэтому в настоящее время многие международные организации сосредоточились на регулировании отдельных областей отношений в сети Интернет (электронные деньги, сделки, финансовые потоки, т.е. электронная коммерция).

Международное право в сфере заключения сделок в сети Интернет идет по пути унификации и гармонизации. Унификация норм проводится как на международном уровне в рамках ООН, Института унификации международного частного права УНИДРУА, Всемирной Организации Интеллектуальной собственно-

---

[23] E-Terms 2004 [Электр. документ] // http://www.iccwbo.org/policy/law/id3668/index.html.

сти (ВОИС); Международной торговой палатой (МТП); Европейской экономической комиссией ООН; Центром ООН содействия торговле и электронному бизнесу, так и в рамках региональных международных организаций, например в Европейском Союзе.

Многими государствами в национальном законодательстве были восприняты положения Типовых законов ЮНСИТРАЛ. Однако до сих пор нет действующего международного договора – унифицированного нормативного акта, который бы регулировал заключение электронных сделок.

В настоящее время в развитие Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной коммерции», а также с целью дополнения положений Конвенции о международной купле-продаже рабочей группой ЮНСИТРАЛ была разработана и принята 23 ноября 2005 г. Конвенция Организации Объединенных Наций «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» (далее – Конвенция об использовании электронных сообщений в международных договорах)[24]. Основной целью разработки Конвенции является создание единых и обязательных правил, регламентирующих порядок заключения электронных сделок и их исполнение. В виде конвенции для изучаемой сферы документ подготовлен впервые, что упрощает процедуру его принятия на национальном уровне и облегчает применение унифицированных норм на практике.

Конвенция регулирует использование электронных сообщений в связи с заключением или исполнением договоров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. В ней отсутствует требование об обязательном расположении обеих сторон в договаривающемся государстве, что расширяет территориальную область конвенции. С другой стороны, ее сфера действия ограничена: Конвенция не применяется к потребительским договорам, к сделкам на финансовых рынках и операциям с оборонными и товарораспорядительными документами.

Конвенция определяет юридическое признание электронных документов, их доказательственную силу, определяет форму, порядок составления и условия электронных договоров. Требова-

---

[24] Конвенция Организации Объединенных Наций «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» [Электр. документ] // http://www.un.org/russian/documen/convents/elcom.pdf.

ние относительно формы (ст. 9), места отправления и получения электронных сообщений (пп. 3–4 ст. 10) практически полностью повторяют положения Типового закона ЮНСИТРАЛ 1996 г. об электронной коммерции.

Принятие данной Конвенции:

1) является новым шагом на пути гармонизации и унификации правового регулирования в области заключения электронных сделок;

2) позволит вывести отношения в сфере международной электронной торговли на более высокий уровень развития;

3) облегчит практическую деятельность участников международного электронного торгового оборота.

Согласно п. 1 ст. 23 Конвенции «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» она вступит с силу по истечении шести месяцев после даты сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

**Olga Belaya**

## Legal Regulation of Electronic Contracts in the International and National Law

Summary

The article analyses legal documents of international law, law of foreign countries and law of The Republic of Belarus regulating the area of electronic commerce concerning electronic contracts. Legal regulation of electronic contracts is examined in an chronological order to show the innovation in the development of legal regulation of electronic contracts by the adoption of a legal act.

**Keywords:** legal regulation, e-commerce, electronic contract, international and national law, data electronic communication.

*Н.Т. Гицевич*

# АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В настоящей статье освещаются основные случаи недействительности арбитражного соглашения в соответствии с законодательством, регулирующим арбитражное разбирательство в Республике Беларусь, а также некоторых других странах. Ведь признание арбитражного соглашения недействительным лишает арбитражный суд права рассмотреть спор между сторонами, а также является основанием для отмены решения арбитражного суда или отказа в принудительном исполнении арбитражного решения.

**Ключевые слова**: арбитражное соглашение, условия, действительность, недействительность, арбитражный суд.

## 1. Введение

Поскольку арбитраж является процессом частного, консенсуального характера, то арбитражное соглашение, будучи отправной точкой этого процесса, имеет большое значение. Только при наличии соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение в арбитраж государственный суд уступает место третейскому. Арбитражное соглашение представляет собой основу и источник, из которого арбитры черпают свою компетенцию и полномочия на разрешение того или иного спора. Иными словами, заключение контрагентами арбитражного соглашения является правообразующим юридическим фактом, порождающим право (устанавливающим компетенцию) арбитражного суда на рассмотрение конкретных споров между сторонами.

Заключая арбитражное соглашение, стороны предоставляют определенному ими арбитражному суду приоритетное право на рассмотрение конкретных споров между ними.

Однако не все заключенные соглашения бывают законными. Арбитражное законодательство Республики Беларусь и других иностранных государств содержит ряд условий, при наличии которых арбитражное соглашение, заключенное сторонами, признается недействительным. Отсутствие арбитражного соглашения или признание его недействительным лишает арбитражный суд права рассмотреть спор между сторонами, а также является основанием для отмены решения арбитражного суда или отказа в принудительном исполнении арбитражного решения.

Подобные арбитражные соглашения в литературе о международном арбитраже принято называть «патологическими». Этот термин был впервые введен в оборот в 1974 г. Фредериком Айземанном, почетным Генеральным Секретарем Международной Торговой Палаты, который применил его к арбитражным соглашениям, содержащим в себе дефект или дефекты, способные разрушить нормальное течение арбитражного процесса [37, с. 262].

В соответствии с п. 3 ст. II Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке 10.07.1958 г. (далее – Нью-Йоркская конвенция) [14]: «Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу, по которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей статьей, должен, по просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено».

Таким образом, Нью-Йоркская конвенция достаточно четко определяет случаи, когда арбитражное соглашение является недействительным, когда оно утратило силу и когда оно не может быть исполнено.

Рассмотрим основные случаи недействительности арбитражного соглашения в соответствии с законодательством, регулирующим арбитражное разбирательство в Республике Беларусь, а также некоторых других странах.

Несмотря на то, что оценка действительности арбитражного соглашения невозможна без привязки к какой-либо определен-

ной правовой системе, на основании анализа арбитражного законодательства ряда государств, а также работ известных юристов (в частности, В. Хвалея [32], С.Н. Лебедева [16], А.И. Минакова [18] и ряда других) выделим наиболее общие основания признания арбитражного соглашения недействительным.

Так, арбитражное соглашение может быть признано недействительным в случае, когда оно:

- было заключено с пороком воли (под влиянием обмана, заблуждения, насилия и т.д.);
- было совершено лицом, не обладающим необходимой правоспособностью или дееспособностью;
- совершено без соблюдения установленной законом формы;
- не содержит в себе все существенные условия, установленные для арбитражного соглашения, в том числе не содержит явно выраженного намерения передать спор на разрешение арбитража;
- заключено по вопросам, которые не могут являться предметом третейского разбирательства.
- противоречит императивным нормам применимого законодательства об арбитраже.

## 2. Порок воли при заключении арбитражного соглашения

Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, не вызывает сомнения. В соответствии со ст. 180 Гражданского кодекса Республики Беларусь такая сделка может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего [4]. В то же время недействительность сделки не влечет недействительности включенной в нее арбитражной оговорки (ст. 4 Регламента Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-Промышленной Палате утвержденный Постановлением Президиума БелТПП 06.06.2000) [25]. Согласно ст. 22 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279-З «О Международном Арбитражном (третейском) суде», арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, рассматривается как соглашение, не зависящее от других условий договора [8].

Таким образом, для того чтобы признать арбитражное соглашение недействительным по такому же основанию, как и основную сделку, необходимо доказать невыгодность арбитражного соглашения для одной из сторон. Учитывая же самостоятельность арбитражного соглашения, недействительность основной сделки не влечет недействительность арбитражного соглашения.

В соответствии с точкой зрения А.А. Костина арбитражное соглашение, какую бы форму оно ни принимало, не только не является «рядовым» условием контракта, но и во многом не зависит от последнего, обладая особым, автономным статусом [15].

Кроме того, у двух договоров разный предмет. Основной контракт опосредует экономическую суть правоотношений сторон, определяет содержание и объем их материально-правовых прав и обязанностей, в то время как арбитражное соглашение направлено на установление способа разрешения споров и поэтому не касается материальных прав и обязанностей сторон.

Таким образом, подписывая внешнеторговый контракт, содержащий арбитражную оговорку, стороны как бы подписывают два отдельных договора, каждый из которых обладает своим правовым режимом.

Из этого следуют два важных практических вывода. Во-первых, автономность арбитражного соглашения подразумевает, что признание основного контракта недействительным – оспоримым или ничтожным – не влечет за собой *ipso facto* недействительность арбитражного соглашения. Это положение широко признано в законодательстве и практике большинства государств. В первую очередь следует упомянуть п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» (основанный на идентичной ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ) [10]. Схожие нормы содержатся, например, в разделе 7 Английского закона об арбитраже 1996 г., п. 2 ст. 1697 Судебного кодекса Бельгии, п. 3 ст. 178 Федерального закона о международном частном праве Швейцарии. Не обошел вниманием этот вопрос и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г. (п. 2 ст. 21) [1]. Что касается крупнейших международных арбитражей, то они отразили это положение в своих регламентах [26].

Как отмечал С.Н. Лебедев в своей фундаментальной работе о международном коммерческом арбитраже, наиболее удачной конструкцией является квалификация автономности арбитражного соглашения в качестве «позитивной правовой нормы» [16, с. 82].

Говоря о всеобщем признании принципа автономности (*autonomy*, *separability*, *severability*), надо сразу оговориться, что ни в Нью-Йоркской конвенции, ни в Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, подписанной 21.04.1961 г. в Женеве (далее – Европейская конвенция) [2], этот принцип в чистом виде не закреплен. Поэтому многие авторы пытались истолковать положение ст. V (п. 1, пп. «а») Нью-Йоркской конвенции как устанавливающее возможность применения к арбитражному соглашению права, отличного от права, применимого к основному контракту, и, следовательно, косвенно подтверждающее автономность арбитражного соглашения [36, с. 145]. Если принять эту точку зрения, то следует допустить и возможность применения положений Конвенции по аналогии, которая должна толковаться как единое целое, так как непосредственно в ст. V Нью-Йоркской конвенции говорится об основаниях отказа в приведении в исполнение решения, которое недействительно по праву, избранному сторонами, а если оно не избрано, то по праву страны, где решение вынесено.

Как отмечал профессор А.И. Минаков, становление принципа автономности арбитражного соглашения условно можно разделить на два этапа. На первом этапе автономность была необходима для того, чтобы арбитраж мог самостоятельно оценить действительность основного контракта. Оспаривание же действительности самого арбитражного соглашения находилось в ведении государственного суда [18, с. 71].

В последующем под автономностью подразумевали также и то, что арбитраж может решать вопрос о действительности самого арбитражного соглашения.

Согласно этому подходу, сторона, желающая оспорить арбитражное соглашение и ссылающаяся, в обоснование своих требований, на недействительность основного контракта, имеет мало шансов на то, что суд воспримет ее аргументацию. Такая сторона должна доказать, что недействительность последнего имеет столь серьезные последствия, что содержащееся в нем

арбитражное соглашение подвержено тем же самым порокам [18].

Анализируя практику Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) по данному вопросу, М.Г. Розенберг рассматривает две ситуации [28, с. 36–37]. В первой от имени ответчика контракт был подписан лицом, не указавшим, в качестве кого он подписывает контракт, не состоящим в каких-либо трудовых отношениях с ответчиком и не имеющим доверенности на подписание контракта. Суд счел, что в данном конкретном случае «незаключение» контракта приводит к тому, что не заключено и арбитражное соглашение. Следовательно, у МКАС нет предпосылок для рассмотрения спора. В другом случае полномочия на заключение контракта имелись, однако сделка была совершена с несоблюдением ограничений на ее совершение. Поэтому МКАС пошел по пути признания действительным арбитражного соглашения при недействительности основного контракта, ссылаясь на п. 1. ст. 16 Закона «О международном коммерческом арбитраже» применительно к автономности арбитражного соглашения, ст. 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации для обоснования возможности оспорить действительность в суде, а также п. 1. ст. 11 для обоснования того, что понятие «суд» включает также и арбитраж.

На практике же арбитражная оговорка очень часто оказывается недействительной при ничтожности основного контракта. Автономность от каких бы то ни было дефектов контракта предполагает не то, что соглашение существует вне зависимости от каких-либо дефектов, а то, что порок последнего не является достаточным основанием для признания недействительным арбитражного соглашения.

### 3. Совершение арбитражного соглашения с лицом, не обладающим необходимой правоспособностью или дееспособностью

Здесь можно говорить о случаях, когда стороны в арбитражном соглашении были по применимому к ним закону в какой-то мере недееспособны. Это основание содержится в п. 1а ст. V Нью-Йоркской конвенции; п. 2а ст. IX Европейской конвенции и в п. 2а ст. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном

коммерческом арбитраже» (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ) [29].

Недееспособность какой-либо стороны определяется по законам всех стран, что соответствует принципам международного частного права, по месту регистрации юридического лица или месту постоянного жительства физического лица. Например, согласно ст. 20 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданская дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия (18 лет). Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания (п. 3 ст. 45), т.е. с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 47).

При заключении арбитражного соглашения физическим лицом, не обладающим необходимой дееспособностью, действуют общие случаи недействительности сделок. В то же время, как указывает Г.К. Дмитриева, 90 % арбитражных соглашений заключается между юридическими лицами [3, с. 37]. В связи с чем, подчеркивает В. Хвалей, заключая арбитражное соглашение с юридическим лицом, необходимо учитывать правоспособность отдельных видов юридических лиц, поскольку законодательство некоторых государств содержит ограничение на возможность передачи в арбитраж споров, стороной по которому являются, например, государственные органы или государственные предприятия. Заключая арбитражное соглашение с государственным субъектом, не лишним будет проверить, позволяет ли статус данного субъекта заключать такие договоры [32].

Таким образом, заключая арбитражное соглашение, следует учитывать следующее:

- юридическое лицо должно обладать правосубъектностью по своему национальному законодательству и уставу;
- представитель юридического лица (т.е. физическое лицо) должен быть дееспособным;
- представитель юридического лица должен действовать в пределах своих полномочий.

При несоблюдении любого из данных условий мы можем вести речь о том, что юридическое лицо, заключившее арбитражное соглашение, было «в какой-то мере недееспособно» [3, с. 37].

## 4. Несоблюдение установленной законом формы арбитражного соглашения

Арбитражное соглашение также может быть признано недействительным в случае несоблюдения его формы. Общеизвестными формами соглашения являются устная и письменная (ст. 159 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Статья II Нью-Йоркской конвенции обязывает государства признавать арбитражные соглашения, только если они были заключены «в письменном виде». Статья II(2) устанавливает, что термин «письменное соглашение» включает арбитражную оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или содержащееся в обмене письмами или телеграммами. Следовательно, арбитражное соглашение не обязательно должно быть подписано. Достаточно того, чтобы оно было выполнено в письменном виде, например в корреспонденции.

В то же время, законодательство некоторых стран не требует того, чтобы арбитражное соглашение заключалось в письменной форме. Европейская конвенция (ст. 1, п. 2 (а)) допускает в принципе и иную форму соглашения, поскольку это не противоречит законодательствам государств, к которым принадлежат субъекты соглашения и на территории которых осуществляется производство по делу. Так, согласно ст. I Европейской конвенции арбитражное соглашение означает арбитражную оговорку в письменной сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами, телеграммами или в сообщениях по телетайпу, а в отношениях между государствами, в которых ни один из законов не требует письменной формы для арбитражного соглашения, – всякое соглашение, заключенное в форме, разрешенной этими законами.

Таким образом, нельзя не согласиться с В. Хвалеем, который указывает на то, что заключение арбитражного соглашения в устной форме не во всех странах будет являться препятствием для использования арбитража как способа разрешения спора [32].

Однако в отличие от Нью-Йоркской конвенции, применение Европейской конвенции на территории Республики Беларусь не столь широко [31, с. 12].

Кроме того, арбитражное соглашение, заключенное в устной форме, не подлежит признанию на основании п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции, согласно которой «каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства».

Однако и Европейская конвенция, и Нью-Йоркская конвенция, не указывают на то, что считается соблюдением письменной формы арбитражного соглашения. Этот пробел в некоторой степени восполнен в п. 2 ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ, согласно которому «соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает».

Требование Типового закона ЮНСИТРАЛ относительно заключения арбитражного соглашения в письменной форме является вполне закономерным. Ведь одним из основных последствий арбитражного соглашения как сделки является исключение компетенции государственных судов, что без письменного документа в процессуальном отношении весьма проблематично.

Положения Типового закона ЮНСИТРАЛ были восприняты многими странами мира, в том числе и Республикой Беларусь.

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Оно считается заключенным, если содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена сообщениями с использованием почты или любых иных средств связи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления сторон, включая направление искового заявления и ответ на него, в которых соответственно одна сторона предлагает рассмотреть дело в меж-

дународном арбитражном суде, а другая не возражает против этого. Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, а содержание ссылки делает упомянутую оговорку частью договора.

В данной связи интерес представляет вопрос о судьбе арбитражной оговорки при перемене лиц в обязательстве в силу неоднозначности данной проблемы.

В частности, государственные арбитражные суды Российской Федерации придерживаются точки зрения, согласно которой при уступке прав (цессии) по контракту происходит перемена лиц не только по основному обязательству, но и по арбитражному соглашению, т.е. цессионарий становится также стороной и по арбитражному соглашению. Так, п. 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» устанавливает, что арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск в случае цессии тогда, когда основной договор, по которому состоялась уступка права требования, содержал третейскую запись о передаче споров по сделке в международный коммерческий арбитраж [12].

Вместе с тем существующая в Республике Беларусь судебная практика свидетельствует об иной точке зрения, в соответствии с которой арбитражная оговорка, содержащаяся в контракте, не является автоматически предметом цессии, а потому не связывает должника и цессионария. Так, согласно п. 5 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23.12.2005 г. № 34 «О подведомственности споров после уступки требования или перевода долга», юрисдикция суда при уступке требования и переводе долга будет распространяться на новых лиц в обязательстве только в случае заключения между ними самостоятельного арбитражного соглашения в порядке, предусмотренном законодательством. В случае не достижения между новыми сторонами в обязательстве самостоятельного арбитражного соглашения подведомственность возникшего спора будет определяться в соответствии с общими правилами подведомственности дел [24].

Данный вывод суда исходит из норм части первой ст. 11 и части первой ст. 22 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. «О международном арбитражном (третейском) суде», согласно которым арбитражное соглашение в виде арбитражной оговорки является отдельным положением гражданско-правового договора, его частью, рассматриваемой как соглашение, не зависящее от других условий договора.

Не менее интересным является вопрос, связанный с прекращением обязательств новацией. Как подчеркивает А.И. Минаков, решение вопроса относительно того, имела ли место новация, входит в компетенцию арбитража, причем ни одна из сторон не может ссылаться на прекращение действия старого обязательства вследствие замены его новым обязательством для обоснования того, что арбитражная оговорка более неприменима к разрешению споров, возникших до новации [18, с. 73]. Однако, отмечает О.В. Шмелева-Мата, поскольку арбитражное соглашение действует только по отношению к контракту, частью которого оно является, а новация неизбежно прекращает действие этого контракта, то арбитражное соглашение не распространяется на последующие взаимоотношения сторон [34, с. 90].

Стороны тем не менее могут договориться о распространении действия арбитражной оговорки на новое обязательство, предусмотрев положение о том, что стороны считают себя связанными условиями арбитражного соглашения, содержащегося к основном договоре.

Исходя из автономности арбитражной оговорки, интерес представляет требование к форме основного договора и арбитражного соглашения и условия их действительности. Так, в известном деле ВТАК «Союзнефтеэкспорт» против «Джок Ойл» бермудская компания «Джок Ойл» ссылается на нарушение требования о наличии двух подписей во внешнеторговом контракте по советскому праву для обоснования того, что контракт не существует как таковой. В решении ВТАК подчеркивает, что хотя из-за несоблюдения формы основной контракт должен быть признан недействительным, арбитражное соглашение продолжает существовать в силу своей автономности. ВТАК признала, что арбитражное соглашение «является процессуальным договором, не зависимым от материально-правового договора,

и поэтому вопрос о действительности или недействительности этого договора не затрагивает соглашения» [27].

Возвращаясь к форме арбитражного соглашения, констатируем, что исходя из белорусского законодательства любые соглашения о процедуре арбитражного разбирательства, не согласованные в письменной форме, не должны учитываться при разрешении спора между сторонами. Для того чтобы арбитражное соглашение было действительным, необходимо обязательное письменное фиксирование волеизъявления сторон.

Под простой же письменной формой договора в праве Республики Беларусь понимается форма договора, выраженная в составлении документа (документов), в котором отражено содержание договоренности сторон, подписанного лицами (лицом), совершившими договор, и (или) должным образом уполномоченными лицами (лицом) (п. 1 ст. 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Заключение договоров в простой письменной форме осуществляется путем:

- составления одного документа, подписанного сторонами;
- обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь) (в п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации наряду с описанными способами связи дополнительно указывается на возможность обмена документами с использованием телефонной связи);
- совершения лицом, получившим письменное предложение заключить договор (оферту), действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.). При этом данные действия считаются акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

## 5. Существенные условия арбитражного соглашения

Французский профессор А. Лене (A. Laine) и некоторые другие авторы первой половины XX в., являющиеся сторонниками широко известной концепции о природе арбитража, получившей название процессуальной, рассматривают арбитражное соглашение в качестве выражения воли сторон, направленной на передачу спора арбитрам, которые выносят решение при полной независимости и без всякого вмешательства сторон. Француз А. Пилле (A. Pillet) писал, что компромисс (арбитражное соглашение) необходим для наделения арбитров их функциями, однако поскольку эти функции установлены и при условии, что арбитры не выходят за рамки возложенной на них миссии, их свобода является полной и соображения, лежащие в основе компромисса, не влияют на их решение, которое принимается по совершенно другим мотивам [13, с. 56].

Объем условий, подлежащих согласованию в арбитражном соглашении, зависит от избранного сторонами вида международного коммерческого арбитража: институционного или *ad hoc*.

Некоторые исследователи [17, с. 16] разделяют такие условия на две группы: существенные и несущественные для рассмотрения спора. Представляется, что использование термина «существенные условия» в данном контексте не совпадает с понятием «существенного условия договора» в смысле ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь, поскольку неодинаковыми являются последствия отсутствия существенного условия в гражданско-правовом договоре и в арбитражном соглашении.

Как указывает Н.Г. Вилкова, в первом случае договор признается незаключенным, во втором случае возникает невозможность использования согласованного в арбитражном соглашении способа разрешения спора [2]. Поэтому более правильным будет использование термина «существенное условие» с добавлением «для разрешения спора арбитражным путем» или использование термина «жизненно важное условие», «основное условие», «фундаментальное условие» арбитражного соглашения.

Однако, как подчеркивает В. Хвалей, на практике сторона крайне редко делает заявление об условиях арбитражной оговорки, относительно которых должно быть достигнуто соглашение сторон, поэтому логично предположить, что существенными условиями арбитражного соглашения являются предмет арбитражного соглашения, а также иные условия, установленные применимым правом [32].

Таким образом, прежде всего необходимо в соответствии с применимым национальным законодательством определить предмет арбитражного соглашения.

Согласно Закону Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» «арбитражное соглашение – соглашение сторон о передаче на рассмотрение международного арбитражного суда всех или отдельных споров, которые возникли или могут возникнуть из связывающего стороны правоотношения. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки (отдельного положения гражданско-правового договора) или в виде самостоятельного договора».

Следовательно, предмет арбитражного соглашения должен содержать указание:

- на то, что споры передаются в арбитраж;
- на правоотношение, споры по которому передаются в арбитраж.

По утверждению Н.Г. Вилковой такими существенными условиями для разрешения спора арбитражным путем можно признать два: соглашение сторон об избрании ими именно арбитражного разбирательства, их возможных споров и выбор ими конкретного способа такого разбирательства (институционный или *ad hoc*), а также выбор определенного центра международного коммерческого арбитража. Именно эти условия означают совпадение объективной воли сторон арбитражного соглашения, и их наличие обеспечивает рассмотрение спора избранным сторонами способом и в избранном ими арбитражном центре, а их отсутствие в арбитражном соглашении не позволяет международному коммерческому арбитражу признать наличие компетенции на разрешение спора. Иные условия (количество арбитров, место и язык арбитражного разбирательства, срок для вынесения решения, национальность и квалификация арбитров

и др.) имеют важное значение, однако их отсутствие не делает невозможным разрешение спора международным коммерческим арбитражем, поэтому они не могут быть отнесены к категории существенных условий арбитражного соглашения [2]. Вместе с тем несоответствие указанных условий арбитражному соглашению является основанием для отмены арбитражного решения, что предусмотрено в ст. IX Европейской конвенции, или для отказа в признании и приведении в исполнение такого решения (ст. V. 1 (d) Нью-Йоркской конвенции).

Согласно ст. 12 Закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде», если стороны не предусмотрели в арбитражном соглашении передачу спора на рассмотрение постоянно действующего международного арбитражного суда, то таким образом при отсутствии соглашения об ином они согласовали и порядок рассмотрения спора в соответствии с арбитражным регламентом.

Не менее важным моментом арбитражного соглашения является определение места арбитража, т.е. страны и города, которые будут считаться местом арбитража. Это вызвано, во-первых, тем, что на арбитраж распространяется арбитражное право страны именно места арбитража. Во-вторых, арбитражное решение может быть отменено, как правило, только в суде страны арбитража и по основаниям, предусмотренным правом этой страны. В-третьих, право страны арбитража применяется для разрешения вопроса действительности арбитражного соглашения. Кроме того, продуманный выбор места арбитража обеспечивает и применение Нью-Йоркской конвенции. При ее подписании ряд стран (точнее – 126) [35] сделали оговорку (оговорку о взаимности), в соответствии с которой положения Конвенции будут применяться только в случае вынесения арбитражного решения на территории страны – участницы Конвенции. Поэтому во всех случаях следует проследить, чтобы местом арбитража не стала страна, не являющаяся участницей Конвенции.

Из первого утверждения следует то важное обстоятельство, что стороны и арбитры не вправе отступать от императивных норм права, регулирующего международный арбитраж, страны места проведения арбитража (например, по новому английскому Арбитражному акту 1996 г. стороны не вправе установить порядок несения расходов до возникновения спора). Из второго

вытекает, что стороны должны принять во внимание при выборе места арбитража следующий факт: несмотря на определенную унификацию национальных законодательств в связи с принятием арбитражных законов, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ, основания к отмене судом арбитражных решений могут отличаться и право конкретной страны может предусматривать проигравшей стороне более благоприятные условия для успешного ходатайства об отмене, чем это допускается Европейской конвенцией или Типовым законом ЮНСИТРАЛ. С другой стороны, законодательства некоторых стран [11] допускают заключение сторонами соглашения о полном или частичном исключении оснований для отмены арбитражного решения судом.

Указание на место арбитража значительно увеличивает шансы на «выживание» такого арбитражного соглашения, например: «Все споры по настоящему контракту разрешаются путем арбитража в г. Стокгольм». И наоборот, отсутствие какой-либо определенности в отношении места арбитража увеличивает шансы летального исхода: «Любой спор, возникающий в связи с толкованием настоящего контракта, должен разрешаться составом арбитров, расположенным в любой стране кроме стран сторон спора» [37, с. 267].

В числе существенных условий арбитражного соглашения, как указывает Г.К. Дмитриева, необходимо указать вид арбитража: институционный арбитраж или арбитраж *ad hoc*. Если стороны выбрали институционный арбитраж, то необходимо указать точное наименование [3, с. 40].

В Российской Федерации, подчеркивает В. Хвалей, применительно к внутренним третейским судам сложилась практика, согласно которой не указание на арбитражный институт или способ назначения арбитров влечет за собой недействительность арбитражного соглашения [32]. Одной из причин признания недействительной «бланковой» арбитражной оговорки является то, что при отсутствии определенного в соглашении механизма формирования состава арбитров невозможно будет сформировать арбитражный состав, поскольку непонятно, к закону какой страны необходимо обращаться для определения подобной процедуры. Отметим, «бланковой» в литературе называют оговорку, которая содержит лишь условия, без которых

она являлась бы недействительной (может выглядеть следующим образом: «Споры по настоящему контракту разрешаются путем арбитража») [37, с. 266].

Таким образом, если в арбитражном соглашении отсутствует явно выраженное намерение сторон на передачу спора на рассмотрение арбитража то это означает, что стороны не договорились о существенном условии, необходимом для действительности арбитражного соглашения. Законодательство многих стран прямо указывает на то, что для действительности арбитражного соглашения требуется явно выраженное намерение сторон о передаче спора на разрешение арбитражем. В связи с этим суды таких стран могут признать недействительным, например, такое арбитражное соглашение: «Все споры по настоящему контракту могут быть рассмотрены путем арбитража» [32].

В частности, арбитражное соглашение «Все споры, вытекающие из настоящего контракта, в случае невозможности урегулировать их путем переговоров будут разрешаться в арбитражном суде при германско-голландской торговой палате. Если одна из сторон сочтет решение арбитража неудовлетворительным, она может обратиться в государственный суд» было признано недействительным немецким судом в решении, вынесенном в 1973 г., который квалифицировал ссылку на арбитраж как некое соглашение о попытке мирного урегулирования дела до обращения в суд [18, с. 37].

Поэтому арбитражное соглашение, как подчеркивает Г.К. Дмитриева, должно быть кратким, но в то же время непротиворечивым, четким и последовательным, без точного наименования избранного арбитража едва ли будет признано действительным арбитражное соглашение [3, с. 40].

Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, в соответствии с Определением Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате от 03.09.2002 № 284/11-01 [21], если содержащаяся в гражданско-правовом договоре арбитражная оговорка носит общий характер и не позволяет определить, какой Международный арбитражный суд имели в виду стороны в качестве органа для разрешения споров между ними, а, кроме того, истец не представил доказательств того, что стороны подразумевали в качестве названного органа

именно Международный арбитражный суд при БелТПП, состав суда прекращает производство по данному делу.

Учитывая тот факт, что большинство стран приняли акты об арбитраже, основанные на Типовом Законе ЮНСИТРАЛ, укажем на ряд важных моментов, которые нужно учитывать при составлении арбитражной оговорки.

Среди основных моментов можно указать следующие элементы:

- необходимые: 1) вид арбитража (включая правильное название институционного арбитража, если стороны избирают этот вид); 2) круг споров, передаваемых на рассмотрение в арбитраж; 3) место арбитража (в арбитражной оговорке *ad hoc*);
- присутствие которых желательно и рекомендуемо в арбитражной оговорке: 4) число арбитров, их национальность и квалификационные требования; 5) право, применимое к существу спора; 6) язык производства; 7) право, применимое к арбитражному соглашению;
- могут присутствовать в арбитражной оговорке в зависимости от таких факторов, как специфика контракта, отношения сторон и вид арбитража: 8) правила процедуры; 9) полномочия арбитров разрешать спор по справедливости или в качестве дружеских посредников (возможность отступать от норм права); 10) иные вопросы (оговорка об исключении возможности оспаривания арбитражного решения; порядок распределения арбитражных расходов и т.д.).

С целью облегчить задачу по составлению текста арбитражной оговорки регламенты институциональных арбитражей, а также Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ предусматривают типовые арбитражные соглашения, включение которых в текст обеспечивает безусловную передачу спора в соответствующий арбитраж и возбуждение арбитражной процедуры. В Республике Беларусь создан лишь один постоянно действующий международный арбитражный суд – Международный арбитражный суд при БелТПП, при обращении в который также целесообразно воспользоваться рекомендованной арбитражной оговоркой [25].

## 6. Арбитрабельность спора

Одним из оснований признания арбитражного соглашения недействительным является неарбитрабельность предмета спора, выражающаяся в невозможности передать для арбитражного рассмотрения спор, определенный в арбитражном соглашении.

Как указывает В. Хвалей, арбитрабельность спора определяется нормами применимого национального законодательства. При определении того, является ли предмет спора арбитрабельным, необходимо учитывать право:

- страны, названное сторонами в качестве применимого к арбитражному соглашению;
- государства места вынесения решения;
- государств сторон спора [32].

Арбитражное соглашение является недействительным, если предмет спора является неарбитрабельным по праву хотя бы одной из вышеуказанных стран. В ситуации, когда право вышеуказанных стран позволяет передать конкретный спор на разрешение арбитража, однако такой спор неарбитрабелен по законодательству места исполнения арбитражного решения, такое решение нельзя будет исполнить в этой стране. «В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой страны» (п. 2 (а) ст. V Нью-Йоркской Конвенции).

Общие критерии арбитрабильности споров определены ст. 4 Закона Республики Беларусь от 09.07.1999 «О международном арбитражном (третейском) суде», в международный арбитражный суд по соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые споры между любыми субъектами права, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится за границей Республики Беларусь, а также иные споры экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора

на разрешение международного арбитражного суда и если это не запрещено законодательством Республики Беларусь.

Как подчеркивает Н.Г. Юркевич, председатель Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате, в настоящее время наблюдается значительное расширение компетенции международного арбитражного (третейского) суда. Данное расширение компетенции выражается в том, что в силу ч. 2 ст. 4 упомянутого Закона к ведению МАС при БелТПП относятся также иные (внутренние) споры экономического характера, т.е. споры между резидентами Республики Беларусь, если существует соответствующее соглашение сторон и нет специального запрета со стороны белорусского законодательства [35].

В то же время анализ вышеуказанной нормы позволяет сделать вывод о том, что спор не может быть передан на рассмотрение арбитражного (третейского) суда в силу прямого запрета, установленного законодательством. В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 19 Закона Республики Беларусь от 18.07.2000 № 423-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд [9].

Как указывает О.Н. Толочко, арбитражное соглашение может быть признано недействительным, если соответствующее национальное процессуальное законодательство содержит прямой запрет на арбитраж для данного конкретного спора либо устанавливает исключительную подсудность государственных судов по данной категории дел [30, с. 39]. В этом случае вынесенное арбитражем решение может быть отменено в государстве, где или по закону которого оно вынесено.

По общему правилу не передаются на разрешение арбитража: споры, связанные с нарушением антимонопольного законодательства; законодательства о патентах, товарных знаках, интеллектуальной и промышленной собственности; споры, связанные с налоговыми и иными административными отношениями (лицензирование, ликвидация юридических лиц и т.п.); споры, предмет которых связан с законодательством о ценных бумагах и правах на недвижимое имущество, а также споры, связанные с трудовым законодательством [19].

Во внутреннем законодательстве определяется круг споров, которые подлежат рассмотрению международным коммерческим арбитражем. Так, согласно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, хозяйственный суд, третейский суд в соответствии с подведомственностью, установленной процессуальным законодательством, а в предусмотренных законодательством случаях – в соответствии с договором.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь в случаях, предусмотренных актами законодательства или международными договорами Республики Беларусь, спор, возникающий из гражданских правоотношений, по согласованию сторон может быть передан на разрешение третейского суда. В то же время ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь установлена исключительная подсудность по определенной категории споров. Следовательно, они не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. В частности, иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. Иск кредитора наследодателя, предъявляемый до принятия наследства наследниками, подсуден суду по месту нахождения наследственного имущества или основной его части. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и багажа, предъявляется по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия или должна быть предъявлена претензия. Вместе с тем нельзя не согласиться с В. Хвалеем, который указывает, что нормы не делают невозможным арбитрабельность данных споров. Ведь норма ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь не устанавливает исключительную подведомственность каких-либо споров гражданско-правового характера общим судам [5]. Нормы об исключительной подсудности, указанные выше, устанавливают правила о том, какой именно из судов общей юрисдикции должен рассматривать гражданско-правовой спор в случае, если дело попадает в систему судов общей юрисдикции, но не касаются вопросов подведомственности [32].

Статья 236 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь устанавливает правила исключительной компетенции хозяйственных судов по делам с участием иностранных лиц [33].

Правила исключительной компетенции определяют, что суды других государств не вправе принимать к рассмотрению перечисленные выше споры. В этом случае вступает в силу норма абзаца 4 ч. 1 ст. 248 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, согласно которой хозяйственный суд отказывает в принятии и приведении в исполнение решения иностранного суда, если рассмотрение дела отнесено к исключительной компетенции хозяйственного суда Республики Беларусь.

Согласно точке зрения Т.Н. Нешатаевой, арбитражное соглашение является одной из разновидностей пророгационных соглашений [20, с. 119–120]. В соответствии же с п. 10 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь от 02.12.2005, № 31 «О практике рассмотрения хозяйственным судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц», пророгационным соглашением не может быть изменена исключительная компетенция хозяйственных судов, установленная законами Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь [23].

Так, согласно международным договорам, исключительно хозяйственными судами рассматриваются:

- иски субъектов предпринимательской деятельности о праве собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь (п. 3 ст. 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, Киев, 20 марта 1992 г.);
- иски к перевозчикам – по месту нахождения органа транспорта, к которому предъявляется претензия в Республике Беларусь (п. 3 ст. 20 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Минск, 22 января 1993 г.; п. 3 ст. 22 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Кишинев, 7 октября 2002 г.);
- дела о признании недействительными полностью или частично актов государственных и иных органов, не имеющих нормативного характера, а также о возмещении убытков, при-

чиненных хозяйствующим субъектам такими актами или возникших вследствие ненадлежащего исполнения указанными органами своих обязанностей по отношению к хозяйствующим субъектам, если указанный орган находится в Республике Беларусь (п. 4 ст. 4 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, Киев, 20 марта 1992 г.).

Для того чтобы не создавать двусмысленности при разрешении вопроса о том, обладают ли арбитры компетенцией в рассмотрении определенной категории споров по договору, рекомендуемая оговорка может предусматривать следующее: «Все споры и разногласия, возникающие по настоящему контракту или в связи с ним, за исключением споров, которые специально оговорены в контракте как изъятые из сферы арбитражного разрешения, подлежат окончательному разрешению арбитражем». Такая оговорка в качестве общего правила предусматривает компетенцию арбитража и только в исключительных случаях оставляет место юрисдикции общего суда. Следовательно, в соответствующих пунктах договора необходимо отметить, какие споры не могут быть предметом арбитражного разбирательства. Однако подход должен быть крайне осторожным, с тем чтобы не создать ситуацию, по которой требованиям истца нельзя будет противопоставить встречные требования ответчика как выходящие за рамки арбитражного соглашения. В некоторых арбитражных оговорках стороны используют обратный принцип: арбитражная оговорка формулируется ограничительно, путем перечисления конкретных категорий споров, подлежащих передаче в арбитраж. Так, например, оговорка, по которой «все споры относительно качества поставленного товара будут рассматриваться в арбитраже», может быть истолкована как исключающая арбитражное рассмотрение споров, касающихся общего соответствия поставки условиям договора. Требование о возмещении убытков, связанных с односторонним расторжением договора из-за существенного нарушения его условий – поставки товара, не соответствующего условиям договора помимо условия о качестве, может не подпадать под данную арбитражную оговорку.

## 7. Противоречие императивным нормам применимого законодательства о международном арбитраже

Следует отметить, что в законодательстве, регулирующем международный арбитраж, нередко содержатся императивные нормы, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность арбитражного соглашения.

Как подчеркивает В. Хвалей, одна из таких достаточно распространенных норм устанавливает принцип, в соответствии с которым предоставление арбитражным соглашением одной стороне процессуального преимущества перед другой стороной является недействительным [32].

В практике, как указывает О.Н. Толочко, имели место арбитражные соглашения, предоставляющие лишь одной из сторон право обратиться в арбитраж [30, с. 39]. Такая оговорка была предметом рассмотрения в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 1994 г. [22, с. 18]. Стороны агентского соглашения подписали протокол, в котором зафиксировали факт выполнения агентом своих обязанностей, а также срок, в пределах которого принципал обязался уплатить предусмотренное агентским соглашение вознаграждение. Протокол содержал, кроме того, условие, согласно которому в случае неуплаты в срок вознаграждения агент вправе «обратиться с иском в арбитраж по своему выбору». Принципал отказался уплатить вознаграждение, а агент обратился с иском в арбитражное учреждение третьей страны, известное своей высокой репутацией. Принципал отрицал компетенцию этого учреждения, как и действительность арбитражной оговорки, ссылаясь в частности, на ее односторонность. По мнению В.С. Позднякова, возражения принципала подлежали отклонению, поскольку «односторонность» арбитражной оговорки была обусловлена «односторонностью» правоотношения, ставшего предметом спора. Однако аргументы ответчика в части, касающейся компетенции конкретного арбитражного учреждения, все же имеют основания. В данной ситуации наиболее целесообразным было бы применение Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, подписанной в Женеве

21 апреля 1961 г., и формирование арбитража в соответствии с предусмотренными в ней механизмами.

Недействительной может быть признана и альтернативная арбитражная оговорка при условии предоставления выбора между арбитражем и государственным судом только лишь одной стороне. В ситуации, когда одна из сторон находится в более слабой коммерческой позиции по отношению к стороне, которая обладает альтернативным правом выбора, возрастает возможность признания «односторонней» альтернативной оговорки недействительной [38].

Однако некоторые авторы выражают иную точку зрения на данный вопрос. В частности, они считают, что двусторонняя альтернативная оговорка является безусловно патологической, поскольку предоставляет обеим сторонам возможность выбора. Опасность заключается в том, что если одна из сторон инициирует спор в арбитраже, а вторая сторона предъявит иск (заявляет встречные требования) не в том же арбитраже, а в государственном суде, возникает риск вынесения двух решений, которые будут противоречить друг другу по смыслу [32].

## 8. Заключение

Арбитражное соглашение, являясь выражением свободного выбора сторонами альтернативного и автономного от государства способа разрешения споров, имеет большое значение не только для определения выбора способа разрешения спора, компетенции соответствующего центра международного коммерческого арбитража, но и для обеспечения его последующей реализации как на стадии разрешения спора, так и на стадии исполнения вынесенного международным коммерческим арбитражем решения. В связи с этим важно составить арбитражное соглашение в качестве работающего механизма по разрешению коммерческих споров, избежав оснований для признания его недействительным.

## *Литература*

1. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ принят ЮНСИТРАЛ 28 апреля 1976 г. // http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1976Arbitration_rules.html

2. *Вилкова Н.Г*. Арбитражное соглашение и его влияние на эффективность разрешения споров в международном коммерческом арбитраже // WWW.ARD-CHECCHI.KG
3. *Дмитриева Г.К*. Международный коммерческий арбитраж : учеб.-практ. пособие. М.: «ПРОСПЕКТ», 1997. С. 40.
4. Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З // «Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь», 05.03.1999, № 7–9, ст. 101.
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 17.03.1999, № 18–19, рег. № 2/13 от 15.01.1999.
6. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. Подписана 21.04.1961 г. в Женеве // Сб. основных международных договоров Республики Беларусь о деятельности общих и хозяйственных судов. Мн.: «Информпресс», 1999.
7. Ежегодник Коммерческого арбитража. XXI. 1996. С. 389–393.
8. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279–З «О Международном Арбитражном (третейском) суде» // Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 19 июля 1999 г. № 2/60.
9. Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 № 423-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 11.08.2000, № 73, 2/198.
10. Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года «О международном коммерческом арбитраже» // http://www.tpprf.ru/ru/main/pages/zakonmkas
11. Закон Швейцарской Конфедерации о международном частном праве от 18 декабря 1987 года (BBl 1988 I 5) // http://old.cisg.ru/content/ru/ipr/national.html
12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // http://arbitr.garant.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12010620
13. *Кейлин А.Д*. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч. 3. Арбитраж. С. 56.
14. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Подписана в Нью-Йорке 10.07.1958 г. // «Бюллетень нормативно-правовой информации», N 5, 1996.
15. *Костин А.А*. Некоторые проблемы международного арбитража // Третейский суд. № 3. 2000.
16. *Лебедев С.Н*. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение сторон. М., 1998.

17. *Мата О.* Арбитражное соглашение и разрешение споров в международных коммерческих арбитражах. М.: Права человека, 2004 г. С. 16.
18. *Минаков А.И.* Арбитражное соглашение и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. М.: Юридическая литература, 1985. С. 71 и далее.
19. Научно-практический комментарий к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
20. *Нешатаева Т.Н.* Международный гражданский процесс : учеб. пособие. С. 119–120.
21. Определение Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате от 03.09.2002 № 284/11-01 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
22. *Поздняков В.С.* Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. М., 1996. С. 18.
23. Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 2 декабря 2005 г. № 31 «О практике рассмотрения хозяйственным судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 08.02.2006, № 21, 6/473.
24. Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2005 г. № 34 «О подведомственности споров после уступки требования или перевода долга» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 08.02.2006, № 21, рег. № 6/475 от 01.02.2006.
25. Регламент Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-Промышленной Палате, утвержденный Постановлением Президиума БелТПП от 06.06.2000.
26. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Утвержден Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 8 декабря 1994 г. и введен в действие с 1 мая 1995 г. // http://www.tpprf.ru/ru/main/pages/mkasregl/
27. Решение ВТАК при ТПП СССР по делу № 109/1980 (9 июля 1984 г.) «Всесоюзное экспортно-импортное объединение «Союзнефтеэкспорт» против компании «Джок Ойл» (Бермуды)» // Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998. С. 386–387.
28. *Розенберг М.Г.* Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. М.: Книжный мир, 2000. С. 36–37.

29. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже». Принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 21.06.1985 г. // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 1996. № 1.
30. *Толочко О.Н.* Международный коммерческий арбитраж. Гродно: Издательство Гродненского филиала «Негосударственного института современных знаний». 1997. с. 39.
31. *Функ Я.И.* Международный арбитраж в Республике Беларусь: справочник. Мн.: Дикта, 2005. С. 12.
32. *Хвалей В.* Как «убить» арбитражное соглашение // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
33. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З // «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 06.09.2004, № 138-139, 2/1064.
34. *Шмелева-Мата О.В.* Международный коммерческий арбитраж: арбитражное соглашение и перемена лиц в обязательстве // Арбитражная практика. № 1. 2002. С. 90.
35. *Юркевич Н.Г.* Международный арбитражный суд: оптимальные условия разрешения споров // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
36. Albert Jan van den Berg. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a uniform judicial interpretation. Kluwer Law and Taxation Pbls, 1981. C. 145.
37. Fouchard, Gaillard, Goldman. On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International. P. 262, 266, 268.
38. «Validity of Optional Arbitration Clause Questioned», contributed by Castren & Snellman to International Law Office Legal Newsletter, September 12, 2002.

**Nataliya Hitsevich**

## The Arbitration Agreement and Conditions of Its Validity

Summary

In present article are consecrated the basic cases of invalidity of the arbitration agreement according to the legislation regulating arbitration in the Republic of Belarus, and also in some other countries. In fact the invalidation of the arbitration agreement, deprives arbitration court of the right to consider dispute between the parties, and also is the basis for a cancelling of the decision of arbitration court or refusal in enforcement of arbitral decision.

**Keywords:** arbitration agreement, conditions, validity, invalidity, arbitration court.

*Н.Т. Гицевич*

# ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Своевременное принятие мер по обеспечению иска в настоящее время является наиболее актуальной проблемой, стоящей перед международным коммерческим арбитражем как на территории Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Институт обеспечительных мер в третейском судопроизводстве необходим для гарантирования интересов истца в отношении исполнения арбитражного решения со стороны ответчика, который определенными действиями, например выводом из предприятия материальных средств или реализацией предмета спора, может сделать невозможным исполнение судебного решения или существенно затруднить его.

**Ключевые слова**: обеспечительные меры, международный арбитраж, иск, Республика Беларусь, Российская Федерация, предмет спора.

## 1. Введение

Своевременное принятие мер по обеспечению иска в настоящее время является наиболее актуальной проблемой, стоящей перед международным коммерческим арбитражем как на территории Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. А учитывая тот факт, что Международный коммерческий арби-

траж является наиболее популярным альтернативным механизмом разрешения споров, возникающих из внешнеэкономических сделок, интерес к данному институту не случаен.

Как известно, проблема эффективного и быстрого разрешения конфликтов всегда остро стояла перед системой государственного правосудия. С уверенностью можно сказать, что в настоящее время она получает все большую актуальность в связи с развитием в ряде стран альтернативных методов урегулирования споров – посредничества (медиации), консилиации (процедура примирения), а также некоторых связанных с ними.

Как справедливо подчеркивает Н.Ю. Ерпылева, международный коммерческий арбитраж превратился к настоящему времени в широко известный и часто используемый инструмент урегулирования внешнеэкономических споров гражданско-правового характера наряду с судебной процедурой [6, с. 296].

В свое время еще Аристотель отметил особенность, которая и сегодня присутствует в фундаменте данного правового инструмента: «Арбитр тяготеет к справедливости, судья к закону; арбитраж создан, чтобы справедливость могла быть реализована» [2].

Более того, Н.Ю. Ерпылева отмечает, что по сравнению с судебным разбирательством международных коммерческих споров арбитраж имеет целый ряд преимуществ, которые неоднократно подчеркивались как в зарубежной, так и в отечественной литературе [6, с. 296].

Однако для субъекта хозяйствования важна не только возможность обратиться в третейский суд за защитой нарушенных или оспариваемых гражданских прав, но также и возможность исполнения решения, принятого третейским судом. Ответчик, узнав о предъявленном к нему исковом требовании, может скрыть свое имущество, денежные средства и т.п. То есть в результате недобросовестных действий ответчика реальное исполнение принятого решения третейского суда станет невозможным, а как следствие третейское судопроизводство может лишиться своего изначального смысла – способа защиты субъективных гражданских прав.

Как указывает В. Хвалей, имея дело с некоторыми компаниями, уже до начала разбирательства можно быть уверенным в

том, что к моменту его окончания от их имущества вообще ничего не останется [22].

Одним из способов, который позволяет сделать реальным исполнение решений, третейского суда, является принятие обеспечительных мер, т.е. таких, при помощи которых становится возможным реализовать решение третейского суда.

Отметим, что в праве отдельных государств аналогичный институт называют более дифференцированным термином – «обеспечительные и защитные меры». Данные меры носят больше защитный характер, т.е. направлены на сохранение *status quo,* – применяются в целях сохранения положения, существующего между сторонами [6, с. 135–154].

В то же время институт обеспечения иска входит в конфликт с принципами третейского разбирательства, основанными на добровольном подчинении сторон юрисдикции третейского суда. Однако это вынужденная мера, предусмотренная законодателем. В.А. Мусин объясняет это тем, что «меры по обеспечению иска осуществляются, как правило, против воли одной из сторон, а потому их реализация происходит обычно в принудительном порядке» [11, с. 25]. Ни один из участников процесса не заинтересован в том, чтобы какими-либо мерами была скована его возможность пользоваться имуществом, распоряжаться денежными средствами и т.д., в связи с чем участники судебного процесса всегда будут препятствовать применению мер обеспечительного характера. Преодоление же этих препятствий возможно только на основе принудительных механизмов исполнения обеспечительных мер.

Следует согласиться с И.С. Александровым, который отмечает, что вопросы применения обеспечительных мер в рамках разбирательства по делу в международном арбитражном (третейском) суде до сих пор системно не исследованы [1]. Однако рациональное проведение арбитражного разбирательства остро нуждается в дополнительной защите в виде мер по обеспечению иска, направленных на сохранение имущества у ответчика до момента вынесения арбитражного решения. Только таким образом можно минимизировать риски, связанные с выводом активов из юридического лица-ответчика, обеспечить практическую эффективность арбитражного разбирательства и его привлекательность для хозяйствующих субъектов.

Как подчеркивает О.Ю. Скворцов, конструирование института обеспечительных мер в третейском процессе возможно по одному из следующих типов:

1. Меры обеспечительного характера принимаются третейским судом (коммерческим арбитражем).

2. Полномочия по принятию мер по обеспечению иска распределяются между компетентным государственным судом и третейским судом.

3. Решение о принятии мер по обеспечению иска находится исключительно в компетенции государственного суда [17].

О.Ю. Скворцов справедливо указывает на преимущества наделения полномочиями по принятию мер по обеспечению искового требования третейского суда. В частности, поскольку процедура разбирательства возбуждается в третейском суде, то состав суда уже ознакомлен с материалами дела и имеет больше возможности дать оценку всем существенным обстоятельствам дела. Это влияет на скорость принятия решения, что при обеспечении иска может оказаться решающим для удачного рассмотрения спора. Кроме того, гарантируется конфиденциальность процедуры третейского разбирательства, в то время как государственные суды являются органами, осуществляющими свою деятельность по общему правилу в публичном режиме. Также важно и то обстоятельство, что если решения компетентных государственных судов, как правило, являются результатом длительных судебных процедур, включающих и этапы обжалования принятого решения, то акты, принимаемые третейским судом, не подлежат обжалованию и вступают в силу быстрее, чем решения, принимаемые государственными судами [17].

Однако принятие мер по обеспечению иска исключительно третейскими судами имеет и свои недостатки. В частности, учитывая то, что третейские суды не являются публично властным институтом, их решения не обеспечиваются авторитетом государственной власти и не имеют принудительной силы. «Государственные суды со значительной степенью недоверия относятся к решениям, принимаемым третейскими судами. В свою очередь, это обстоятельство сказывается на исполнимости решений третейских судов и, как следствие, на авторитете третейских судов» [16]. Кроме того, как указывает А. Рашидов, необходимость принятия мер по обеспечению иска зачастую диктуется столь скоро,

что состав третейского суда еще не оказывается сформированным. Это обстоятельство может стать тормозом в реализации той главной идеи, ради которой, собственно, и принимаются меры по обеспечению иска – скорость и неожиданность их принятия. Кроме того, арбитры (третейские судьи) не всегда являются юристами, что создает возможность рисков неправильного применения мер по обеспечению иска [15, с. 97].

## 2. Обеспечительные меры

Российский законодатель попытался максимально учесть эти плюсы и минусы принятия обеспечительных мер третейскими судами, отразив свою позицию по данному вопросу в Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [35].

Таким образом, в российском третейском процессе в принятии обеспечительных мер участвует как третейский суд, так и компетентный государственный суд, принимающий окончательное решение.

Так, согласно п. 1 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [34], а также ст. 17 закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [35], если стороны не договорились об ином, то третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Кроме того, сторона третейского разбирательства вправе обратиться и в государственный суд с целью обеспечения иска (ст. 9 закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [36]).

Аналогичное положение содержится и в законодательстве Республики Беларусь. Так, согласно ст. 14 закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» (в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) [33], сторона международного арбитражного суда вправе обратиться в государственный суд с просьбой принять меры по обеспечению иска. Следовательно, и подача заявлений о принятии обеспечительных мер, и выполнение таких действий осуществляется в стенах государственного суда (по

подведомственности дел экономического характера – в хозяйственных судах Республики Беларусь). Однако международный арбитражный суд, согласно ст. 23 названного Закона, имеет и самостоятельные полномочия: по просьбе любой стороны спора он вправе принять обеспечительные меры в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми.

В Республике Беларусь меры по обеспечению иска предоставляются в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ХПК) [34]. В частности, в соответствии со ст. 113 ХПК «хозяйственный суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается на любой стадии хозяйственного процесса, если непринятие мер по его обеспечению может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда» [34].

В то же время следует отметить, что несмотря на правовое закрепление в Законе Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» [33] возможности стороны арбитражного разбирательства обращаться в государственный суд за предоставлением мер по обеспечению иска, в ХПК прямо данное право не закреплено, в отличие от аналогичного положения российского законодательства. Постараемся рассмотреть данный аспект подробнее.

В частности, как указывает В.В. Хвалей, получить обеспечительные меры в Российской Федерации в рамках третейского разбирательства можно согласно действующему Арбитражному процессуальному кодексу [22] (далее – АПК РФ).

Следует отметить, что легальная дефиниция понятия «обеспечительные меры» содержится в п. 1 ст. 90 АПК РФ [37], согласно которой обеспечительные меры – срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.

Обеспечительные меры допускаются арбитражным судом по правилам, предусмотренным гл. 8 АПК РФ [37], являясь одним из видов правовых гарантий реальности исполнения в будущем вступившего в законную силу судебного акта и предотвращения причинения значительного ущерба лицу, обратившемуся за судебной защитой своих прав и законных интересов. Так, согласно ч. 3 ст. 90 АПК РФ, по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 90

АПК РФ, и по правилам гл. 8 АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства.

Следует отметить, что ст. 90 АПК РФ [37] представляет собой новеллу в российском праве, так как она введена только с 1 сентября 2002 г., т.е. с момента вступления в силу АПК РФ [36]. Как подчеркивает Б.Р. Карабельников, до введения в действие АПК РФ российским процессуальным законодательством практически не предусматривалась возможность принятия обеспечительных мер по заявлению стороны, участвующей в международном коммерческом арбитраже. Лишь п. 6 Приложения I к Закону о международном коммерческом арбитраже Председателю МКАС при ТПП РФ предоставлялось право устанавливать обеспечение по просьбе стороны, чье дело подлежало рассмотрению в этом институциональном арбитраже; разумеется, в силу ограниченного характера данной нормы она не могла восполнить столь существенный пробел в российском процессуальном законодательстве [7, с. 244].

Таким образом, только с введением ч. 3 ст. 90 АПК РФ [37] государственный арбитражный суд вправе принять обеспечительные меры в отношении иска, который рассматривается в третейском суде. Следует отметить, что аналогичное положение содержится в ст. 25 Федерального закона РФ «О третейских судах в Российской Федерации» [35], а также в ст. 9 закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» [36].

Нередко в юридической литературе факт получения в государственном суде обеспечительной меры рассматривается как обращение к данному суду с просьбой о разрешении спора, т.е. как действие, не совместимое с арбитражем. Однако, как справедливо отмечает В.В. Хвалей, передача спора на разрешение арбитража совсем не означает абсолютное исключение вмешательства государственного суда. Так, законодательство многих государств предусматривает следующие действия, которые могут совершаться государственным судом при наличии арбитражного разбирательства:

- осуществление заместительного назначения арбитра;
- рассмотрение жалобы на решение об отказе в отводе арбитра;

- приведение к присяге свидетелей, которые должны давать свои показания в арбитраже;
- разрешение вопроса о правомерности решения состава арбитров, о наличии или отсутствии у него компетенции;
- применение обеспечительных мер.

Как правило, именно применение обеспечительных мер для выполнения требований, заявленных в арбитраже, является функцией государственного суда, за которой чаще всего обращаются стороны арбитражного соглашения [21].

Согласно п. 3 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» [35], а также ст. 9 закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [36], обращение стороны в компетентный государственный суд с заявлением об обеспечении искового требования и принятие компетентным государственным судом обеспечительных мер не могут рассматриваться как отказ от третейского соглашения. Данная норма воспринята из рекомендаций, которые содержатся в ст. 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» [25].

Так, согласно ст. 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» «обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой о принятии обеспечительных мер и вынесение судом решения о принятии таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением» [25].

В то же время, как указывает А.А. Костин, «потенциал ст. 9 закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» не мог быть реализован, поскольку как государственные арбитражные суды, так и суды общей юрисдикции отклоняли ходатайства об обеспечительных мерах в контексте начавшегося или предстоящего международного коммерческого арбитража со ссылкой на отсутствие корреспондирующих норм в АПК и ГПК» [9, с. 91].

В данной связи Б.Р. Карабельников отмечает, что поскольку меры обеспечения (такие как арест имущества, замораживание счетов, запрет на осуществление действий какого-либо рода) могут осуществляться только на основании решения судов, заинтересованные стороны спора вынуждены обращаться по этому вопросу к национальным судам, причем в разных судебных си-

стемах вопрос об обоснованности применения указанных мер решается по-разному. В одних юрисдикциях обеспечительные меры принимаются только в связи с делами, находящимися в производстве национальных судов (и, как следствие, такие меры не могут быть приняты в отношении дела, рассматриваемого в арбитраже. Нормы о непосредственном запрете арбитрам принимать обеспечительные меры включены в ГПК Греции (ст. 889), Италии (ст. 818)), в других – для принятия подобного решения требуется наличие решения арбитража по данному вопросу, в третьих – меры досудебного обеспечения могут быть предоставлены еще до возбуждения арбитражного разбирательства по просьбе одной из сторон [7, с. 108–109].

Исходя из формулировки ч. 2 ст. 90 АПК РФ [37], следует, что обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса. Невольно встает вопрос о необходимости сперва начать процесс в государственном арбитражном суде, а затем просить государственный арбитражный суд принять обеспечительные меры в отношении третейского разбирательства. Однако, как справедливо отмечает Б.Р. Карабельников, ссылаясь на ст. 148 АПК РФ, п. 3 ст. II Конвенции и п. 1 ст. 8 Закона о международном коммерческом арбитраже, государственный арбитражный суд должен оставить исковое заявление без рассмотрения и направить стороны в арбитраж (т.е. в третейский суд), если имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, за исключением случаев, если государственный арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу и не может быть исполнено. Значит, арбитражный процесс в контексте АПК РФ вообще не может проходить в государственном арбитражном суде, если одна из сторон арбитражного соглашения своевременно заявит о своем намерении воспользоваться таким арбитражным соглашением [7, с. 244–245].

По данному пути идет и судебная практика, что нашло отражение в п. 34 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» [41], согласно которому арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны третейского разбирательства по общим правилам, предусмотренным нормами АПК РФ, с учетом особенно-

стей третейской формы разбирательства споров, основанной на соглашении сторон (третейском (арбитражном) соглашении). Таким образом, прежде чем принять обеспечительные меры, арбитражный суд проверяет действительность арбитражного соглашения (третейского соглашения).

**Пример из судебной практики**. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в форме запрета российской компании осуществлять какие-либо сделки, связанные с отчуждением производственного сырья, находящегося в общей собственности сторон. В обоснование ходатайства заявитель указал, что им и российским юридическим лицом был заключен договор о приобретении у другой иностранной компании сырья в совместную собственность. Сырье было поставлено на склад российской компании, которая не допускает представителей заявителя в место хранения, ограничивая право заявителя на использование сырья.

Заявитель указал, что он готовит исковое заявление в третейский суд о признании за ним права собственности на часть производственного сырья. Однако, учитывая, что ответчик может предпринять действия по его полному использованию или реализации, заявитель ходатайствует о применении предварительных обеспечительных мер в форме ареста части сырья.

Определением арбитражного суда Российской Федерации заявление иностранной фирмы оставлено без движения в соответствии с ч. 2 ст. 93 АПК РФ, поскольку в представленных суду документах не было доказательств наличия между сторонами соглашения о третейском разбирательстве спора.

Часть 5 ст. 92 АПК Российской Федерации устанавливает дополнительные требования к заявлению о применении обеспечительных мер, поступившему от стороны третейского разбирательства. В силу названной нормы к заявлению стороны третейского разбирательства об обеспечительных мерах прилагаются заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально удостоверенная копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия соглашения о третейском разбирательстве. Такие доказательства предоставляются арбитражному суду в целях оценки действи-

тельности и исполнимости третейского соглашения, фактических действий сторон по формированию третейского суда, отнесения спора к компетенции третейского суда, защиты публичного порядка, наличия обеспечительных мер, принятых в рамках третейского разбирательства.

В то же время, как подчеркивается в п. 34 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» [40], если спор не может быть предметом третейского разбирательства (например, носит публичный характер либо затрагивает исключительную юрисдикцию государственных судов), то арбитражный суд отказывает в принятии обеспечительных мер по заявлению стороны третейского разбирательства. Ходатайство об отмене обеспечительных мер, принятых арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства, подается в арбитражный суд, применивший обеспечительные меры, в порядке, предусмотренном нормами главы 8 АПК РФ [37].

**Пример из судебной практики**. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер с целью запрета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок в отношении спорного объекта недвижимости (здания) в форме запрета городскому комитету по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним производить какие-либо действия, связанные с отчуждением и сдачей в аренду спорного объекта недвижимости; до вынесения решения третейским судом передать спорный объект на хранение заявителю.

Как следует из заявления компании, она готовит иск в третейский суд к российскому обществу и комитету по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отмене регистрации, произведенной комитетом, так как она осуществлена с нарушением действующих норм российского законодательства и нарушает условия инвестиционного договора, заключенного между российским обществом и третьим лицом – другой иностранной фирмой.

В результате таких действий российское общество (один из ответчиков по будущему иску) незаконно зарегистрировано как правообладатель на спорный объект недвижимости, что под-

тверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости. Дальнейшие действия ответчика до вынесения решения третейским судом могут привести к полной потере заявителем прав на спорный объект.

Согласно заявлению, третье лицо и российское общество заключили между собой инвестиционный договор, в соответствии с которым производили совместное инвестирование строительства и сдачи в эксплуатацию здания. В силу договора после сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию стороны совместно оформляют свое право собственности на объект.

В дальнейшем третье лицо передало заявителю свои права по инвестиционному договору, о чем российское общество было поставлено в известность.

Определением арбитражного суда первой инстанции в применении предварительных обеспечительных мер отказано, поскольку заявитель не доказал, что непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта или причинит ему значительный ущерб.

Заявитель обжаловал данное определение в суд апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции своим постановлением отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о применении предварительных обеспечительных мер, суд апелляционной инстанции, не проверяя наличие оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ [37], указал на невозможность применения предварительных мер, так как имущественные требования заявителя не могут быть предметом рассмотрения в третейском суде.

В соответствии с юридической природой международного коммерческого арбитража последний признается компетентным только при наличии соглашения сторон о передаче спора в арбитраж. Кроме того, споры, передаваемые на разрешение международного коммерческого арбитража, могут носить только частный характер. Из такого понимания исходит как внутреннее законодательство России (закон РФ от 07.07.1993 «О международном коммерческом арбитраже» (ст. 1)) [36], так и нормы международных договоров Российской Федерации (Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.

[23а], Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. [23]).

Требование заявителя об отмене регистрации прав на недвижимое имущество носит публичный характер и адресовано публичному субъекту – органу по регистрации прав на недвижимое имущество.

При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции подлежит оставлению в силе.

Еще один немаловажный вопрос связан с тем моментом, когда возникает возможность обращаться за обеспечительными мерами в государственный арбитражный суд. По данному вопросу существуют две точки зрения.

Как указывает Б.Р. Карабельников, «сторона третейского разбирательства может обратиться в государственный арбитражный суд за установлением обеспечительных мер в любой момент после начала третейского разбирательства, а возможно, и до подачи искового заявления в третейский суд» [7, с. 244–245]. В соответствии же с точкой зрения В.В. Яркова, «обеспечительные меры для содействия третейскому разбирательству применяются только в отношении иска, который уже принят к рассмотрению третейским судом, что следует из смысла ч. 5 ст. 92 АПК. В отношении третейского разбирательства не могут применяться предварительные обеспечительные меры (ст. 99 АПК РФ) до возбуждения дела в третейском суде» [8].

Следовательно, мы можем констатировать, что после начала третейского разбирательства сторона вправе обратиться в государственный арбитражный суд с целью установления обеспечительных мер. Однако вправе ли она обратиться в государственный арбитраж до возбуждения дела в третейском суде?

О существующих сложностях, возникающих на практике при решении вопроса «о так называемых мерах по предварительному обеспечению иска по делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитраже», указывает и М.М. Богуславский, приводя пример из судебной практики [3, с. 403–404].

**Пример из судебной практики** [3, с. 403–404]. В 1992–1993 гг. в нидерландских судах рассматривалось дело по иску «Севрыбхолодфлот» (Мурманск) к компании «Гранойл инк». Суть дела в следующем: российское предприятие сдало в аренду (тайм-

чартер) голландской компании судно для перевозки растительного масла из Аргентины. Во время перевозки масло смешалось с дизельным топливом. В соответствии с контрактом спор должен был рассматриваться в арбитраже в Нью-Йорке. При прибытии судна в Роттердам на основании требования компании по решению нидерландского суда был наложен арест на судно в порядке предварительного обеспечения иска. Требуя отмены решения, истец ссылался на п. 2 ст. 16 Договора о торговом судоходстве между СССР и Нидерландами от 28 мая 1969 г. В этом пункте предусматривалось, что на территории одной из договаривающихся сторон не будет налагаться арест на судно, принадлежащее другой договаривающейся стороне, в связи с любым гражданским делом, упомянутым в п. 1 ст. 16. В п. 1 говорится о том, что каждая из сторон (т.е. государств) обеспечит возмещение по претензиям на основании решения, вынесенного судом другой стороны. Суд не согласился с доводами истца и отказал в иске, в частности, потому, что речь шла не об обеспечении иска, подлежащего рассмотрению в суде Нидерландов, а о предварительном обеспечении иска, подлежащего рассмотрению в арбитраже в третьей стране.

В другом деле суд Финляндии вынес решение об аресте счета российской организации в банке Финляндии в порядке предварительного обеспечения иска, предъявленного к ней в арбитражном суде при ТПП РФ.

Как указывает М.М. Богуславский, сторона может обратиться в обычный суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой о принятии мер по обеспечению иска [3, с. 403–404].

Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. №5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [36] исходит из того, что обращение в такой суд и вынесение судом определения о принятии таких мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением.

Еще до принятия этого закона на практике встречались случаи принятия в порядке предварительного обеспечения иска таких мер российским судом на основании решения об обеспечительных мерах, вынесенных арбитражем за рубежом.

Исходя из анализа ст. 92 АПК РФ [37] мы можем сделать вывод о том, что до подачи искового заявления (по общему правилу) просить арбитражный суд о принятии обеспечительных

мер нельзя. В то же время, исходя из ст. 99 АПК РФ [37], предварительные обеспечительные меры принимаются лишь в целях обеспечения имущественных интересов заявителя (а не в целях обеспечения иска). Следовательно, в целях защиты имущественных интересов заявителя возможно принятие предварительных обеспечительных мер, в отношении которых должник (по требованию, в связи с которым приняты предварительные обеспечительные меры) вправе ходатайствовать перед арбитражным судом о замене предварительных обеспечительных мер встречным обеспечением (путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств).

Таким образом, заинтересованная сторона, приняв решение о возбуждении третейского разбирательства, вправе обратиться в государственный арбитражный суд с целью принятия обеспечительных мер.

Однако для того, чтобы данные меры были приняты, она должна доказать суду наличие одного из оснований, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ [37], в частности: 1) непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) принятие мер необходимо в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

При этом, как подчеркивает Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении № 55 от 12 октября 2006 г. «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» [41], затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (*status quo*) между сторонами.

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ [37]. Арбитражный суд вправе применить обеспечительные

меры при наличии обоих оснований, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.

Таким образом, как справедливо отмечает Н.В. Павлова, указанный перечень оснований является, с одной стороны, исчерпывающим, а с другой – альтернативным. Это означает, что заявителю достаточно мотивировать хотя бы одно из оснований применения предварительных обеспечительных мер. Арбитражный суд не должен требовать от заявителя доказательств угрозы неисполнения решения и угрозы причинения ущерба в комплексе. Достаточно наличия одного критерия, но он должен быть мотивирован конкретными обстоятельствами [13].

Для ответа на вопрос о том, какие доказательства принимаются судом при решении вопроса о предоставлении обеспечительных мер, необходимо обратиться к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» [41] (далее – Постановление № 11). В частности, в соответствии с п. 13 Постановления № 11 арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы.

Необходимо учитывать, что предварительные обеспечительные меры применяются по заявлению организации или гражданина лишь в случае представления доказательств наличия у них имущественных требований. Такими доказательствами могут быть, в частности, сведения о регистрации права собственности, коммерческий контракт, выписки из лицевого счета о перечислении денежных средств и др. Что касается заявлений, которые не содержат требования имущественного характера, то они не могут сопровождаться предварительными обеспечительными мерами.

При этом арест на денежные средства, принадлежащие должнику, налагается не на его счета в кредитных учреждениях, а на имеющиеся на счетах средства в пределах суммы имущественных требований. Что же касается предварительных обеспечи-

тельных мер в виде запрещения должнику и другим лицам совершать определенные действия, когда эти действия не связаны непосредственным образом с предметом спора, то такие меры применяться не должны.

Оценивая возможные негативные последствия применения предварительных обеспечительных мер, арбитражный суд учитывает тот факт, чтобы обеспечительные меры и суммы встречного обеспечения должны быть соразмерны и адекватны заявленным имущественным требованиям кредитора.

О необходимости предоставления доказательств в подтверждение целесообразности принятия обеспечительных мер свидетельствует и судебная практика.

**Пример из судебной практики.** Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в форме наложения ареста на имущество российского общества с ограниченной ответственностью на сумму 23 830,45 доллара США. Ходатайство заявлено в целях обеспечения имущественных интересов иностранной компании, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обществом обязательств по контракту, в соответствии с которым должник обязался продать, а заявитель – купить металлический лом.

Заявитель ходатайствует о применении предварительных обеспечительных мер в порядке, установленном ч. 3 ст. 90 АПК РФ, так как в контракте имеется арбитражная оговорка, предусматривающая, что «все споры и разногласия сторон, которые могут возникнуть из контракта или в связи с ним... подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».

Таким образом, иностранная сторона заявила ходатайство о применении предварительных обеспечительных мер в обеспечение будущего иска, который предполагается рассматривать в международном коммерческом арбитраже, что соответствует ч. 3 ст. 90 АПК РФ [37].

Необходимость применения таких мер заявитель обосновал следующим. Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации предусмотрены достаточно длительные сроки формирования состава арбитража, подготовки дела к заседанию

и принятия решения. В совокупности на указанные процедуры может уйти пять-шесть месяцев. В связи с этим существует опасность, что к моменту принятия окончательного решения по делу у должника не останется имущества, либо имеющегося имущества будет недостаточно для удовлетворения требований заявителя, либо общие требования кредиторов должника намного превысят стоимость оставшихся активов. Вследствие этого заявитель лишится возможности реального исполнения решения.

Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд не нашел оснований для его удовлетворения, поскольку истцом не представлены доказательства того, что непринятие этих мер способно затруднить или сделать невозможным исполнение решения третейского суда, а также может причинить значительный ущерб заявителю.

Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Доказывание наличия обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, возложено на заявителя, который должен обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и представить доказательства, подтверждающие его доводы (п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» [42]).

В данном случае заявитель не доказал факта существования реальной угрозы неисполнения решения третейского суда и отсутствия у ответчика имущества, не представил суду доказательств того, что ответчик своим поведением создает угрозу для исполнения судебного акта. Сама по себе ссылка на сроки рассмотрения дела в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не подтверждает наличия угрозы неисполнения решения или причинения ущерба заявителю.

Следующим, не менее важным вопросом применения обеспечительных мер является вопрос о том, в отношении каких третейских судов возможно применение таких обеспечительных мер.

Как справедливо указывает В.В. Ярков, обращение за мерами обеспечения иска от стороны третейского разбирательства возможно в том случае, когда третейский суд образован в соответствии с Федеральным законом «О третейском суде в Российской Федерации». Кроме того, такое обращение возможно и от стороны арбитражного разбирательства международного коммерческого арбитража, образованного на территории РФ в соответствии со ст. 9 закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» [8].

Наиболее сложным в данной ситуации является вопрос о том, имеет ли право обратиться за обеспечительными мерами в отношении имущества ответчика в государственный арбитражный суд Российской Федерации (хозяйственный суд Республики Беларусь) сторона третейского разбирательства, в случае, если процесс рассмотрения дела происходит в арбитражном суде за рубежом? В.В. Хвалей отмечает, что обеспечительные меры в Российской Федерации можно получить и в том случае, если арбитражное разбирательство осуществляется за рубежом. Подчеркивается, однако, что сделать это достаточно сложно, а потому согласно сложившейся практике обеспечительные меры в российском суде получить гораздо легче, если и само дело рассматривается в этом же суде [22].

Аналогичная ситуация сложилась и в Республике Беларусь. Как отмечает И.С. Александров, остается открытым вопрос, имеет ли право обращаться с просьбой о принятии обеспечительных мер в государственный суд на территории Беларуси иностранный международный арбитражный суд, на рассмотрении которого находится исковое заявление. Данный вопрос белорусским законом не решен, поэтому представляется, что возможность аналогии в данном случае является проблематичной, так как обращение в суд стороны с целью защиты своих прав и обращение органа, осуществляющего правосудие – разные вещи [1].

На наш взгляд, в данной ситуации представляется вполне оправданным обращение сторон международного коммерческого арбитража, образованного за рубежом, за применением

обеспечительных мер в отношении имущества и денежных средств другой стороны, находящейся на территории Российской Федерации или Республики Беларусь. Данная норма способствовала бы укреплению доверия и развитию международных связей с субъектами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.

В этой связи заслуживает внимания аргументация А.М. Треушникова, который полагает, что позитивный ответ на этот вопрос послужил бы «положительным сигналом для иностранных инвесторов, зачастую требующих включения третейской оговорки (о рассмотрении возможного спора в третейских судах, расположенных за пределами Российской Федерации) в контракты с российскими партнерами, но не обладающих достаточными гарантиями по исполнению решений третейских судов на территории Российской Федерации, а также для унификации российских процессуальных норм с международными нормами» [20, с. 265].

Однако практика свидетельствует об обратном. Согласно п. 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» [41], судебные акты иностранных судов о применении обеспечительных мер не подлежат признанию и принудительному исполнению на территории Российской Федерации, поскольку не являются окончательными судебными актами по существу спора, вынесенными в состязательном процессе.

Однако в отношениях между Республикой Беларусь и Российской Федерацией действуют иные правила.

Так, согласно ст. 1 Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации (Москва, 17 января 2001 г.) [30], «судебные акты компетентных судов Сторон не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства на основании исполнительных документов судов, принявших решения.

Под компетентными судами понимаются хозяйственные суды Республики Беларусь и арбитражные суды Российской Федера-

ции, которые вправе рассматривать споры в соответствии с правилами, установленными статьей 4 Соглашения 1992 года».

Однако кроме обращения за применением обеспечительных мер в государственный суд, сторона третейского производства вправе обратиться с просьбой о применении обеспечительных мер также непосредственно к третейскому суду.

Как отмечает Б.Р. Карабельников, полномочия арбитров в отношении принятия обеспечительных мер в значительной степени зависят от регламента, применимого к данному спору: в разных регламентах по-разному решается вопрос об обеспечительных мерах [7, с. 109].

В частности, арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (ст. 26), а также регламенты некоторых институционных учреждений предусматривают возможность проведения арбитражным судом обеспечительных мер. Такие меры могут представлять собой, например, распоряжение арбитража о передаче товаров, являющихся предметом спора, на хранение третьей стороне, или о продаже товаров, являющихся скоропортящимися, и т.п. [25]. Как подчеркивают Д.Е. Ловырев и А.И. Муранов, по просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми [10, с. 172–203].

Как справедливо отмечает О.Н. Толочко, меры по обеспечению иска – мощный инструмент защиты интересов истца в арбитражном процессе. Однако следует отметить, что, вероятно, в силу недостаточной развитости института арбитража вообще и некоторого недоверия к нему со стороны государственных органов в частности, арбитражные обеспечительные меры в государствах бывшего СССР законодательно и регламентами не предусматриваются и по существу не практикуются. Тем не менее вынесение такого промежуточного решения арбитражным судом, как представляется, и в указанных государствах должно быть исполнено, поскольку правовых оснований для отказа в исполнении у государственных судов в данном случае не имеется [19, с. 56].

Таким образом, обеспечительные меры оформляются как промежуточное решение арбитража, однако вопрос о том, ка-

ким образом указанные меры проводятся в жизнь, остается открытым.

В данной связи представляется интересным вопрос о том, возможно ли применение положений Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. о признании и исполнении иностранных арбитражных решений [23] по аналогии и к определениям (решениям) международных арбитражных судов относительно принятия обеспечительных мер. Согласно ст. 1 ч. 1 Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, предметом регулирования Конвенции является процесс признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Законемерным будет вопрос о том, являются ли решениями в смысле Конвенции 1958 г. решения и определения третейских судов о применении мер по обеспечению иска в рамках начатого разбирательства.

Согласно ч. 2 ст. 1 Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, термин «арбитражные решения» включает не только арбитражные решения, вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но также и арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными органами, к которым стороны обратились. Как отмечает И.С. Александров, поскольку органами постоянно действующего международного арбитражного суда могут быть его председатель, секретариат и т.д., весь перечень «арбитражных решений», принятых ими в рамках своей компетенции, существенно расширяется и не ограничивается лишь арбитражными решениями по существу, вступившими в законную силу. Логично предположить, что решение о применении обеспечительных мер входит в круг «арбитражных решений» в смысле ст. 1 Конвенции 1958 г., поскольку оно вынесено органом третейского суда (в данном случае составом арбитров или председателем – в зависимости от положений конкретного арбитражного регламента), следовательно, подлежит признанию и исполнению на территории государства, где было вынесено, а также за рубежом – в государствах, подписавших и ратифицировавших Конвенцию 1958 г. [1].

В то же время анализ белорусского (ст. 14 закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» [33]), так и российского законодательства

(ст. 9 закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [36]) указывает на необходимость стороны третейского разбирательства обратиться в государственный суд до или во время разбирательства дела в международном арбитражном суде с просьбой принять меры по обеспечению иска.

Следовательно, как отмечает И.С. Александров, возможности применения, положений Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений здесь не существует [1]. Альтернативный вариант разрешения данной проблемы содержит Арбитражный Закон Великобритании, который предусматривает компетенцию как государственного, так и третейского суда по принятию мер по обеспечению иска [32].

Вопрос относительно вида акта, принятого в обеспечение требований стороны третейского разбирательства, также представляет исследовательский интерес.

В соответствии со ст. 26 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ [26] обеспечительные меры оформляются как промежуточное решение арбитража. И в случае отказа от его добровольного исполнения, как подчеркивает О.Н. Толочко, такое промежуточное решение подлежит исполнению через государственный суд в том же порядке, что и решение арбитража по существу [19, с. 56]. А как отмечает А.С. Данилевич, принудительность решения тесно связана с его исполнимостью, это один из факторов, определяющих исполнимость [5].

Согласно п. 1 ст. 32 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ [26] арбитражный суд вправе помимо окончательного арбитражного решения выносить промежуточные (*interim*), предварительные (*interlocutory*) или частичные (*partial*) арбитражные решения. Однако при этом дефиниции названных видов арбитражных решений не даются.

Кроме того, в ст. 2 (iii) Арбитражного регламента Международной торговой палаты [29] предусматривается, что решение может быть промежуточным (*interim*), частичным (partial) или окончательным (*final*) решением, также без какого-либо определения данных понятий.

В соответствии с нормами ч. 3 ст. 12 Регламента Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-

промышленной палате от 06.06.2000 [39] о применении мер об обеспечении иска состав суда может вынести промежуточное решение. В то же время, согласно ст. 23 закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» [33], если соглашением сторон не предусмотрено иное, состав международного арбитражного суда может по просьбе любой стороны вынести определение о принятии какой-либо стороной обеспечительных мер.

Исходя же из требований ст. 1 этого Закона, к числу актов, выносимых международным арбитражным судом, находящимся на территории Республики Беларусь, относятся решения, постановления, и определения. Постановление представляет собой акт президиума постоянно действующего международного арбитражного суда, принятый в пределах его компетенции (по вопросу о компетенции состава постоянно действующего международного арбитражного суда – ч. 5 ст. 22 Закона. Постановления по вопросам процессуального характера согласно ст. 1 названного Закона именуются определениями. Они касаются возникновения, движения, прекращения арбитражного разбирательства (ч. 1 и 2 ст. 41 Закона, компетенции состава международного арбитражного (третейского) суда (ч. 4 ст. 22 Закона), принятии стороной обеспечительных мер (ст. 23 Закона).

Следовательно, как отмечает И.В. Перерва, норма ч. 3 ст. 12 Регламента международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате от 06.06.2000 [33], как противоречащая ст. 23 закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде», подлежит исключению. В связи с этим предлагается следующая редакция п. 3 ст. 12 упомянутого Регламента: «О применении мер об обеспечении иска состав суда может вынести определение» [14].

Согласно ст. 17 закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» [36], если стороны не договорились об ином, третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в виде промежуточного решения (п. 3 § 36 Регламента Международного

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (утвержден приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76 [40]).

Таким образом, мы можем констатировать, что как российское, так и белорусское законодательство предусматривает возможность вынесения международным арбитражным судом промежуточного решения.

В то же время иностранные арбитражные суды, приводя в качестве аргументов доводы об экономической и процессуальной целесообразности, практикуют вынесение по одному спору нескольких арбитражных решений: сначала по одному или даже нескольким вопросам, а затем – окончательное решение [18]. Окончательное решение в данном случае завершит разрешение спора.

Б.Р. Карабельников указывает, что если применяемый арбитражный регламент позволяет арбитрам оформить решение об обеспечительных мерах не как окончательное решение, а как процессуальный приказ или иным образом, то шансы на приведение в исполнение такого процессуального приказа национальным судом будут зависеть от того, как этот вопрос трактуется в национальном законодательстве суда [7, с. 109–110].

Например, Закон об арбитраже Швеции [31], с одной стороны, проводит четкое разграничение между окончательными арбитражными решениями и постановлениями арбитров. Так, в соответствии со ст. 27 названного Закона окончательные арбитражные решения оформляют, во-первых, разрешение споров, переданных на рассмотрение арбитров, во-вторых, прекращение арбитражного разбирательства, в-третьих, утверждение мирового соглашения. Прочие выводы арбитров оформляются в выносимых ими постановлениях. Вместе с тем ст. 29 Закона об арбитраже Швеции устанавливает возможность вынесения отдельного арбитражного решения по части спора или определенного вопроса, имеющего значение для разрешения спора.

Состав арбитражного суда Нидерландов, согласно ст. 1049 ГПК [44] имеет право выносить окончательные (*final*), частичные окончательные (*partial final*) и промежуточные (*interim*) арбитражные решения.

Арбитражный суд Швейцарии, согласно ст. 188 Закона о международном частном праве Швейцарии, при отсутствии до-

говоренности сторон об ином, вправе выносить частичные арбитражные решения.

Однако следует отметить, что в настоящее время нет достаточно четкого определения того или иного вида решения арбитражного суда.

В частности, Е.В. Брунцева указывает на отсутствие четкой границы между предварительными и промежуточными арбитражными решениями, а также использование этих терминов в качестве взаимозаменяющих понятий [4, с. 217]. В данной связи следует отметить, что термин «*interim award*» может быть переведен с английского языка и как промежуточное, и как предварительное решение. Аналогичным образом может быть переведен термин «*interlocutory award*».

ЮНСИТРАЛ также не обошел вниманием данный вопрос. В частности, в докладе рабочей группы ЮНСИТРАЛ по арбитражу о работе ее тридцать шестой сессии было отмечено, что, по мнению большинства членов группы, использование формулировки «частичное решение» является неуместным, если оно касается принятия обеспечительных мер, так как под частичным подразумевается окончательное решение, регулирующее часть спора [27]. Более того, подчеркивается, что строго терминологически ни одно постановление об обеспечительных мерах нельзя рассматривать в качестве арбитражного решения, поскольку такие меры по своей природе являются временными и окончательно не разрешают спор в целом или в части [26].

## 3. Заключение

Таким образом, обеспечительные меры имеют большое значение в рамках третейского разбирательства спора. Однако нельзя не согласиться с И.С. Александровым в отношении того, что наделение в рамках закона международного арбитражного суда полномочиями по принятию решения об обеспечительных мерах является существенным преимуществом, которое стороны конфликтного правоотношения должны учитывать при выборе места и конкретного третейского суда в тексте арбитражной оговорки [1]. В таком случае все полномочия по совершению процессуальных действий от имени органа правосудия сосредоточены в одних руках и, следовательно, принятие обеспечи-

тельных мер происходило бы более оперативно и с учетом всех обстоятельств дела.

О необходимости дальнейшего правового регулирования в области международного коммерческого арбитража говорит и ЮНСИТРАЛ, который планирует рассмотреть вопросы, связанные с исполнением арбитражных решений, обеспечительными мерами в поддержку арбитража, применением согласительной процедуры, взаимодействием арбитража и судебных органов, а также другие актуальные вопросы.

## *Литература*


1. *Александров И.С.* Обеспечение иска в международном арбитражном суде по законодательству Беларуси и некоторых зарубежных стран // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
2. *Аристотель*. Риторика, I, 13, 1374 б, 420.
3. *Богуславский М.М.* Международное частное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., Юрист, 1998. С. 403–404.
4. *Брунцева Е.В.* Международный коммерческий арбитраж. СПб.: Изд. Дом «Сентябрь», 2001. С. 217
5. *Данилевич А.С.* Эффективность и законная сила решения международного арбитражного суда // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск
6. *Ерпылева Н.Ю*. Международное частное право: Учебник для вузов. М.: Издательский дом «NOTA BENE», 1999. С. 296.
7. *Карабельников Б.Р*. Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. С. 108–110, 244–245.
8. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. проф. В.В. Яркова. М.: Изд. БЕК, 2003 [Электр. ресурс].
9. *Костин А.А.* Типовой закон ЮНСИТРАЛ и российский Закон о международном коммерческом арбитраже: Сравнительно-правовой анализ // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: сб. ст. к 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / отв. ред. А.С. Комаров. М.: Спарк, 2002. С. 91.
10. *Ловырев Д.Е.*, *Муранов А.И.* Некоторые проблемы института обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже в праве России. Нейтрализация дерогационного эффекта арбитраж-

ной оговорки // Московский журнал международного права. 2001. № 1. С. 172–203.
11. *Мусин В.А.* Третейские суды и проблема обеспечения иска // Приложение к журналу «Хозяйство и право». 1999. № 9. С. 25.
12. *Павлова Н.В.* Первый опыт – уроки практики // Юрист. 2004. № 28.
13. *Павлова Н.В.* Предварительные обеспечительные меры: понятие, механизм реализации, особенности осуществления в рамках взаимодействия судебных процессов государств // Вестник ВАС РФ. 2002. № 1. С. 135–154.
14. *Перерва И.В.* Понятие арбитражного решения // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
15. *Рашидов А.* Различные подходы к проблеме обеспечительных мер // Третейский суд. 2003. № 5 (29). С. 97.
16. *Скворцов О.Ю.* Коммерческое право и контрактные юрисдикции // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: сб. науч. ст. Волтерс Клувер, 2005. Вып. 5.
17. *Скворцов О.Ю.* Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции, перспективы. Волтерс Клувер, 2005.
18. *Содерлунд К.* Решения международного коммерческого арбитража: сроки вынесения, содержание, виды // Хозяйство и право. 2002. № 12. С. 117.
19. *Толочко О.Н.* Международный коммерческий арбитраж. Гродно: Изд. Гродненского филиала Негосударственного института современных знаний, 1997. С. 56.
20. *Треушников А.М.* Становление института обеспечительных мер в арбитражном процессе // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. М.: Городец, 2004. С. 265.
21. *Хвалей В.В.* Как «убить» арбитражное соглашение // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
22. *Хвалей В.В.* 12 критериев выбора юрисдикции // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электр. ресурс] ООО «ЮрСпектр». Минск.
23. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Подписана в Нью-Йорке 10.07.1958 г. // Бюллетень нормативно-правовой информации. 1996. № 5.
24. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. Подписана 21.04.1961 г. в Женеве: сб. основных международных договоров Республики Беларусь о деятельности общих и хозяйственных судов. Мн.: Информпресс, 1999.

25. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже». Принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 21.06.1985 г. // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 1996. № 1.
26. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Принят ЮНСИТРАЛ 28 апреля 1976 г. // http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1976Arbitration_rules.html
27. Документ ЮНСИТРАЛ A\CN.9\524. Тридцать шестая сессия. Вена, 30 июня – 11 июля 2003 г. С. 19.
28. Документ ЮНСИТРАЛ A\CN.9\508. Тридцать пятая сессия. Нью-Йорк. 17–28 июня 2002 г. С. 22.
29. Арбитражный регламент Международной торговой палаты. Публикация МТП № 581. Международная торговая палата, 2000.
30. Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации (Москва, 17 января 2001 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 21.06.2002. № 69. ст. 2/858.
31. Закон об арбитраже Швеции // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 12. С. 124.
32. Арбитражный Закон Великобритании 1996 г. // http://www.opsi.gov.uk/ACTs/acts1996/96023–e.htm#44 http.
33. Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 19 июля 1999 г. № 2/60.
34. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 06.09.2004, № 138–139, 2/1064.
35. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.
36. Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г., № 32. ст. 1240.
37. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30 ст. 3013.
38. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // «Российская газета» от 27 июля 2002 г. № 137.

39. Регламент Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-Промышленной Палате, утвержденный Постановлением Президиума БелТПП от 06.06.2000.
40. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Утвержден Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 18 октября 2005 г. № 76 // http://www.tpprf.ru.
41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» // http://www.arbitr.ru/pract/post_plenum.
42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.
43. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 июля 2004 г. № 78 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 8.
44. International Handbook on Commercial Arbitration. Vol. III. P. 4.
45. International Handbook on Commercial Arbitration. Vol. III. Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer – Boston. 1984. P. 8.

**Nataliya Hitsevich**

## Secured Measures During the International Arbitration in the Republic of Belarus and Russian Federation

SUMMARY

Timely taking security measures for a claim now is the most actual problem facing to the international commercial arbitration both in territory of the Russian Federation, and in Republic of Belarus.
The institute of secured measures in arbitration legal proceedings is necessary for guarantee interests of the plaintiff concerning execution of the arbitral decision from the outside of defendant who the certain actions, for example, a deduction from the enterprise of tangible assets or disposal of a subject of dispute, can make impossible or is essential complicate execution of a judgment.

**Keywords**: secured measures, international arbitration, claim, Republic of Belarus, Russian Federation, subject of dispute

*Ю.О. Гритченко*

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О ФРАНЧАЙЗИНГЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН

В последнее время в Беларуси значительно возрос интерес к франчайзингу как особому способу осуществления торговли результатами интеллектуальной деятельности, что связано в первую очередь со вступлением в силу новой редакции главы 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь, посвященной комплексной предпринимательской лицензии (франчайзингу). В отсутствие международно-правового регулирования франчайзинга государствами используются различные способы правового регулирования, причем специальное законодательство о франчайзинге принято лишь в небольшом количестве государств. Опыт зарубежных стран в данной сфере представляет безусловный теоретический и практический интерес и может быть использован в Республике Беларусь в целях дальнейшего совершенствования правового регулирования комплексной предпринимательской лицензии, что в конечном итоге призвано способствовать развитию франчайзинга в Беларуси.

**Ключевые слова:** франчайзинг, франшизное соглашение, антитрестовское и антимонопольное законодательство.

В свете того, что заключение договоров франчайзинга в международном коммерческом обороте с течением времени приобретает все большее распространение, актуальными становятся проблемы согласования подходов различных правовых систем в регулировании данного правового института. Огромное количество трудностей, с которыми сталкиваются предпри-

ниматели, вступая в отношения франчайзинга с иностранными контрагентами, делает очевидной необходимость рассмотрения франчайзинга как международно-правового феномена.

Сегодня договор франчайзинга получил распространение более чем в 80 странах мира [1, с. 140]. В США 1/3 часть всего объема розничных продаж осуществляется через франчайзинговую сеть [1, с. 140]. В Австралии франчайзинг занимает 90% общего объема услуг сети быстрого питания [1, с. 140].

Однако гражданско-правовое описание франчайзинга отсутствует в большинстве правовых систем мира, несмотря на его широкое применение в экономике и его регламентацию в 14 государствах мира [1, с. 140].

В подходах к правовому регулированию франчайзинга выделяют две группы стран. К первой относятся те, в которых регламентируются административно-правовые аспекты отношений франчайзинга (Канада и США, где в отдельных штатах приняты нормативные акты, требующие обязательной регистрации договоров). Вторую группу составляют государства, в которых франчайзинг детально регулируется законом (Франция, Италия, Молдова, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина и др.).

Таким образом, в современном мире есть несколько географических районов, в которых существует отдельное законодательство для регулирования франчайзинга. В каждом из регионов это законодательство, естественно, отличается историей происхождения, базой законодательной и правоприменительной практики и некоторыми иными особенностями. Мы остановимся на трех основных моделях: законодательство США, законодательство стран – членов Европейского Союза (далее – ЕС) и белорусское право [2].

Итак, первый регион – США и Канада – самый крупный по степени вовлечения экономических ресурсов в правоотношения франчайзинга. Несмотря на то, что фактически франчайзинг появился именно в США более века назад, до сих пор нет всеобщей законодательной системы регулирования франчайзинга. Современное законодательство о франчайзинге в США носит ограниченный территориальными или отраслевыми рамками характер [3, с. 939]. Так, на федеральном уровне действуют два отраслевых закона о франчайзинге: закон 1956 г. об автомобиль-

ном дилерском франчайзинге (Automobile Dealer Franchise Act of 1956), или Federal Automobile Dealer Day-in-Court Act [4, с. 117], регулирующий отношения автомобильных корпораций и дилеров – розничных торговцев автомобилями, и закон 1978 г. (с поправками 1994 г.) о нефтесбытовой рыночной практике (Petroleum Marketing Practices Act of 1978 [5, с. 375]), который является более сложным по структуре и регулирует производственно-коммерческую деятельность мощнейшей сферы американского франшизного транспортного сервиса – сотен тысяч автоколонок и заправочных станций, которые снабжаются крупнейшими нефтяными корпорациями-франчайзерами («Exxon», «Shell», «Mobile», «Texaco» и др.). Оба федеральных закона направлены на уравновешивание возможностей франчайзи с возможностями франчайзера на двух критических этапах: в преддоговорной период, когда франчайзер сообщает потенциальному франчайзи информацию о своем франшизном бизнесе и его состоянии, а также при досрочном расторжении франчайзером франшизного соглашения.

Особенностью данных актов является то, что они устанавливают между участниками франшизные отношения простейшего дилерского, торгового или сервисного типа, а также служат законодательной моделью для штатов США.

На федеральном уровне неоднократно предпринимались попытки создания единообразной законодательной базы для франшизных отношений. Например, в Конгрессе США уже много лет без движения находятся несколько весьма значительных законопроектов о франчайзинге: проект федерального закона о распределительном франчайзинге (1967 г.), о справедливых франшизных отношениях (1969 г.), о справедливой франшизной практике (1992 г.) и некоторые другие [6, с. 33].

Не менее половины штатов США имеют разнообразное и многочисленное законодательство, однако на практике в соответствии с ним заключается не более 1/3 франшизных соглашений [6, с. 34]. Это связано в большей степени с тем, что часть законодательства регулирует не собственно франшизные, а «дофраншизные», или преддоговорные, отношения будущих сторон. Кроме того, сужает законодательную базу и несоответствие норм законодательства о франчайзинге в разных штатах. Нормативно-правовые акты штатов не стремятся дать юридиче-

ское понятие франчайзинга как особой формы предпринимательства с четким формулированием предмета и требований к форме договора, его юридических признаков, прав и обязанностей сторон, ответственности, существенных условий договора и др. В этом заключается основное отличие законодательного регулирования франчайзинга в Европе. Кодифицированное законодательство стран континентального права четко определяет различные виды гражданских договоров, их предмет, обязательные условия. Такого подхода придерживается и глава 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующая отношения сторон по договору франчайзинга.

Основная цель франшизного законодательства США, прежде всего, заключается в том, чтобы ответить на наиболее сложные запросы судебной практики, т.е. предоставить судам средства разрешения споров из франшизных отношений, наиболее конфликтных и уязвимых с точки зрения интересов сторон договора франчайзинга. Это, во-первых, момент преддоговорной передачи всей информации потенциальному франчайзи и, во-вторых, основания и последствия досрочного расторжения договора франчайзинга франчайзером или отказ последнего возобновить соглашение в течение срока его действия. Именно эти аспекты являются основополагающими для американского франшизного законодательства. Таким образом, основой закона являются нормы, обязывающие франчайзера предоставлять франчайзи полную и достоверную информацию о франшизном бизнесе, а также нормы добросовестного использования правовых оснований, которые дают франчайзеру право на досрочное расторжение договора франчайзинга без юридических последствий для себя или на отказ от возобновления соглашения по истечении срока его действия, либо ограничения свободы франчайзи на продажу франшизы (пакета франшизных прав), когда франчайзи считает такую продажу необходимой.

Рассмотренные особенности свидетельствуют о том, что само определение франчайзинга как вида предпринимательского договора, а также остальных ключевых понятий – франчайзера, франчайзи, франшизы и т.п. – играет в законе несамостоятельную роль и зачастую просто не соответствует аналогичным понятиям других актов законодательства о франчайзинге. Другой характерной чертой американского франшизного законодатель-

ства, как и законодательства в целом, которая подтверждает судебное, прецедентное происхождение общего права, является значительный удельный вес в законах о франчайзинге норм процессуального права.

Однако большее значение имеет тот факт, что некоторые обязательные условия франшизного соглашения вообще не имеют отражения в этих законодательных актах. К этим условиям можно отнести, например, внедоговорную ответственность сторон, разграничение ответственности между сторонами перед законными претензиями потребителей. В таких случаях суды обращаются к общему договорному праву и судебным прецедентам.

Все законодательные акты США в сфере франчайзинга можно разделить на несколько групп:

- о регистрации и/или раскрытии франшизной информации;
- собственно франшизных отношениях.

Кроме указанных групп актов, в регулировании франшизных отношений участвуют законы о предложении благоприятных деловых возможностей (*business opportunity acts*), о дилерских соглашениях, о торговых представителях, распределении товаров и услуг [7, с. 33], которые в той или иной степени могут затрагивать и франшизные отношения.

К первой группе актов относятся законы об обязательном преддоговорном («дофраншизном») раскрытии и/или регистрации информации (*pre-sale disclosure and* (*or*) *registration acts*). Такие законы приняты в 18 штатах; Арканзас, Миссисипи, Флорида и Орегон требуют только преддоговорного сообщения информации без ее регистрации. Это копирует федеральные нормы о раскрытии информации, которые излагаются не в законе, а в Постановлении № 436 от 1978 г. Федеральной торговой комиссии США (ФТК) [6, с. 34].

Вторая группа законов штатов призвана упорядочить, контролировать и гарантировать франчайзи исчерпывающую и достоверную информацию с предварительной унифицированной регистрацией. Отличие этой группы в том, что нормы законов распространяются не только на франчайзинг, но и на все иные виды так называемых дистрибутивных договоров. Эти договоры с посредником очень распространены в США и регулируются

указанным законом о предложении благоприятных деловых возможностей (*business opportunity acts*) [8], которые приняты в большинстве штатов.

Другая разновидность франшизного законодательства штатов представлена так называемыми специальными законами об отношениях в промышленности (*special industry law*). Это акты, затрагивающие франшизные отношения в таких традиционных американских сферах, как автомобильная и бензозаправочная. Так, в Техасе отдельными положениями комплексных законов регулируется автомобильный франчайзинг, франчайзинг сельхозтехники и оборудования, автозаправочный франчайзинг и дилерская продажа малолитражных судов. В Нью-Джерси к этим нормам добавляются еще и нормы, регулирующие производство алкогольных напитков. Отдельные стороны франшизных отношений регулируются также многочисленными законами о борьбе против обманов, мошенничества, нечестной торговой практики.

Наконец, особую группу актов франшизного законодательства составляют законы, которые содержат положения о «справедливых» или «добросовестных» обязательствах сторон договора франчайзинга. Эти нормы были закреплены в федеральных законах об автомобильном дилерском франчайзинге и о нефтесбытовой рыночной практике, касающихся ограничении права франчайзера досрочно прекращать франшизные соглашения и права не возобновлять соглашения с истечением срока действия.

Первым штатом, который принял такой закон, был Делавэр. Позже были приняты законы «О франшизных инвестициях» (Гавайи), «О защите франшизных инвестиций» (Вашингтон), «О франшизной практике» (Нью-Джерси и Айова), «О справедливых дилерских отношениях» (Висконсин). В начале 1990-х гг. такие законы действовали уже в 17 штатах США, сегодня – в более 20 штатах [6, с. 35].

Принцип «справедливости» и «добросовестности» заложен изначально в Единообразном торговом кодексе США (далее – ЕТК) в ст. 1-103 (b) [9, с. 27]. Этот принцип закреплен в виде презумпций, которым должны следовать стороны договора франчайзинга, а также в виде конкретного приложения к каждому из основных условий соглашения (например, включение

в закон исчерпывающего перечня обстоятельств, при которых франчайзер вправе досрочно расторгнуть договор франчайзинга или отказать франчайзи в его возобновлении; ограничение требований к срокам действия франшизного соглашения; запрещение ряда действий, которые не являются необходимыми для исполнения условий соглашения; введение минимальных сроков предварительного уведомления одной из сторон о намерении досрочно прекратить соглашение или отказаться от его возобновления; вменение в обязанности франчайзеров выкупить у франчайзи то или иное оборудование по истечении срока действия франшизы или возместить часть стоимости франшизы и др.). Рассмотренные выше нормы носят диспозитивный характер и являются рекомендательными для штатов.

Самым полным в США по охвату франшизных отношений, хотя и весьма «противоречивым и проблемным», стал закон 1992 г. «О франшизной практике», принятый в штате Айова [10, с. 125]. В многочисленных судебных делах, связанных с толкованием новых положений этого закона, ставился даже вопрос о его конституционности.

Законодательными актами перечисленных групп так или иначе регулируются франшизные отношения практически во всех 50 штатах США. Однако не следует забывать о трех особенностях этого законодательства: во-первых, оно не регулирует весь комплекс таких отношений, при этом соотношение урегулированных и неурегулированных отношений в разных штатах не является равноценным; во-вторых, на франшизные отношения часто распространяются положения других законов штатов, которые не имеют специального франчайзингового назначения; в-третьих, многие франшизные законы штатов, в отличие от двух федеральных, предусматривают условия франшизных соглашений типа бизнес-формат франчайзинга (мастер-франчайзинга), или делового франчайзинга. Суть данного вида франшизных правоотношений в том, что франчайзер продает лицензию частным лицам или другим компаниям на право открытия магазинов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора продуктов и услуг под именем франчайзера. Таким образом, это франчайзинг на вид деятельности, т.е. включение малого предприятия в полный производственно-хозяйственный цикл крупной корпорации (например, прокат и бытовое обслу-

живание, деловые и профессиональные услуги бизнесу и населению, магазины или цепи закусочных, гостиницы). В случае делового франчайзинга требуется, чтобы франчайзи оплачивал постоянные взносы, а также производил взносы в рекламный фонд, находящийся в ведении франчайзера. Франчайзер может сдать в аренду франчайзи основные фонды, предложить ему финансирование; он вправе также выступать и в качестве поставщика для своих франчайзи.

Если говорить о роли законодательной составляющей в правовом регулировании франчайзинга в общем, некоторые американские исследователи отмечают, что федеральное законодательство и законодательство штатов все же оказывают минимальное воздействие на такое регулирование. Основой правовой системы франчайзинга, по их мнению, до сих пор остается договор (соглашение), даже в тех его положениях, которые в наибольшей степени контролируются и регулируются законом [3, с. 345]. Иначе говоря, условия франшизного соглашения в основном определяются волей сторон, базируясь на общих положениях договорного права.

Второй регион мира, в котором действует специальное законодательство о франчайзинге, – Западная Европа, точнее группа стран ЕС. Своеобразие законодательного регулирования франчайзинга в ЕС состоит в том, что оно осуществляется не только национальным законодательством каждой из стран ЕС, а единым для ЕС «наднациональным» законодательным актом о франчайзинге – Регламентом № 4087/88 Комиссии Европейского Экономического Союза (далее – КЕС) от 30.11.1988 г. [11, с. 493]. До принятия Регламента в Европе не существовало специальных нормативных актов о франчайзинге, если не принимать во внимание Решение суда ЕЭС по делу № 161/84 от 28.01.1986 г., известному как дело «Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Imgard Schillgallis» [1, с. 141].

Чтобы понять особенности законодательства ЕС о франчайзинге, на наш взгляд, следует кратко охарактеризовать юридическую природу Регламента № 4087/88 и органа, который его принял – Комиссии ЕЭС. Регламент № 4087/88 не является законом в традиционном понимании этого слова, как и сама Европейская Комиссия не является законодательным органом. Напротив, КЕС есть исполнительный орган, который принимает свои решения

во исполнение директив (постановлений) органа политического руководства ЕС – Совета ЕС. В одной из главных сфер КЕС – контроль за соблюдением участниками ЕС положений Римского договора 1957 г. о свободе конкуренции: Еврокомиссия уполномочена Советом ЕС принимать обязывающие решения для участников общего рынка [11, с. 501]. Регламенты и решения КЕС, которые направлены на предотвращение, выявление и устранение нарушений в этой области, носят, скорее, административный характер. Комиссия не обладает судебной юрисдикцией в отношении выявленных нарушителей антимонопольного законодательства, но может налагать на них существенные штрафы. Судебной юрисдикцией наделен Суд ЕС.

Решения КЕС в отношении франшизных соглашений являются обязательными для государственной администрации, судов и субъектов франчайзинга всех стран ЕС. Однако сфера распространения данных решений ограничивается только действующими в рамках общего рынка ЕЭС соглашениями. Таким образом, соглашение между франчайзером и франчайзи, действующими внутри одной страны, не подпадает под действие Регламента № 4087/88. Указанные оговорки свидетельствуют, что Регламент является актом прямого действия в странах ЕС. Однако он остается первым международным правовым законодательным документом о франчайзинге вообще.

Реальная роль Регламента № 4087/88 постоянно растет. С момента введения в ЕС свободы перемещения товаров (в том числе в промышленной и интеллектуальной собственности), услуг, рабочей силы и капиталов особенно усиливается роль общего права наднациональных правовых норм ЕС. Как следствие, Регламент № 4087/88, не имеющий альтернативы среди национальных франшизных законодательств, будет неизбежно распространять свои положения и на «внутренний» франчайзинг стран – членов ЕС. Это подтверждает тот факт, что суды стран – членов ЕС при вынесении решений по делам о франчайзинге обязаны придерживаться основополагающего постановления Суда ЕС 1986 г., которое, как уже говорилось, и легло в основу Регламента № 4087/88.

Принятие Регламента № 4087/88 не имело в виду урегулирование непосредственно франшизных отношений и установление законодательных основ франшизного соглашения в системе

гражданско-договорного права, как это предусмотрено, например, главой 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь [12, с. 406]. Даже франчайзинговое законодательство США глубже затрагивает договорную основу франшизных отношений, хотя оно имеет достаточно ограниченную цель – «расширить» наиболее узкие и уязвимые места американского франчайзинга. Однако нам представляется, что Регламент № 4087/88 сыграл более значительную роль в развитии франчайзинга, так как американское законодательство наделяет основной ролью в регулировании франчайзинга судебную практику.

Антимонопольная ст. 81 (1) (в новой нумерации после внесения изменений и дополнений по Амстердамскому договору от 01.05.1999 г.) Римского договора о создании ЕЭС запрещает как несовместимые с правилами Общего рынка ЕЭС любые договоры и соглашения между предприятиями либо решения, принимаемые объединениями предприятий, равно как и согласованные практические действия, которые могут воздействовать на торговлю между странами – членами ЕС таким образом, что имеют своим результатом предотвращение, ограничение или создание помех свободе конкуренции внутри Общего рынка ЕЭС.

Такими ограничениями признаются любые действия договаривающихся сторон, которые в скрытой или открытой форме преследуют: прямую или косвенную фиксацию закупочных или сбытовых цен; ограничение или контроль производства, рынка или источников поставок товаров и услуг; применение неодинаковых условий к однотипным (эквивалентным) сделкам с третьими сторонами, что создает для последних неблагоприятную ситуацию; обусловливание заключения договоров принятием другой стороной дополнительных обязательств, которые в силу их природы не вытекают из предмета договора.

Любые соглашения такого рода или практика, которая имеет как результат перечисленные действия, автоматически признаются ничтожными.

Под запретительные положения ст. 81 (1) попадает и франчайзинг как разновидность исключительных (эксклюзивных) договоров, которые предусматривают согласованные ограничения свободы рыночных действий сторон, а также и некоторые антиконкурентные действия в отношении третьих лиц.

Однако ст. 81 (3) содержит исключения запретительных мер. Перечисленные выше действия должны соответствовать нескольким условиям: вносить вклад в улучшение производства или распределение товаров или в ускорение технического либо экономического прогресса, обеспечивать потребителю конечные выгоды; не налагать на предприятия таких согласованных ограничений, которые не обязательны для достижения указанных целей, а также не предоставлять предприятиям возможности для устранения конкуренции в отношении существенной части соответствующей продукции.

Франчайзинг по своей природе лучше, чем другие виды исключительных договоров, соответствует исключениям, предусмотренным ст. 81 (3), так как лицензии на изобретения, ноу-хау позволяют приобщить к техническому прогрессу и наиболее передовым маркетинговым технологиям массу мелких предпринимателей, которые сами по себе, без льготного комплексного франчайзинга, никогда не смогли бы войти в мир эффективного бизнеса. Выигрывает, конечно же, и потребитель.

Регламент № 4087/88 добавляет ряд более конкретных требований к франчайзингу; некоторые из них включаются в соглашение в императивном порядке, другие – в диспозитивном; одни из них прямо или косвенно благоприятствуют франчайзи, другие – франчайзеру; без соблюдения одних – соглашение не может быть изъято из антимонопольных положений ст. 81 (1), без соблюдения других – уже изъятое соглашение может быть лишено права на изъятие.

В соответствии с Постановлением № 19/65 от 02.03.1965 г. Совет ЕЭС уполномочил Еврокомиссию определять, какие из двусторонних эксклюзивных договоров по предоставлению прав на распределение или закупку товаров или ограничению на передачу или использование прав интеллектуальной собственности, отвечают требованиям п. 3 ст. 81 (3). В случае обнаружения таких договоров КЕС вправе издавать специальные акты о применении положений ст. 81 (3) как к индивидуальным договорам, так и в групповом порядке – «блоками» (*block examption*), которые предоставляются на определенный период времени.

Регламент № 4087/88 предоставил изъятие из антимонопольной ст. 81 (1) любым франшизным соглашениям, которые предусматривают одно или несколько ограничений конкуренции из

числа тех, которые специально перечислены в ст. 2 Регламента [13, с. 3]:

а) обязанность франчайзера в данном районе общего рынка или договорной территории:

- не предоставлять право на использование всей или части франшизы третьим лица;
- использовать самому франшизу или самому продавать товары или услуги, которые являются предметом франшизы в соответствии с такой же формулой;
- поставлять самому товары франчайзера третьим лицам;

б) обязанность франчайзера не заключать франшизное соглашение с третьими лицами за пределами его договорной территории;

в) обязанность франчайзи эксплуатировать франшизу только из помещений, указанных в договоре;

г) обязанность франчайзи воздерживаться за пределами договорной территории от поиска покупателей для товаров или услуг, которые являются предметом франшизы;

д) обязанность франчайзи не производить, не продавать и не использовать в процессе оказания услуг товары, конкурирующие с товарами франчайзера, которые являются предметом франшизы; если предметом франшизы является продажа или использование в процессе оказания услуг определенных видов товаров и запасных частей или аксессуаров к ним, данная обязанность не может быть распространена на запасные части или аксессуары.

Этим субъекты франшизных отношений наделены бесконкурентным режимом в отличие от иных коммерсантов, которые осуществляют однопрофильную торгово-распределительную или сервисную деятельность в соответствии с жесткими антимонопольными нормами законодательства ЕС. Аналогичные изъятия действуют в отношении субфраншизных отношений.

Если соглашение автоматически не подпадает под изъятие в силу того, что его положения не позволяют отнести соглашение к категории изъятых либо неизъятых в соответствии с Регламентом, они могут рассматриваться как обладающие правом на применение к ним ст. 81 (3) Римского договора. Еврокомиссия может в таком случае быстро рассмотреть соглашение на предмет такого применения, т.е. Регламент толкует ст. 81 (3) в пользу

заинтересованного лица. Комиссия по Регламенту № 4087/88, кроме того, имеет право лишить франшизное оглашения преимуществ, полученных им по Регламенту, в случае если данное соглашение оказывает на рынок те действия, которые несовместимы с условиями ст. 81 (3) Римского договора.

Следует отметить, что перечень условий, дающих франшизному соглашению право на изъятие из антимонопольных положений ст. 81 (3) Римского договора, содержащийся в Регламенте № 4087/88, не является исчерпывающим. Данные изъятия могут применяться и к франшизным соглашениям, положения которых частично отвечают требованиям Регламента № 4087/88, а частично нет. Такое изъятие возможно, если Еврокомиссия будет своевременно уведомлена о таком соглашении и в течение шести месяцев после получения уведомления она не выдвинет возражений против изъятия. Однако Еврокомиссия вправе также отказать в изъятии, если с просьбой о таком решении обращается государство – член ЕС исходя из соображений, связанных с конкурентными положениями Римского договора и при соблюдении процедуры подачи просьбы в КЕС, предусмотренной Регламентом № 4087/88.

На основании решений Суда ЕС еще до принятия Регламента № 4087/88 ЕК вынесла несколько индивидуальных постановлений об изъятии из антимонопольных положений ст. 81 Римского договора соглашений, заключенных известными франчайзерами: «Campari-Milan», «Yves Rosher», «Computer Land», «Charles Jourdan», «Service Master Ltd.», а также фирмой «Pronuptia» [6, с. 42]. Особого внимания заслуживает дело «Campari-Milan» не только потому, что оно было первым в хронологическом ряду (1977), но потому, что компания практикует франчайзинг производственного, промышленного типа [14, с. 18].

Решение Еврокомиссии стало прецедентом, тем более важным, так как впоследствии Регламент № 4087/88 исключил производственный франчайзинг из сферы своего действия. По истечении срока изъятия фирма «Campari-Milan» повторно обратилась в КЕС с просьбой о возобновлении изъятия, на что КЕС разъяснила, что, так как фирма внесла требуемые изменения в заключенные ею франшизные соглашения, ее деятельность больше не подпадает под антимонопольные положения ст. 81 (1) Римского договора.

После вынесения Судом ЕС в 1986 г. принципиального решения по делу «Pronuptia» о том, что франчайзинг в силу своего позитивного экономического потенциала не представляет угрозы свободе рыночной конкуренции [1, с. 142], Еврокомиссия пришла к выводу, что франшизные соглашения вполне соответствуют критериям ст. 81 (3) Римского договора и также могут претендовать на групповое (блочное) изъятие из сферы действия ст. 81 (1). В результате этого и был принят Регламент № 4087/88 «О применении ст. 81 (3) Римского договора к некоторым категориям франшизных договоров». В Регламенте указано, что любые франшизные соглашения, заключенные до вступления в силу Регламента № 4087/88 (т.е. до 30.11.1988), тоже вправе претендовать на изъятие из антимонопольной ст. 81 Римского договора при условии, что они будут приведены в соответствие с положениями Регламента № 4087/88.

Следует отметить тот факт, что в 1980-е гг. франчайзинг не имел в Европе законодательной базы, не накопил значительного опыта судебной практики, не был даже достаточно известен в правовой теории и предпринимательском сообществе. Именно поэтому первоначальной задачей Еврокомиссии была необходимость сформулировать основные признаки франшизного соглашения, дать трактовку ключевым понятиям франчайзинга, определить принципы взаимоотношений между франчайзером и франчайзи.

Таким образом, Регламент № 4087/88 зафиксировал в нормативном порядке некоторые из основных гражданско-правовых положений франшизного договора, в том числе его определение. Это явилось первым в Европе официальным нормативным определением франшизного (и субфраншизного) соглашения, а также ключевых понятий, таких как «франшиза», «франчайзер», «франчайзи», «франшизные товары», «франшизное помещение» и др. Этим Регламент № 4087/88 гарантировал единообразное толкование и применение всеми регулирующими органами ЕС упомянутых понятий франчайзинга и во многом расчистил путь его массовому распространению в ЕС. Следует также отметить, что положения франчайзинга в Регламенте № 4087/88 предусматривают его развитие в наиболее современных, высших формах. Регламент № 4087/88 распространяет свое действие на комплексный франчайзинг, на деловой франчайзинг, или фран-

чайзинг бизнес-формата. Любые другие соглашения, которые содержат в себе определенные признаки франчайзинга иных разновидностей, не соответствуют требованиям Регламента № 4087/88, следовательно, не подлежат изъятию из антимонопольной ст. 81 (1) Римского договора и могут быть признаны недействительными как нарушающие свободу конкуренции на общем рынке ЕЭС.

Так, в Регламенте говорится, что его действие распространяется на франшизные соглашения, предусматривающие розничную торговлю товарами или оказание услуг конечным потребителям либо комбинацию обоих видов деятельности, включая переработку или адаптацию товаров для удовлетворения особых потребностей их потребителей, а также на субфраншизные соглашения, предусматривающие подобные продажи или услуги. Наряду с этим за пределами действия Регламента остаются «оптовые» франшизные соглашения – договоры, в которых в роли франчайзера выступает не изготовитель продукции, а оптовый торговец такой продукцией, продающий ее франчайзи для дальнейшего сбыта конечным потребителям. Еврокомиссия объяснила эту позицию в отношении «оптовых» франшизных соглашений «недостатком опыта» в данной области.

Положения Регламента № 4087/88 не распространяются, как уже отмечалось ранее, и на производственный франчайзинг, хотя отдельные исключения для такого рода соглашений имели место. Однако допускается, что некоторые из таких соглашений могут подпадать под «блочные» изъятия КЕС других видов, если будут отвечать условиям ст. 81 (3) Римского договора.

Регламент № 4087/88 вступил в силу 01.01.1989 г. и оставался в силе до 31.12.1999 г. Незадолго до истечения срока его действия, 22.12.1999 г., ЕК приняла новый Регламент № 2790/1999, в котором подтверждалось, что антимонопольные положения ст. 81 (1) не применяются к так называемым вертикальным соглашениям или к согласованным рыночным действиям, когда имеются два или более предприятия, каждое из которых действует в целях соглашения, будучи на разных уровнях производственной или распределительной цепочки, покупая, продавая или перепродавая определенные товары и услуги. Регламент № 4087/88 был отнесен к нормативным документам, регулирующим одну из разновидностей такого рода вертикальных соглашений, в ре-

зультате чего было установлено, что предусмотренные им изъятия продолжают действовать в отношении франшизных соглашений, заключенных на 31.05.2000 г., а соглашения, заключенные после этой даты, должны отвечать уже требованиям Регламента № 2790/1999 [15], который будет действовать до 31.05.2010 г. Так как этот документ не внес существенных изменений в Регламент № 4087/88, последний по-прежнему можно считать основополагающим международно-правовым актом европейского франчайзинга [16, с. 128].

Как уже говорилось ранее, помимо Регламента № 4087/88 в Западной Европе больше не существует никаких иных законодательных актов о франчайзинге – ни национальных, ни международно-правовых. Исключение составляют Франция и Италия, в которых были приняты национальные законы. Во Франции 31.12.1989 г. был принят закон, требующий «предпродажного раскрытия информации». По своему назначению и содержанию данный закон напоминает Постановление Федеральной торговой комиссии США 1978 г. и ряда аналогичных законодательных актов США, которые устанавливают обязанность лица, предлагающего другому лицу возможности делового сотрудничества (например, в форме лицензии на право пользования торговой маркой, патента на изобретение либо иных средств индивидуализации), предварительно сообщить второму лицу полную и достоверную информацию о своем предпринимательском статусе и рыночной репутации.

Несмотря на то, что без соблюдения требований французского закона 1989 г. ни одно франшизное соглашение в стране не может быть заключено, сам закон не стоит относить к актам собственно франчайзингового законодательства: во-первых, закон имеет широкое назначение (регулирует все виды договоров, требующих предварительного раскрытия информации) и, во-вторых, относится к преддоговорным (предфраншизным) отношениям сторон, которые не обязательно завершатся заключением сторонами франшизного соглашения.

Что касается Италии, «Правила регулирования франчайзинга», или закон «О франчайзинге» был принят 21.04.2004 г. и вступил в силу 25.05.2004 г. [17, с. 42]. Данный закон базируется на принципе «добросовестности и справедливости» и распространяет свое действие на франчайзинг бизнес-формата.

Суть закона сводится к обязанности франчайзера в отношении «предпродажного раскрытия информации». Так, минимум за 30 дней до подписания франшизного соглашения франчайзер обязан предоставить франчайзи предполагаемый договор с приложениями о раскрытии следующей информации:

- сведения о франчайзере, в том числе при необходимости годовые балансы за последние 3 года;
- сведения о торговой марке;
- сведения об осуществляемых видах деятельности;
- сведения о франшизной системе;
- сведения об изменении сторон (франчайзи и/или франчайзера за последние 3 года);
- сведения о судебных или арбитражных разбирательствах за последние 3 года с участием франчайзера или в отношении франшизной системы.

Третий регион мира – страны, имеющие специальное франчайзинговое законодательство (Россия, Беларусь, Украина, Молдова, страны Андского пакта – Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Чили, Эквадор, и др.). Республика Беларусь относится к немногочисленной группе стран, где франчайзинг регулируется специальными нормами, причем законодательство не только содержит понятие договора комплексной предпринимательской лицензии (договора франчайзинга), но и устанавливает требования к форме такого договора, определяет обязанности правообладателя и пользователя, возможные ограничения прав сторон по договору, регулирует вопрос ответственности правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю, т. е. отношения регулируются изнутри. Такой способ правового регулирования франчайзинга крайне редко используется государствами.

В последнее время в Беларуси значительно возрос интерес к франчайзингу как особому способу осуществления торговли результатами интеллектуальной деятельности, что связано в первую очередь со вступлением в силу новой редакции главы 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), посвященной комплексной предпринимательской лицензии (франчайзингу). Отныне франчайзинг более полно урегулирован нормами ГК в связи с вступлением в силу закона Республики Беларусь № 316-З от 18 августа 2004 г. «О внесении дополнений

и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь по вопросам регистрации недвижимого имущества, состава участников ассоциаций и союзов, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), правового режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства» [18], снят существовавший с 1999 г. фактический запрет на заключение договоров франчайзинга.

Указанные изменения белорусского законодательства призваны способствовать становлению и развитию франчайзинга в Республике Беларусь. Вместе с тем для успешного функционирования франчайзинга в нашем государстве данных изменений явно недостаточно.

И поныне нерешенными остаются несколько проблем, из которых две представляются наиболее существенными. Первая связана с нечеткостью, расплывчатостью самих правовых основ, с недостаточной изученностью юридической природы франчайзинга. Причина этого кроется, прежде всего, в его многоликости. Производственный, сбытовой, сервисный франчайзинг представляет собой разные формы кооперации и разделения труда, имеющие подчас различное экономическое содержание и функции. Кроме того, есть заметные различия в трактовке франчайзинга национальным правом различных стран. Отсутствие терминологии, которую используют государства с развитыми франчайзинговыми системами, осуществляющими выход на белорусскую территорию, несомненно, влечет за собой непонимание содержательной части подписываемых контрактов со всеми вытекающими последствиями; в большей части непонимание комплексного характера передаваемых и приобретаемых по договору прав на использование объектов интеллектуальной собственности; отсутствие механизмов защиты прав или, если сказать более точно, их недостаточность.

Вторая проблема заключается в особенностях передачи исключительных прав по договору франчайзинга и его грамотном оформлении. Такие права должны быть подтверждены соответствующими документами и признаны франчайзи (пользователем). Правовая регламентация франшизы (делового комплекса) во многом определяется действующим законодательством о лицензировании, товарных знаках и фирменных наименованиях. Кроме того, совершение франшизных сделок между партнерами

из разных стран подпадает и под валютное регулирование. Действующая в Республике Беларусь законодательная база (прежде всего ГК) позволяет изучать, применять, создавать и использовать объекты интеллектуальной собственности. По договору могут передаваться исключительные права на товарный знак, фирменное наименование, ноу-хау.

До сих пор не разработан особый порядок регистрации договоров франчайзинга в патентном органе, что на практике приводит к невозможности заключения ряда таких договоров. Более того, на данной стадии совершенствования правового регулирования франчайзинга, по нашему мнению, должна быть учтена проблема потенциального нарушения антимонопольного законодательства отдельными положениями договора франчайзинга. В связи с этим безусловную актуальность представляет изучение зарубежного опыта правового регулирования франчайзинга.

Несложно подсчитать, что из более чем 80 государств мира, развивающих франчайзинг, едва ли три десятка имеют специальное законодательство о нем. Причем 25 стран – это ЕС, где франчайзинг урегулирован единым Регламентом № 2790/1999, применяющимся только в отношении франшизных соглашений общего рынка. Кроме того, и в США специальным законодательство регулируется только треть франшизных соглашений. Возникает логичный вопрос: а нуждается ли франчайзинг в собственном законодательстве и в отдельном законодательном регулировании?

Однозначного ответа нет. Известно, что в странах англосаксонского и англо-американского права закон вообще не первенствует в системе источников права, хотя его значение и возрастает. Это утверждение, в принципе, относится и к франчайзингу. Тем не менее Законодательное собрание штата Нью-Джерси, объясняя мотивы принятия местного закона о франшизной практике в 1977 г., отметило, что так как франчайзинг оказывает существенное влияние на экономику штата в целом и его благосостояние, то необходимо в общественных интересах законодательно определить отношения и ответственность франчайзеров и франчайзи в соответствии с такими соглашениями [19, с. 112]. А с другой стороны, в Конгрессе США много лет лежат без движения несколько важных федеральных законопроектов о франчайзинге.

Неоднозначно оценивается и необходимость законодательного регулирования франчайзинга и в Европе. Некоторые исследователи отмечают, что отсутствие специального франшизного законодательства является едва ли не основным источником возникающей вокруг него путаницы [14, с. 17], т.е. отсутствие такого законодательства рассматривается как недостаток. Однако другие авторы утверждают, что наиболее успешный период развития франчайзинга в ЕС приходится на период до принятия Регламента № 4087/88 и, возможно, именно ввиду отсутствия всякого регулирования и возникает гибкость всей системы франчайзинга.

Допустимо, что успешное развитие франчайзинга возможно и в отсутствие специального законодательства о нем. Важнее конкретные правовые условия отдельной страны. Франчайзинг появился за рубежом после того, как в западном мире уже сложилось богатое договорное право с универсальными принципами, вековыми традициями, торговыми обычаями, с мощной судебной практикой, с методами аналогии, допущений и привязок. Эти и иные механизмы позволяют достаточно успешно регулировать франшизные отношения. Однако в Беларуси и других странах, где только началось развитие рыночных отношений и их правового регулирования, принятие специального законодательства о франчайзинге, на наш взгляд, необходимо. От совершенства такого законодательства будет зависеть степень эффективности развития франшизных правоотношений.

Помимо специального законодательства при регулировании франчайзинга используются нормы многих других отраслей национального права, а также международного права. В Руководстве по международным франшизным соглашениям, подготовленном Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА), отмечается, что франчайзинг способен успешно развиваться только при наличии окружающей «здоровой правовой коммерческой среды». Эту среду должно создавать общее договорное законодательство, законодательство об агентских отношениях и других распределительных договорах, законодательство о лизинге, залоговое законодательство, инвестиционное законодательство, законодательство об интеллектуальной собственности, о конкуренции и справедливой торговой практике, о компаниях и корпоративных отношениях, о

собственности, о защите прав потребителей и ответственности изготовителей продукции; налоговое законодательство; законодательство о страховании; трудовое законодательство; законодательство о передаче технологий; валютное законодательство и ряд других отраслей законодательства [6, с. 50].

Совершено очевидно, что создание общей коммерческо-правовой среды франчайзинга в Республике Беларусь необходимо в той же степени, что и развитие специального законодательства о франчайзинге.

### *Литература*


1. *Функ Я.И.* Право международной торговли: договоры международной купли-продажи и торгового посредничества. В 3 кн.. Мн.: Дикта, 2005. Кн. 3. Международное торговое посредничество 296 с.
2. Специальное законодательство или акты, регламентирующие франчайзинг, приняты также и в Японии, КНР, Австралии и некоторых других странах.
3. *Hatfield G.K.* Problematic relations: franchising and the law of incomplete contracts // Stanford law reviews, Stanford (California). 1990. Vol. 42. № 4. 1120 p.
4. USA Laws. 15. US Code of Federal regulations. Sections 1221–1225. Washington, 1956.
5. USA Laws. 15. US Code of Federal regulations. Sections 2801–2806. Washington, 1978.
6. *Сосна С.А., Васильева Е.Н.* Франчайзинг. Коммерческая концессия. М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. 375 с.
7. Overview of state and federal franchising regulations. 1996. [Electronic resource] // Deutsch, Kerrigan & Stiles L.L.P., 1999. Holmes D.L. [Code of access]: http://www.dkslaw.com/attorneys/publications/holmes.html. [Date of access]: 17.03.2006.
8. Такое сотрудничество принципиально отличается от франчайзинга тем, что не предусматривает передачу посреднику средств индивидуализации фирмы-обладателя деловых возможностей.
9. Единообразный торговый кодекс США / пер. с англ. А.Н. Жильцова. М.: «Статут», 1996. 133 с.
10. *Wiechorek D.* The Jowa Franchise Law 1995 Amendment and Some Proposals for 1996 // Franchise Law J. 1995. T. 15. № 43. P. 125–147.
11. European Community Law after 1992. A practical guide for lawyers outside the Common Market. Kluwer. Deventer. 1993. P. 493–550.
12. Гражданский кодекс Республики Беларусь. Мн.: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 1999.

13. Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to categories of franchise agreements // Official J. 1988. L359/46.
14. *Gamet-Pol F.J.* Franchise agreements within the European community. L., 1997. № 4.
15. Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices // Official J. 1999. L336/21.
16. Official J. of the European Communities. L., 29.12.1999.
17. Gray, Plant, Mooty. The many faces of good faith in international franchising and distribution relationships // GPMemo-International. July, 2004. P. 37–49.
18. О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь по вопросам регистрации недвижимого имущества, состава участников ассоциаций и союзов, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), правового режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства: Закон Республики Беларусь от 18 августа 2004 г. № 316-З // Национальный реестр правовых актов. 2004. № 137, 2/1065.
19. Business Franchise guide. New-Jersey, 1999. 327 p.

**Yuliya Hrytchanka**

## Compare of Franchising Legislation in Some of Countries

Summary

Last few years interest in franchising as in special way of intellectual property trading has quickened in Belarus, and firstly it's a result of new reduction of Chapter 53 of Civil Code which is devoted to package business licence (franchising) has come into force. For lack of international legal regulation states use different methods of legal regulation; by the way a special franchising legislation has been passed just in few states. Foreign states experience in this sphere constitutes indisputable theoretical and practical interest and could be used in Belarus for further perfecting of package business licence legal regulation which would facilitate development of franchising in Belarus.

**Keywords**: Franchising, franchise (contract, agreement), antitrust legislation and antimonopoly law.

*Ю.О. Гритченко*

# СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА СТРАН ОБЩЕГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

Развитие франчайзинга в отдельных странах во многом определяется национальным законодательством, в то же время правовое регулирование франшизных отношений имеет свои особенности в зависимости от того, к какой правовой системе относится конкретная страна – системе общего или континентального права. Это во многом определяет и источники правового регулирования: как известно, в странах общего права ведущую и определяющую роль играют суды, в то время как в странах романо-германской правовой системы общую концепцию франчайзинга, его правовое регулирование определяют нормативные акты, а не судебный прецедент.

**Ключевые слова**: франчайзинг, франшизное соглашение, антитрестовское и антимонопольное законодательство, судебный прецедент.

Франчайзинг развивается в странах с разными правовыми системами, в которых суды играют неодинаковую роль в процессе формулирования общих условий договорно-предпринимательской деятельности. Так, в США, Великобритании и других странах системы общего права судебный прецедент остается до сих пор самостоятельным источником права, а суды играли и продолжают играть определяющую роль и в формулировании общей концепции франчайзинга, и при решении спорных вопросов по конкретным судебным делам. Правотворческую функцию выполняют высшие судебные органы, в то

время как суды низших инстанций при принятии решений по аналогичным делам следуют установленным ими прецедентам. Это обстоятельство подтверждается и тем фактом, что в странах общего права (кроме США) практически полностью отсутствуют законодательные нормы по франчайзингу. Даже в США, несмотря на наличие таких норм, судебная практика играет немаловажную роль.

В исследовании судебной практики автор обращается к научным работам таких западных исследователей франчайзинга, как Ф. Лорен и Г. Бассет, Дж.К. Хэтфилд, Ф.Дж. Гамет-Поль, а также российских и белорусских авторов – Е.Н Васильевой, С.А. Сосна, Я.И. Функ и др. Автор также обращается к актам законодательства Республики Беларусь, США, ЕС.

Современная концепция франчайзинга в США была сформулирована во многом в результате решений федеральных судов. Например, в результате серии решений Федерального апелляционного суда США, принятых в 1964–1965 гг. по делу «Carvel Ice Cream Corporation», лицензия на право пользования торговой маркой была признана в качестве центрального элемента франшизных отношений, в связи с чем Суд пришел к выводу, что ограничения действий франчайзи по договору не являются навязыванием ему условий франчайзера, а преследует цель необходимой защиты его торговой марки [1, с. 19].

Существенную роль для определения франчайзинга сыграли решения Верховного суда США по таким делам, как: «Business Electronic Corp. v. Sharp Electronic Corp.» 1988; «Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp.» 1984; «Sylvania T.V. Inc. v. G.T.E. Sylvania Inc.» 1977 [2, с. 62].

Существовали также решения судов, в которых рассматривались отдельные концептуальные положения франчайзинга, его значимые элементы, критерии. Например, таковыми явились судебные решения, которые были связаны с применением к франчайзингу норм антимонопольного законодательства.

Следует отметить, что судебная практика США характеризуется множественностью суждений о правовой природе франчайзинга, что явилось причиной и следствием неоднозначного толкования франчайзинга в правовой доктрине и законодательством. В результате указанных причин в судебных определениях к франчайзингу часто относят те договоры, которые судебная

практика Европы таковыми не считает, например договоры о простой селективной торговле и эксклюзивные дистрибьюторские соглашения без предоставления специальной лицензии. Квалификация эксклюзивных дилерских соглашений как франчайзинга встречается в следующих делах, рассмотренных судами США: «White Motor v. United States» 1963; «United States v. Arnold Schwinn and Co.» 1967 [3, с. 11]. Различные виды дилерских договоров также рассматриваются судами как франшизные.

Наиболее практически и теоретически разработанным типом франчайзинга является бизнес-формат франчайзинг (БФФ), именуемый также деловым франчайзингом или «корпоративной формой франчайзинга». Данный вид соглашения подразумевает передачу не только товарного знака или фирменного наименования франчайзера, но и всей технологии ведения бизнеса, отработанной и апробированной франчайзером. Применение делового франчайзинга (бизнес-формат) характерно для предприятий общественного питания, проката и бытового обслуживания, деловых и профессиональных услуг бизнесу и населению. В данном случае франчайзи берет на себя обязательства действовать в соответствии с рыночной стратегией франчайзера, с его правилами планирования и организации управления, соблюдать технические требования, стандарты и условия обеспечения качества, участвовать в программах обучения и развития производства, целиком отвечать за экономические результаты своей работы. Этот вид франчайзинга предусматривает, безусловно, самый тесный контакт франчайзера и франчайзи, постоянный обмен информацией, детальную регламентацию деятельности и высокую степень ответственности фирмы франчайзи. Однако следует отметить, что в некоторых системах франчайзинга разница между товарным и деловым франчайзингом часто не столь очевидна (например, магазины мороженого «Баскин-Роббинс»). С другими же видами франчайзинга ситуация значительно сложнее.

Все это свидетельствует об аморфности и неясности самого понятия франчайзинга в США. Такой подход вполне соответствует официальной позиции органов исполнительной власти. Например, Министерство финансов США различает два типа франчайзинга: товарный и торгово-посреднический, который предусматривает торгово-сбытовые отношения независимых

поставщика и дилера, в некоторой степени идентифицирующего себя с рыночным образом поставщика, а также уже упоминавшийся БФФ, который характеризуется продолжительными деловыми отношениями между франчайзером и франчайзи (товары, услуги, торговая марка, полноформатный набор предпринимательского сотрудничества, маркетинговая стратегия, планирование, стандарты и контроль качества) [4, с. 932].

Иногда суды избегают определения правовой природы франчайзинга, именуя его особым способом предпринимательской (дистрибьюторской) деятельности, не признавая, что франчайзинг не относится ни к одному из распространенных видов договоров (как, например, это имеет место в английской судебной практике по франчайзингу).

Как уже отмечалось, самостоятельную и существенную роль в формировании концепции франчайзинга в странах общего права играет антимонопольная практика судов. По причине совместных согласованных действий франчайзера и франчайзи франчайзинг и оказался в центре внимания антимонопольного законодательства и многих судебных прецедентов. Существование франчайзинга стало возможным только после значительного смягчения или снятия требований антимонопольного законодательства.

США являются типичным примером страны, в которой правовые нормы о франчайзинге создавались под влиянием антимонопольного законодательства и судебных решений.

До 1978 г. развитие франчайзинга существенно сдерживали сомнения относительно его монопольной природы с точки зрения антитрестовского законодательства. В ряде крупных судебных разбирательств под удар попали наиболее современные разновидности франшизных соглашений. Так, в решении по первому из такого рода дел («Standart Oil v. United States», 1949)[1]

---

[1] Закон Клейтона 1914 г. – федеральный антитрестовский закон, усиливающий положения Закона Шермана 1890 г. (монополия, ограничение торговли, попытки установить монополию или ограничить торговлю, создание союза фирм и вступление в сговор с той же целью – уголовные преступления; федеральное правительство или потерпевшая сторона вправе возбуждать дело против тех, кто совершает такие преступления). Пункт 2 *объявляет вне закона ценовую дискриминацию* покупателей, когда такая дискриминация не оправдана разницей в издержках. Пункт 3 *запрещает исключительные*, или «принудительные», соглашения, в

Верховный суд США постановил, что истец называет франшизными соглашения о продаже своим контрагентам нефтепродуктов на нужных для себя условиях. По мнению Суда, истец навязывает свои условия, ограничивающие деятельность контрагентов, что запрещается антитрестовским законом Клейтона [1, с. 8; 2]. За этим делом последовало второе – «United States v. Richfield Oil Co.», 1951, по которому Федеральный апелляционный суд постановил, что франшизные соглашения «Richfield Oil Co». являются способом ограничения конкуренции. Указанные два решения послужили началом почти 30-летнего периода сомнений в отношении совместимости франчайзинга и антитрестовского законодательства США и возможности существования франчайзинга в сфере нефтедобычи и торговли нефтепродуктами.

В других отраслях экономики США франчайзинг также рассматривался как форма ограничения конкуренции, так как Федеральная торговая комиссия (далее – ФТК) и антитрестовские подразделения Министерства юстиции США рассматривали франчайзинг как инструмент привязывания одних предпринимательский структур к другим, что требовало вмешательства антитрестовского законодательства. Сама ФТК собственной судебной юрисдикцией не обладает, но вправе от имени США возбудить дело в суде в случае нарушения антитрестовского законодательства.

Некоторые изменения в отношении к франчайзингу произошли в 1964–1965 гг. в результате серии упомянутых судебных решений по делу «Carvel Ice Cream Corp.». В нескольких постановлениях Федеральный апелляционный суд был вынужден признать, что ограничения прав франчайзи по соглашению

---

соответствии с которыми производитель продавал бы некий товар покупателю только при условии, что последний приобретает другие товары у того же самого продавца, а не у его конкурентов. Пункт 7 *запрещает приобретение акции* конкурирующих корпораций, если это может привести к ослаблению конкуренции. Пункт 8 *запрещает формирование* взаимопереплетающихся директоратов, когда руководитель одной фирмы является также членом правления конкурирующей фирмы – в крупных корпорациях, где результатом было бы уменьшение конкуренции. То есть закон Клейтона пытался объявить вне закона способы, которыми монополия могла бы развиваться, и в этом смысле был превентивной мерой. Закон Шермана, напротив, был нацелен в большей степени на наказание существующих монополий.

следует рассматривать как разумно необходимое средство защиты торговой марки и доброй репутации франчайзера [1, с. 9].

Таким образом, решение по делу «Carvel Ice Cream Corp». фактически воспрепятствовало рассмотрению франчайзинга как формы опосредования незаконных с точки зрения антитрестовского законодательства предпринимательских сделок, что и послужило стимулом для его развития в конце 1960-х гг.

Однако ситуация вокруг франчайзинга в корне не изменилась. Волна мошеннических «деловых» предложений со стороны многих франчайзеров, а следовательно, предпринимательских крахов оживили критическое отношение к франчайзингу со стороны ФТК и Министерства юстиции, возродили мнение о франчайзинге как о механизме создания системы дилеров-«невольников», нарушающем антитрестовское законодательство.

Позже последовал и отказ от решения по делу «Carvel Ice Cream Corp.». В новых судебных постановлениях 1970 г. (например, по делу «Siegel v. Chicken Delight») было определено, что торговая марка франчайзера свидетельствует лишь о качестве продукции и должна быть отделена от других аспектов деятельности франчайзера [1, с. 9–10]. Следовательно, торговая марка не может оправдывать действия франчайзера по навязыванию условий, которые ограничивают деятельность франчайзи. Схожее решение приняла ФТК в отношении фирмы-франчайзера, обвинив в нарушении антитрестовского законодательства. В результате этого в 1971–1975 гг. имели место коллективные иски со стороны франчайзи, что привело к развертыванию в 1975–1978 гг. ФТК полномасштабного расследования коммерческой практики во всем франчайзинговом секторе. Такое ярко выраженное негативное отношение к франчайзингу длилось до 1977 г. и существенно сдерживало его развитие [1, с. 9–10].

В конце 1977 г. Верховный суд США принял решение по делу «Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc.», 1977 [6, с. 18]. Решение суда сводилось не к одному франчайзингу. Оно касалось всей сферы исключительных дистрибьюторских договоров. Верховный суд провел различия между внутриотраслевыми ограничениями, сдерживающими конкуренцию, и теми ограничениями, которые характерны только исключительным договорным си-

стемам (типа франчайзинга) и способны создавать конкуренцию между предприятиями, объединенными общей торговой маркой. Франшизные ограничения, как определил Суд, имеют целью защиты так называемого «good while», т.е. комплекса ценностей фирмы, которые определяют рыночную стоимость ее имени: репутацию и деловые связи, нематериальные элементы наименования, товарные знаки, клиентуру и др. Конкуренция между предприятиями франчайзинговой системы повышает безопасность и качество товаров, от чего выигрывает потребитель.

Кроме этого, Суд отверг саму идею, что антитрестовское законодательство во всех случаях должно запрещать ограничения самостоятельности независимых предпринимателей. Суд утверждал, что такие ограничения законны, если они выгодны рынку [1, с. 10]. Спустя 11 лет этот тезис был повторен в мотивировочной части Постановления Комиссии Европейского Союза, исключившего франшизные соглашения из сферы действия антимонопольной ст. 81 Римского договора о ЕЭС [2, с. 61].

Рассмотренная позиция Верховного суда США и ее воплощение в ходе других разбирательств, связанных с франчайзингом, в 1979–1981 гг. (ответчиками выступали известные франчайзеры «Макдоналдс» и «Баскин-Роббинс») создали прецедент для последующих судебных решений, которые определили, что франшизные соглашения и требования в них к франчайзи сами по себе не являются незаконными ограничениями его деятельности, а представляют собой элементы способа осуществления предпринимательской деятельности, о которой необходимо судить по принципу разумности, учитывающему экономическое функционирование системы во всей ее полноте. Решение Верховного суда воспрепятствовало жесткой критике франчайзинга с точки зрения соблюдения антитрестовского законодательства, которая сдерживала развитие франшизных отношений почти тридцать лет. Начиная с 1980-х гг. франчайзинг начал свое бурное развитие в США.

Освобождение франчайзинга сначала в США, а позже и в Европе от ограничений антимонопольного законодательства произошло благодаря изменению самого концептуального подхода к нему. Было признано, что франшизное соглашение не направлено на создание «горизонтальных» распределительно-сбытовых структур, способных монополизировать рынок. Ис-

следователи отмечают, что франчайзинг – это «вертикальная, ассоциированная торгово-посредническая структура» [5, с. 115]. Термин «вертикальная» означает, что одно из технологических звеньев франчайзера, который возглавляет всю цепочку от производства до сбыта продукции, предоставляется им контрагенту (франчайзи), т.е. «вертикальность» соглашения не подразумевает наличия доминирующего положения одного из контрагентов. Экономическая теория признала, что вертикально структурированная система менее склонна к монополии и рассматривается как разделение труда между франчайзером и франчайзи [5, с. 116]. Таким образом, налицо существенное отличие в квалификации понятия «вертикальное соглашение» в европейском и белорусском праве.

Для сравнения приведем законодательное определение «вертикальных соглашений» в белорусском праве. В соответствии с п. 1.2. Инструкции по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений (согласованных действий) о ценах (в ред. 2002 и 2004 гг.) [6], «вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами представляют собой полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, один из которых занимает доминирующее положение на товарном рынке, а другой является его контрагентом, если такие соглашения (согласованные действия) имеют либо могут иметь своим результатом устранение, ограничение конкуренции или воспрепятствование ее установлению или развитию. Поставщик применяет метод поддержания перепродажной цены, суть которого состоит в установлении минимальной цены, по которой товар должен быть реализован потребителям. Установление и поддержание минимальной перепродажной цены означает осуществление поставщиком контроля над рынком определенного товара. Следствием этого является ограничение конкуренции на рынке, устранение возможности для конкурентов свободно маневрировать ценами и завышение цен». Эти соглашения запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными полностью или частично в соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» [7], который также допускает изъятия из указанных норм в п. 3 ст. 6: «В исключительных случаях соглашения хозяйствующих субъек-

тов... могут быть признаны правомерными антимонопольным органом в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь или по его поручению – иным государственным органом и (или) судом, если хозяйствующие субъекты докажут, что положительный эффект от их действий, в том числе в социально-экономической сфере, превысит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка или Республики Беларусь в целом, а ограничение конкуренции должно осуществляться лишь в той мере, в какой названные ограничения неизбежны для достижения данного эффекта, или если их совершение непосредственно предписано актами законодательства, принятыми (изданными) в соответствии с Конституцией Республики Беларусь» [7]. Закон предусматривает возможность для хозяйствующих субъектов запросить заключение антимонопольного органа о соответствии положений их соглашений антимонопольному законодательству [7].

К сожалению, мы не можем вести речь о белорусской судебной практике в области франчайзинга. Несмотря на произошедшие изменения в законодательстве, инвесторы не спешат учреждать и развивать франчайзинговые сети на территории Беларуси. Существующее законодательство о франчайзинге не решает все вопросы его регулирования, даже с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс в 2004 г. В такой ситуации, как нам кажется, еще более полезным и интересным может быть опыт зарубежных стран в данной сфере.

Обратившись к европейскому правовому регулированию франчайзинга, отметим, что Регламент Комиссии Европейского Союза (далее – КЕС) № 2790/1999 [8, с. 3] установил, что антимонопольные положения ст. 81 Римского договора не распространяются на соглашения или на согласованную коммерческую практику, если они заключаются между двумя и более предприятиями, каждое из которых действует на разных уровнях производственной или распределительной цепочки при закупке, продаже, перепродаже товаров или оказании услуг («вертикальное соглашение»). Этим Регламентом было установлено, что франчайзинг не относится и к так называемым «пирамидальным» торговым системам, при которых каждый новый участник системы, получая лицензию на право исключительной торговли, привлекает новых участников, которым передает свои лицензи-

онные права на определенные территории, а те, в свою очередь, передают их новым участникам и т.д., когда рынок оказывается монополизированным участниками «пирамиды», имеющими единый (общий) источник исключительных прав.

Изменение отношения к франчайзингу в немалой степени объясняется и тем, что он является и формой мелкого предпринимательства, малого бизнеса. Сколь бы крупной ни была франшизная сеть, она практически не создает угрозу свободе конкуренции на рынке какого-либо определенного товара или услуг, на которых эта сеть специализируется. Ограничение конкуренции имеет место в основном между франчайзером и франчайзи, они остаются в пределах франшизной сети. Выигрыш, который получает франчайзи, участвуя в такой сети, как и макроэкономики, и социальные выгоды (создание чрезвычайно развитой и плотной торговой сети и обслуживания, вовлечение в предпринимательскую деятельность массы пенсионеров, безработных, женщин, поощрение индивидуальной трудовой деятельности и т.д.), которые получает от франчайзинга общество в целом, компенсируют ограничения конкуренции внутри франшизной сети.

Тот факт, что франчайзинг был признан соответствующим нормам антимонопольного законодательства и не угрожающим конкуренции, а также отнесение франчайзинга к «вертикальным соглашениям», сыграли решающую роль при подходе к франчайзингу не только в США, но и в Европе.

В странах континентально-правовой системы суды не играют самостоятельной нормотворческой роли, тем не менее решение высших судебных органов и сборники их постановлений и разъяснений по актуальным вопросам судебной практики служат авторитетными руководящими источниками для судов низших инстанций при вынесении ими собственных постановлений по конкретным делам, т.е. служат цели толкования права. В роли главного источника права для судов выступает закон. В отсутствие специального законодательства о франчайзинге суды опираются, прежде всего, на общее договорно-обязательственное законодательство, антимонопольное законодательство, законодательство об интеллектуальной собственности, о защите прав потребителей и на иные законодательные источники.

Определенным исключением является судебная практика по франчайзингу Суда ЕС, распространяющаяся, правда, только на

франчайзинг в рамках Общего рынка ЕС. Особая роль Суда в том, что он – единственный среди судебных органов в континентальных странах ЕС, чьи решения имеют прецедентный характер [9, с. 18]. Несмотря на то, что «внутренний» франчайзинг стран – членов ЕС по-прежнему находится в юрисдикции национальных судов этих стран, регулирование франшизных отношений в них, несомненно, испытывает растущее влияние решений Суда ЕС.

Основополагающую роль в определении и обосновании правовой природы франчайзинга в Европе сыграло решение Суда ЕС по делу № 161/84 от 28.01.1986 г., известное как дело «Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Imgard Schillgallis» [9, с. 141]. Оно давно стало хрестоматийным, множество раз использовалось в судебной практике по франчайзингу, вызвало к жизни обильные комментарии. Дело «Pronuptia» примечательно и тем, что было принято еще до появления «международного» акта ЕС о франчайзинге – Регламента № 4087/88 КЕС 1988 г. [10] – и в течение почти четырех лет служило, по сути, единственным руководящим документом по франчайзингу в ЕС. Его идеология и обобщающие положения легли в основу Регламента № 4087/88 [10]. Предыстория Решения по делу № 161/84 такова. Германское отделение французской фирмы «Pronuptia de Paris SA» – законодателя мод в области свадебных нарядов и аксессуаров – предоставило три исключительных франшизы, действующих в Гамбурге, Ольденбурге и Ганновере, компании «Pronuptia de Paris Imgard Schillgalis» и обязалось не открывать магазины в указанных регионах. Франчайзер принял на себя также обязательство помогать в разработке предпринимательской стратегии франчайзи и в повышении прибыльности магазинов.

Франчайзи принял на себя обязательство нести все риски как независимый торговый посредник, а также продавать товары только через сеть обозначенных в контракте магазинов, уплачивать роялти в размере 10% от годового объема продаж, осуществлять рекламу только в соответствии с методом, согласованным с франчайзером и соответствующим международной репутации франшизы, не вступать прямо или косвенно в конкуренцию с франчайзером в течение года после окончания срока действия франчайзингового договора, получать предваритель-

ное согласие франчайзера на передачу прав и обязанностей по договору иным лицам и др.

Когда названная компания не выплатила отделению (носящему фирменное наименование «Pronuptia de Paris GmbH») причитающиеся ему франшизные платежи, отделение обратилось с иском в местный суд первой инстанции, который постановил иск удовлетворить и взыскать с франчайзи невыплаченную сумму. Тогда «Pronuptia de Paris Imgard Schillgalis» подала апелляцию в Земельный суд Франкфурта-на-Майне, в которой утверждала, что заключенные ею соглашения с «Pronuptia de Paris GmbH» противоречат антимонопольному законодательству, а именно, ст. 81(1) Римского договора и должны быть признаны недействительными. Земельный суд согласился с такими доводами. После чего в Верховный суд ФРГ иск подал уже франчайзер, требуя, чтобы решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Верховный суд решил, что в апелляции затронуты вопросы права Сообщества и попросил Суд ЕС ответить на несколько преюдициальных вопросов, затрагивающих в том числе особенности правовой природы франчайзинга. В то время в ЕС, как сказано ранее, не существовало никаких нормативных документов ни о франчайзинге как таковом, ни о его статусе относительно антимонопольного регулирования в рамках ст. 81 (1) Римского договора о ЕЭС. Но уже действовало постановление Комиссии Европейского Союза № 67/67 от 23.03.1967 г. [2, с. 69] о групповом изъятии из антимонопольных положений на основании ст. 81 (3) некоторых категорий распределительных отношений, содержащих ограничения свободы конкуренции. Франчайзинг среди них не упоминался. И если бы Суд ЕС, которому как высшему судебному органу ЕС предстояло вынести свое окончательное решение по делу «Pronuptia», последовал логике германского Земельного суда, то франчайзинг наверняка был бы объявлен противоречащим ст. 81 (1), а уже существующие франшизные соглашения признаны недействительными.

Но Суд ЕС не согласился с доводами упомянутого германского суда и тем самым внес едва ли не решающий вклад в положительное решение судьбы франчайзинга на Общем рынке ЕС.

Суд пришел к выводу, что рассматриваемый договор франчайзинга не ограничивает конкуренцию и, следовательно, нормы договора, обеспечивающие существование франчайзинга, не

противоречат праву ЕС. Так, франчайзер может передавать ноу-хау и оказывать содействие франчайзи по применению его метода, одновременно принимая меры к тому, чтобы данное ноу-хау и помощь не стали известны конкурентам франчайзера. Территориальные оговорки по договору, запрещающие франчайзи (франчайзеру) в течение срока действия договора или в течение разумного периода после его окончания открывать магазины с таким же или аналогичным товаром в районе, где они могут вступить в конкуренцию с иными участниками франчайзинговой сети, необходимы для развития франчайзинга и поэтому являются допустимыми. Суд признал допустимость обязательств франчайзи не продавать лицензируемый объект договора.

Также Суд установил допустимость включения оговорок о сохранении идентичности и репутации франчайзинговой сети. Данное требование позволило включать в договор положения о том, что франчайзи обязан продавать только товары, поставленные франчайзером или полученные от одобренных им поставщиков. При этом франчайзи должен иметь право на приобретение товаров у иных участников сети.

Одна из концептуальных позиций Суда состояла в том, что франчайзинг следует рассматривать как договор *sui generis*, отличный как от традиционных посреднических и представительских договоров (агентирования, комиссии и т.п.), так и от эксклюзивных распределительных договоров типа коммерческой концессии. Система распределительного франчайзинга, разъяснял Суд, в частности, подразумевает, что предприятие-дистрибьютор (предприятие оптовой торговли), обосновавшееся на данном рынке и выработавшее определенные предпринимательские методы, предоставляет независимым торговцам за плату право обосноваться на других рынках, используя фирменное наименование и коммерческие методы предприятия-дистрибьютора, приведшие его к успеху. Для такого предприятия (выступающего в данном случае в роли франчайзера) франчайзинг – это не столько способ распределения его товаров, сколько возможность извлекать финансовый доход из своих предпринимательских методов и опыта без дополнительных затрат и собственного капитала. С другой стороны, такая система представляет независимым предпринимателям, не имеющим необходимых навыков и опыта торговли, возможность доступа к коммерче-

ских методам, которые они были бы не в состоянии освоить без существенных усилий. Кроме того, система позволяет им с выгодой для себя использовать авторитет фирменного наименования франчайзера.

Франшизное соглашение о сбыте товаров отличается в этом смысле от дилерских договоров или от соглашений, объединяющих одобренных розничных торговцев в избирательную (селективную) систему сбыта, которые не включают единого фирменного наименования, применения единых методов ведения дела или уплату роялти в обмен на предоставляемые выгоды. В отличие от нее система, которая позволяет франчайзеру получать прибыль от собственного успеха, сама по себе не препятствует конкуренции.

В развитие своей позиции Суд ЕС признал, что франчайзер вправе, не опасаясь применения к нему антимонопольных положений ст. 81 (1) Римского договора, осуществлять широкий круг действий, в том числе: защищать свое право на передаваемую франчайзи информацию, содержащую ноу-хау; принимать меры по охране фирменного наименования и торговой марки; налагать на франчайзи обязательства по использованию коммерческих методов и результативному применению ноу-хау франчайзера; запрещать франчайзи без своего согласия передавать бизнес третьим лицам; указывать франчайзи других поставщиков товаров для франшизной торговли (но не посягая на право франчайзи покупать такие товары у других франчайзи своей франшизной сети) и прибегать к иным ограничительным действиям. Суд отметил, что франчайзер имеет гораздо больше власти над франчайзи, чем поставщик товаров над своими дистрибьюторами по любому другому договору об исключительном или неисключительном распределении товаров.

Вместе с тем Суд ЕС подчеркнул, что ни одно из названных прав франчайзера не должно быть использовано для раздела рынка между франчайзером и франчайзи. Особенно это касается возможности проведения ими согласованной ценовой политики. Суд разъяснил, что франчайзер может только рекомендовать цены франчайзи.

Таким образом, решение Суда ЕС по делу № 161/84 от 28.01.1986 г. «Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Imgard Schillgallis» [9, с. 141] сыграло основополагающую роль в

определении и обосновании правовой природы франчайзинга в Европе. Принципиальное решение Суда ЕС о том, что франчайзинг в силу своего позитивного экономического потенциала не представляет угрозы свободе рыночной конкуренции [9, с. 142], позволило Еврокомиссии сделать вывод, что франшизные соглашения вполне соответствуют критериям ст. 81 (3) Римского договора и также могут претендовать на групповое (блочное) изъятие из сферы действия ст. 81 (1). В результате этого и был принят Регламент № 4087/88 «О применении ст. 81 (3) Римского договора к некоторым категориям франшизных договоров», в котором было указано, что любые франшизные соглашения, заключенные до вступления в силу Регламента № 4087/88 (т.е. до 30.11.1988), тоже вправе претендовать на изъятие из-под действия антимонопольной ст. 81 Римского договора при условии, что они будут приведены в соответствие с положениями Регламента № 4087/88.

Указанное Решение Суда ЕС явилось источником, на основании которого были вынесены пять постановлений КЕС о нераспространении антимонопольных положений ст. 81 Римского договора на соглашения, заключенные такими известными франчайзерами, как «Campari-Milan», «Yves Rosher», «Computer Land», «Charles Jourdan», «Service Master Ltd.», а также фирмой «Pronuptia» [2, с. 42].

Таким образом, Регламент № 4087/88 зафиксировал в нормативном порядке некоторые из основных гражданско-правовых положений франшизного договора, в том числе его правовое определение, которое явилось первым в Европе официальным нормативным определением франшизного (и субфраншизного) соглашения, а также ключевых понятий франчайзинга, таких как «франшиза», «франчайзер», «франчайзи», «франшизные товары», «франшизное помещение» и др. Регламент № 4087/88 гарантировал единообразное толкование и применение всеми регулирующими органами ЕС упомянутых понятий франчайзинга и во многом расчистил путь его массовому распространению в ЕС.

На сегодняшний день основу правового регулирования франчайзинга на уровне ЕС составляет Регламент КЕС от 22 декабря 1999 г. № 2790/1999 «О применении ст. 81(3) Договора к категориям вертикальных соглашений и согласованных дей-

ствий» [8]. В отличие от Регламента № 4087/88 действующий Регламент № 2790/1999 закрепляет только перечень запрещенных положений, предоставляя сторонам определенную свободу при заключении договоров. Изменение подхода к правовому регулированию договоров франчайзинга является положительной тенденцией, поскольку комплексный характер таких договоров не позволяет в рамках одного регламента предусмотреть все возможные положения, которые стороны вправе включить в договор франчайзинга.

Регламент № 2790/1999 разительно отличается от принятых ранее регламентов о блочном изъятии. Это экономически ориентированный и менее формализованный документ. Несмотря на более прогрессивный характер Регламента № 2790/1999 по сравнению с предыдущими регламентами о блочном изъятии, для него характерны определенные недостатки, если изучать его правовой режим с точки зрения договоров франчайзинга. Основными из них являются:

- оценочный характер критерия «основная цель договора», определяющего применимость регламента в отношении договоров франчайзинга; наличие в договоре франчайзинга существенного элемента прав интеллектуальной собственности может вывести договор из-под сферы действия Регламента № 2790/1999;
- сложность определения соответствующего рынка и подсчета доли франчайзера на таком рынке, особенно с учетом специальных правил, предложенных КЕС для франчайзинга в сообщении 2000/С 291/01 «Руководство о вертикальных ограничениях» [11];
- единый регламент для различных видов договоров не смог учесть специфику каждого из них. Ряд положений договора франчайзинга, которые ранее признавались объективно необходимыми для отношений по франчайзингу и поэтому не подпадающими под сферу действия ст. 81(1) Римского договора, в соответствии с Регламентом № 2790/1999 требуют изъятия на основании ст. 81(3). Подобное ужесточение правового режима для договоров франчайзинга едва ли может быть оправдано;
- как правило, договоры франчайзинга содержат ряд вертикальных ограничений в различной совокупности, в частности, положения об избирательном сбыте, и/или неконкуренции,

и/или эксклюзивном дистрибьюторстве. В случае франчайзинга должен выполняться анализ в отношении каждого из соответствующих вертикальных ограничений, содержащихся в договоре, что значительно усложняет анализ договоров франчайзинга на соответствие антимонопольному законодательству.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы об особенностях правового регулирования франчайзинга в зависимости от того, к какой правовой системе относится конкретная страна – системе общего или континентального права, а также о роли судов, судебных прецедентов и нормативных актов.

В США правовое регулирование франчайзинга создавалось и развивалось, опираясь именно на практику судов, как и многие другие отрасли права. На федеральном уровне регулирование франчайзинга незначительно, большую роль играет законодательство штатов и практика их судов. До середины 60-х гг. XX в. развитие франчайзинга значительно сдерживалось, если не сказать блокировалось, на уровне ФТК и Верховного Суда США, которые определяли франчайзинг как действия, противоречащие нормам антитрестовского законодательства и несущие угрозу для здоровой конкуренции на рынке. Однако как эффективный способ среднего и мелкого бизнеса франчайзинг доказал в скором времени необоснованность такого подхода к его природе, и после вынесения Верховным Судом и Федеральным Апелляционным судом ряда положительных решений, которые признали франчайзинг не противоречащим нормам антимонопольного законодательства, данный вид предпринимательства начал свое бурное развитие на территории США.

В отличие от США, в ЕС в регулировании франчайзинговой деятельности основополагающую роль играет наднациональное законодательство – Регламент ЕС, антимонопольное законодательство и другие нормативные акты Союза, которые распространяются, правда, только на франчайзинг в рамках общего рынка. Особую роль в правовом регулировании франчайзинга играет Суд ЕС, единственный среди судебных органов в континентальных странах ЕС, чьи решения имеют прецедентный характер. «Внутренний» франчайзинг стран – членов ЕС по-прежнему находится в юрисдикции национальных судов этих стран, однако регулирование франшизных отношений в них, несомненно, испытывает растущее влияние решений Суда ЕС.

## *Литература*


1. Franchising in the USA economy: prospects and problems. Washington: Committee on small business. House of representatives. Dov. Print. Office, 1999. 342 p.
2. *Сосна С.А., Васильева Е.Н.* Франчайзинг. Коммерческая концессия. М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. 375 с.
3. *Gamet-Pol F.J.* Franchise agreements within the European community. London, 1997. № 4. 219 p.
4. *Hatfield G.K.* Problematic relations: franchising and the law of incomplete contracts // Stanford law reviews, Stanford (California). 1990. T. 42. № 4. 1120 p.
5. *Laurent Ph., Basset G.* Droit du marketing. Aspects juridiques de la mercatique. Eyrolles. Paris, 1989. P. 113–120.
6. Об утверждении Инструкции по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений (согласованных действий) о ценах: Постановление Министерства Предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 9 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 51, 8/3470.
7. О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. № 2034-XII // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 8, 2/139.
8. Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices // Official J. 1999. L336/21.
9. *Функ Я.И.* Право международной торговли: договоры международной купли-продажи и торгового посредничества: в 3 кн. Мн.: Дикта, 2005. Кн. 3. Международное торговое посредничество. 296 с.
10. Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85(3) of the Treaty to categories of franchise agreements // Official J. 1988 L359/46.
11. Commission Notice: Guidelines on vertical restraints // Official J. 2000. Vol. 43. C 291. P. 1–44.

**Yuliya Hrytchanka**

## Franchising Court Practices in Countries of Common Law and Continental Law System

Summary

In different states franchising evolution is determined in many respects with national legislation. At the same time jus also endows franchise legislation with some peculiarities, and it depending on common law or continental law system exists. In particular, jus determines sources of legislation in a state. In such a way, courts play dominant role in legislation of franchising in common law states. On the other hand, in continental law states conception of franchising and its legislation are determined with legal texts, but not with judge-made law.

**Keywords**: Franchising, franchise (contract, agreement), antitrust legislation and antimonopoly law, court case.

*Н.А. Гусаковская*

# К ПРОБЛЕМЕ «ЖЕНСКОГО ПИСЬМА»: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье осуществляется культурологический анализ феномена «женского письма» (Элен Сиксу, Люс Иригарэй). С точки зрения автора, «женское письмо» как теоретический концепт имеет свою (пред) историю и дискурсивную укорененность в теоретическом контексте, который и предопределяет его появление и правила его функционирования. С другой стороны, «женское письмо» как культурная практика отличается многоплановостью и часто не совпадает с теоретическим наполнением этого понятия. Таким образом, одной из проблемных точек статьи является также соотношение (академических) теорий и (художественных) практик.

**Ключевые слова**: «женское письмо», теоретический концепт, художественные практики, феминистская теория.

## 1. Введение

Хотелось бы начать с личного, имея в виду известный феминистский лозунг «личное есть политическое». В видимом ровном ходе событий всегда есть точка поворота, «точка, в которой все начинается» [1, с. 49][1]. И этой точкой может быть слово,

[1] Мераб Мамардашвили в своем курсе лекций о Прусте исследует психологическую топологию пути и прибегает к топосу «точки равноденствия», чтобы описать момент, с которого начинается путь понимания. Эта метафора, отсылая ко всему корпусу текста и к логике размышления Мамардашвили, содержит в себе субъективное измерение познания

или образ, или неожиданный строй речи. Для меня подобной точкой поворота стало высказывание П. Бурдье о «*социальных условиях его возможности*» [2]. Эта точная цитата, вырванная из контекста, лучшим образом указывает на сам этот контекст: то, о чем говорит П. Бурдье, есть социальные условия возможности и его самого, и его высказывания.

С одной стороны, высказывание отсылает к «личному» (как политическому) – к социальным условиям возможности индивида, субъекта (знания). Индивид воспринимается как продукт, как некая результирующая определенных властных механизмов, социальных условий возможности и тех продуктов, которые этот индивид производит в заданном поле своих практик. С другой стороны, Бурдье говорит о социальных условиях возможности «вторичных» продуктов – текстов, которые производятся субъектом.

Это высказывание П. Бурдье вскрывает два проблемных вопроса, которые мне хотелось бы поставить в данной статье. Первый (скорее, скрытый) – о возможности «свободного» исследователя в научном поле. О том, какое исследование является возможным в существующих дискурсивных условиях.

(познания как страдания), указывая на то, что объективной истины не существует, а значит, нет и беспристрастного «объективного» субъекта познания. См., например: «парабола или дуга, соединяющая путь, начавшийся в точке и вернувшийся как бы к ней же, но объединящий в итоге две разные стороны уравнения «я» = «я», в действительности и есть путь по колодцу страданий, и это есть путь понимания. Теперь я сформулирую другое правило или аксиому, касающуюся той точки, в которой все начинается. Все, что происходило, или все, что случилось, происходило и случалось достаточно долго. Простите меня за такой неуклюжий язык, но у нас есть тот язык, который есть, другого языка у нас нет. Это максимальный экономный язык философии. Значит, все, что происходило, что случалось, даже когда нам казалось, что это какие-то мгновения, случалось достаточно долго. Достаточно долго для того, чтобы уже замкнулся, зацепился целый мир». Эта цитата Мераба в свернутом виде содержит все основные мысли данного эссе – проблема идентичности («я» = «я»), данность нам определенного языка и невозможность выйти за его пределы, уже-достаточность одного феномена, чтобы развернуть целый мир. Для меня было важно привести эту цитату в самом начале, когда тела текста еще нет перед читателем и он не имеет возможности выстроить полное и правильное понимание исходя из этой цитаты. Она служит всего лишь поводом, началом фрагментации как основополагающего принципа «женского письма», о котором будет сказано позже.

Второй вопрос непосредственно касается предмета моего диссертационного исследования – «женского письма»: в силу каких условий оказалось возможным и закономерным появление в определенный период в определенном дискурсивном пространстве такого концепта, как «женское письмо». Существует ли зазор между функционированием теоретического концепта и культурных практик, причисляемых к практикам «женского письма»?



## 2. «Женское письмо» как теоретический концепт: введение в проблематику

Само словосочетание «женское письмо» отсылает одновременно к двум традициям. «Женское» – к феминистской, «письмо» – к (пост)структуралистской. В некотором роде феминистский литературный критицизм, в рамках которого и возникло данное проблемное понятие в 70-х гг. XX в., представляет собой своеобразную область пересечения радикального феминистского литературоведения, «мужской» (пост)структуралистской теории и «женской» попытки обрести свой собственный голос.

Если внимательно читать многочисленных феминистских литературных критиков[2], то при многообразии подходов, можно заметить то общее, что всех их объединяет: все они признавали и признают особый, специфический способ женского бытия в мире и говорят о необходимости выработать соответствующие специфические женские репрезентативные стратегии.

Если выделить основные концептуальные вопросы, поставленные в рамках феминистской литературной критики, то все они будут центрироваться вокруг специфичности «женского»:

- структура и специфика женской субъективности в отличие от мужской;
- особенность женского языка и мышления;
- особенность женского опыта и женской сексуальности;
- женские стратегии (само)репрезентации и женские политические стратегии.

---

[2] Торил Мой, Элейн Шоуолтер, Элизабет Гросс, Мэри Эллманн, Сандра Гилберт и Сюзан Губар, Мэри Дели, Адриан Рис, Люс Иригарэй, Элен Сиксу, Юлия Кристева, Шошана Фельман, Джудит Феттерлей и др.

Можно говорить, что центральной проблемой оставалась (и остается) проблема женской субъективности.

По мнению Э. Сиксу, феминистского теоретика в области литературы/письма, для рождения женщины-субъекта необходимо создать пространство, где она могла бы выступать как самостоятельный и равнозначный (с мужчиной) субъект социального действия. В качестве одной из стратегий реализации такой программы Э. Сиксу и предложила концепцию женского письма.

## 3. Децентрация системы традиционных значений: разрушение порядка языка

Попробуем выделить и определить основные характерные черты концепта «женское письмо». В своей работе «Хохот медузы» (1972) [3] Э. Сиксу впервые вводит понятие женского письма (*ecriture feminine*), которое освобождает от мужского типа языка, стремящегося к единой истине. В другой книге «Вновь рожденная» (1972), написанной в соавторстве с Клеман, подвергается критике сам порядок языка. Авторы вскрывают тот факт, что в основе структуры символического значения всегда лежат первоначальные бинарное разделение на мужское/женское, причем мужское оценивается как позитивное, а женское – как негативное. Сеть бинарных оппозиций (таких как активность/пассивность, культура/природа, интеллект/чувственность, отец/мать) пронизывает весь традиционный патриархатный язык. Акт женского письма должен *децентрировать* систему традиционных значений [4, с. 152–153].

По мысли Сиксу, женщина, которая говорит и при этом не воспроизводит в своем говорении требуемую порядком языка устойчивость и бинарность значений, не производит *никакого смысла*. Так и *женское письмо* должно стереть грань между говорением и текстом, порядком и хаосом, осмысленностью и нонсенсом. В таком случае женское письмо деконструирует существующий маскулинный язык.

## 4. Текучесть, не-центрированность текстуальных практик

Элен Сиксу определяет женское письмо как *телесное* письмо (письмо собственным телом). Именно Сиксу провозгласила скан-

дальный и неоднозначный лозунг-призыв: впишите свое тело в текст.

При этом она проводит четкое различие между мужской и женской телесностью, между мужским и женским типом удовольствия (а письмо, безусловно, является удовольствием). Мужское тело центрировано на фаллическом наслаждении и имеет одну точку (телесного) удовольствия – фаллос. Женщина же ощущает свое тело как сплошную эрогенную поверхность, ее либидо не сконцентрировано в одном пункте, а является текучим, рассеянным, восприимчивым к разным видам наслаждения. Женщина всегда нарушает границы, она никогда не знает, что внутри, что снаружи. Привычные границы перестают существовать. Так, бинарная оппозиция «внешнее/внутреннее» в отношении к женской телесности, по мнению Сиксу, лишается смысла [5, с. 32–35].

«Женщина должна писать самое себя: должна писать о женщинах и привлечь женщин к процессу писания, от которого они были отторгнуты так же жестоко, как от собственного тела, по тем же причинам, с помощью тех же законов и с той же фатальной целью. Женщина должна вложить себя в текст – как в сущий мир и в человеческую историю – совершив самостоятельное движение» [3, с. 799].

## 5. Гетерогенность, диффузность письма

Сиксу провозглашает *бисексуальность* женского тела. Однако бисексуальности в расхожем смысле (возможность заниматься любовью то с мужчиной, то с женщиной) Сиксу противопоставляет *другую бисексуальность*, «где все субъекты не играют в фальшивом театре фаллоцентрического толка, но сами создают свою (ее/его) эротическую вселенную. Бисексуальность – это ощущение каждым в самом себе (женщине, мужчине), в разных выражениях и с разной степенью постоянства, – присутствия обоих полов; не исключение как различий между ними, так и любого из них; и, благодаря этому «самодопущению», – умножение эффектов наслаждения, прописываемых на всех частях моего/другого тела» [3, с. 809].

## 6. Фрагментарность, принципиальная незавершенность

Женское письмо всегда *начинается*, не стремясь выяснить свое происхождение. Проблема происхождения – это истинно мужская проблема, считает Сиксу и иронично замечает, что «история Эдипа показывает, к чему приводит истинно мужское желание разобраться в своем происхождении». Женское бессознательное, – в отличие от мужского, – в процессе письма поглощено стремлением начать, приступить со всех сторон сразу, обозначить несколько заходов одновременно, не сосредотачиваясь на одном фаллическом порыве начать и кончить. Женское телесное письмо может иметь двадцать или тридцать зачинов, оно начинается отовсюду [5, с. 34–35].

## 7. Невозможность женского письма: равная невозможность дистанцирования от текста и его присвоения[3]

Для Э. Сиксу «новое мятежное» письмо представляет собой не столько сознательный, сколько физический акт, это голос (или дыхание тела): *«тело делает мня говорящей… я вижу уста, говорящие во мне, я не вижу себя… я неоформленная масса, безмолвная, дрожащая (трепещущая)»* [14, с. 21]. Подобное письмо возвращает пишущего к истоку, к началу, к материнскому телу, вот почему Сиксу использует метафору «белых чернил» (*white ink*), метафору письма грудным молоком. Она хочет подчеркнуть это значение воссоединения с материнским телом.

[3] Проблемой «генеалогии женщин» и материнско-дочерними отношениями, вопросами дистанции и присвоения больше занималась Люс Иригарэй, которая также считается автором концепта «женское письмо» (термин Люс Иригаэй на французском называется «ecriture de la femme» и имеет некоторые различия с теоретическими построениями Элен Сиксу, в которые формат статьи не позволяет вдаваться подробно).

## 8. «Инаковость» (или чуждость) мужскому языковому порядку (невозможность женского письма определения)[4]

Для Э. Сиксу женское письмо возможно только как преодоление границ себя – выход за пределы собственной телесности и одновременное ее проговаривание. В этом аспекте телесность воспринимается как до-социальное и до-языковое, нечто такое, что выразить *невозможно*. Именно принципиальная невозможность определения женского письма является основополагающей его характеристикой. А так как в патриархатном дискурсе властью означивать (называть) обладают только мужчины, практика женского письма дает возможность ускользать от нормативного, единственно допустимого строя речи.

*«Невозможно определить женскую практику письма, всегда будет невозможно, поскольку эта практика не может подвергнуться теоретизированию, классификации, кодированию – что вовсе не означает, что она не существует. Она всегда будет превосходить дискурсы, регулируемые фаллоцентрической системой, она занимает и будет занимать другие пространства, не те, что подчинены философско-теоретической субординации. Женское письмо будет доступно лишь тем, кто разрушает автоматизм, тем, кто находится на периферии, и кто не поклоняется никакой власти»* [3, с. 808].

## Проблема 1. Дискурсивные условия возможности («мужские» основания)

Первая проблема, которую мне хотелось бы обозначить, – проблема дискурсивных условий возможности (и закономерности) возникновения данного концепта в 1972 г.

Два очевидных условия возникновения этого концепта – Ролан Барт и Жак Деррида. Два «влияния» на методологическую переориентацию в теории феминизма: Барт с его теорией текста (эротизация текста, смерть автора, рождение читателя) и Жак Деррида с теорией письма и деконструкцией.

---

[4] Об этом же говорит Иригарэй, размышляя о женском языке. Она не дает спекуляций о том, чем *должен быть* женский язык, но называет то, чем он *не должен быть*.

Ни один из феминистских теоретиков не оспаривает влияние Деррида, они ведут почти всегда открытый диалог с ним. Именно Деррида в 1967 г. в работе «О грамматологии» [6] разработал концепцию письма как практики неиерархического («феминного») текстового «различения» вместо традиционных бинарных текстовых оппозиций (внутреннее/внешнее, истина/ложь, сознательное/бессознательное, мужское/женское). Он же предложил концепцию деконструкции как типа критического мышления, который направлен на поиск противоречий и предрассудков традиционного мышления через разбор формальных элементов текста.

В 1968 г. своей статьей «Смерть автора» Ролан Барт «умертвил» автора и тем самым сместил акцент с автора на читателя, с производства текста на его восприятие. Читатель стал демиургом, дарующим тексту связность: «Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении» [7, с. 390] Любая стратегия чтения легитимна, и каждая стратегия порождает новый текст.

Таким образом, Р. Барт открыл возможность множественной (в том числе и феминистской) интерпретации текста (так как автор перестал быть носителем, источником единственно легитимного смысла текста). Он дал возможность феминистским критикам провести ревизию в текстах «большой» («мужской») литературы. Так стало возможным феминистское *rereading* и *revision*.[5]

В работе 1970 г. «S/Z» [8] Барт выделяет два типа текстов: «для чтения» и «для письма». Барт указывает на то, что тексты для письма вызывают у читающего острое ощущение соучастия, желание творчески переписать прочитанный текст. Сильнейшая идентификация с прочитанным вызывает желание переписать текст, и, таким образом, стратегия переписывания есть структура эротической идентификации.

5 Например, Kolodny A. A Map for Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts // The New Feminist Criticism. Essays on Women, Literature and Theory / Showalter E. (ed.). N.-Y.: Pantheon Books, 1985, P. 46–62.; Rich A. When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision // On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966–1978. New York & London: W.W. Norton & Co., 1979.

Через год в статье «От произведения к тексту» (1971) [9] Барт пишет об эротической структуре текста (проводя различие между произведением и текстом). При этом он отмечает, что эротическая структура зависит не от тематизации, а от технологии производства текста. Фрагментация текста, его пространственная многолинейность, неустранимая множественность, пародия, игра со знаками – все эти свойства «нового письма» обозначены Бартом в этой статье. В этом смысле, безусловно, письмо обладает «женскими» качествами: если мужской тип письма – это сведение к «одному», то «женский» – это мир без иерархий, равноценная игра деталей и фрагментов. Это эк-статический язык – язык «эротического тела». Техника фрагментарного письма реализуется через разрывы, сноски, скобки, противоречивые высказывания, запутанность, отсутствие центральных слов. Текст – атопичен. В тексте господствует культ единичной материализованной детали – маркера радикальной прерывности «я». Автор более не является гарантом связности. «Я» предстает как всегда-уже «кусочное я» (подробнее об этом см. [4, с. 21–29]).

Итак, все перечисленные выше признаки «женского письма», как и его деконструктивистский пафос, были дискурсивно (пред) заданы большими «мужскими» теориями. По крайней мере, конечно, об обусловленности и определенной вторичности, мне кажется, можно вести речь.

### Проблема 2. Стратегия сопротивления, или Борьба внутри поля

Здесь стоит обратить внимание на то, *для чего* феминистским теоретикам понадобилось разрабатывать в это время концепт «женского письма».

И возможно, ответ на этот вопрос стоит искать не в точках совпадения, а в болевых точках расхождения теорий. Как мне кажется, такой проблемной болевой точкой оказался автор. С одной стороны, смерть автора лишила автора (т.е. мужчину – в классической истории литературы) отцовской сакральной власти над произведением. «Хозяином» текста стал читатель, и преимущества подобного смещения акцентов мы уже описывали. Но со смертью автора феминистское движение потеряло то символическое место, на которое они и претендовали, за которое боролись – место субъекта. Феминистки пытались обрести

голос, чтобы сделать из женщины субъект, а не объект, каковым она являлась в патриархатной культуре. Неотъемлемой частью борьбы за право «говорить» всегда было «производить тексты», т.е. войти в письменную традицию (в отличие от устной, в которой испокон веков существовали женщины). И с этой точки зрения, лишение позиции автора «голоса» для феминисток затрудняло дальнейшую борьбу. Ибо текст более не мог быть ни выражением авторских индивидуальных внутренних состояний, ни выражением социального контекста. Текст провозглашался актом письма, материальной манипуляцией знаками, дискурсивными структурами и текстуальными элементами по собственным текстовым правилам взаимодействия и регуляции. Р. Барт писал: «В качестве социального лица автор давно мертв: он более не существует ни как гражданская, ни как эмоциональная, ни как биографическая личность; будучи лишена былых привилегий, эта личность лишена отныне и той огромной отцовской власти над произведением, которую приписывали ей историки литературы» [10, с. 483].

Итак, автор лишался социальной (а значит, и политической) позиции, – что для феминизма означало конец как политического проекта за права женщин.

Возможно, концепт «женское письмо» возник именно в борьбе за субъекта как за одну из крупных ставок внутри академического дискурса.

Тогда проблема субъекта, субъективности, идентичности требует более тщательного и глубокого рассмотрения – не только с теоретической точки зрения, но в отношении к вполне конкретным культурным практикам.

**Проблема 3. Теория и/ли практика**

Третья проблема связана как раз с соотношением теории и практики. Насколько поле искусства (в частности, литературы) является автономным и как его следует изучать: от теории к практике или, наоборот, от эмпирики к концептуализации? Вопрос этот, конечно, скрывает под собой основания социальной теории полей П. Бурдье, который, с одной стороны, утверждал определенную автономность (постепенную автономизацию поля искусства), с другой стороны, призывал помнить о взаимодействии и взаимообусловленности полей; в частности, о том,

что агенты определенного поля обусловлены своей позицией, но и позиция этого поля обусловлена его положением по отношению к другим полям, всеобъемлющим из которых является поле власти [11]. Отсюда закономерный вопрос, каким образом анализировать «произведения искусства» (литературы). Если мы имеет дело с таким концептом, как «женское письмо», который, безусловно, возникает на стыке академического и литературного полей, то как совместить в анализе конкретного источника академическую теорию, выстроенную по внутренним законам академического поля, и логику самого культурного продукта, выстроенную по правилам, действующим внутри художественного поля. Откуда куда идти? Или же руководствоваться некими общими закономерностями безличных властных силовых интенций?

Очевидно, что теория «женского письма» не может ограничиваться только теорией. «Стартовая точка феминистской игры с текстом выражает отнюдь не теоретический интерес и не теоретический уровень работы с языком, как это имеет место в теории феминного Деррида. В основе женских операций с языком лежит, по мнению Иригарэ, болезненный опыт познания женского подавления в культуре. Другими словами, феминистская деконструкция дискурсивности имеет не столько теоретическую, сколько практическую цель» [4, с. 154].

Иригарэ и Сиксу в собственных текстах пытались использовать ими же постулируемую стратегию «вписывания тела в текст» – вписывать опыт, писать через состояния, использовать экспрессивный синтаксис и язык. Но вопрос остается вопросом: значит ли это, что теория «женского письма» так и остается «теорией для своих», своеобразным «чистым искусством», концепцией, взращенной в лоне феминистской литературной критики и предназначенной для внутреннего пользования? Можно ли обобщать и говорить о «женском» как о «маргинальном» и включать в него другие категории «черного», «постколониального», «гей-лесбийского»? Или «женское» в сочетании с письмом все же указует на пол автора – и тогда эта теория, в сущности, теряет весь революционный потенциал, так как оставляет «без голоса» многих других «других»? То есть является ли концепт «женское письмо» концептом, который «работает» только на пару с феминистской традицией?

Тогда как, например, быть с Юлией Кристевой, которая занимается деконструкцией языка и разрабатывает понятие материнского языка и при этом сознательно уходит от определения себя как феминистки? Проблема ли это излишней политизации феминизма? Или его институализации – слишком плотного вхождения и довольно быстрой легитимации в академическом мире?

Каким образом позиционируют себя женщины-авторы к феминистской традиции? Моник Виттиг, написавшая «канонический» текст «Лесбийское тело» [12] в качестве целенаправленного языкового эксперимента, напрямую ассоциирует себя с радикальной феминистской традицией и постулирует это – «создавать лесбийские тексты в рамках полного разрыва с маскулинной культурой, тексты, написанные женщинами исключительно для женщин, не апеллирующие к мужскому одобрению» [12, с. 158]. В то время как, например, Кэти Акер, весьма радикальная панковская постмодернистская писательница, тексты которой по форме соответствуют всем критериям «женского письма», с феминистской традицией себя не соотносит, хотя и отмечает, что, безусловно, феминистский пафос в ее книгах есть, однако феминистское прочтение пришло ретроактивно, уже *после* процесса письма («feminism is there is almost an afterthought»[6]) [13], к тому же феминистки, по ее словам, всегда недолюбливали ее («Feminists hate me. Well, that's not true anymore, Ten years ago, I was damned by them. But even in England, they are finding something to like in my work»[7]) [13].

Проблема «женского письма» (как теоретического концепта и культурной практики) состоит именно в том, что этот феномен возникает на пересечении трех полей – собственно литературного поля (литературные практики, авторы текстов), академического поля (феминистские теории в рамках «мужских» теорий, попытка их признания и легитимации в научном сообществе) и феминистского (или политического) поля как весьма подвижного и гетерогенного, частично включенного в поле академиче-

6 «Феминизм здесь – запоздалое прочтение, послемыслие».

7 «Феминистки ненавидят меня. Но все изменилось. Еще 10 лет назад они осуждали меня. А сейчас даже в Англии они находят в моих работах что-то привлекательное».

ское, частично – в более широкое социальное поле «политической активности»; статус феминизма всегда «двояк».

Эта проблема – соотношения теории и практики – стала для меня очевидна из небольшого интервью, данного Кэти Акер в 1988 г. в Нью-Йорке Элен Фридман. Именно в нем неожиданно со всей ясностью вырисовался этот болезненный и травматический разрыв между «хорошей» теорией и «плохой» практикой – и слэш, вынесенный в заглавие моей диссертационной работы, приобрел для меня материальность и смысл – «женское письмо»: теоретический концепт и/ли культурная практика. Возможно это совмещение или нет?

Эта проблема, по моему мнению, коррелирует с проблемой идентичности в пост-современном обществе – это проблема совмещения несовместимого и тем не менее существующего в неких параллельных одновременных режимах[8].

«I was also looking for a way to integrate both sides of my life. I was connected to the St. Mark's poetry people at the time. On the one hand, there were the poetry people, who were basically upper-middle-class, and on the other, there was the 42nd Street crowd. I wanted to join the two parts of my life, though they seemed very unjoinable. As if I were **split**. Of course, the links were political» [13][9].

Об этом же «разделении» и его политическом подтексте прямо пишет и М. Виттиг, вводя слэш в структуру повествования на уровне расчленения личного местоимения «я» (j/e)[10] и декларируя в послесловии автора к «Лесбийскому телу», «но «я»

---

8 О предельной гетерогенности действительности говорил на своих лекциях Б.В. Дубин (14 октября 2005 г.). Проблем «асинхронности» социальной жизни (целые пласты населений живут в разных модернизационных временах) и «атомарности» художественных практик в пост-современных обществах касался А.Ю. Согомонов во время лекции «Современное и постсовременное искусство: институты и практики» 2 ноября 2005 г. в рамках школы по социологии искусства.

9 «Я также искала способ объединить две мои жизни. В то время я примыкала к людям из поэтического проекта Святого Марка. С одной стороны были они, которые занимались поэтическими экспериментами и принадлежали в основном к классу крупной буржуазии, а с другой стороны была компания с 42-й улицы. Я хотела совместить обе части моей жизни, хотя они и казались несовместимыми. Как будто это был раскол во мне и соединить его можно было только "политически"».

10 В русском переводе, к сожалению, это «рассечение» не удалось адекватно передать и слэш вынесли за пределы местоимения «/я».

[Je], которое пишет, обращено вспять, к своему особому опыту как предмету описания; «я» [Je], которая пишет, чужда каждому слову своего сочинения, поскольку это «я» [Je] ощущает такую чужеродность, поскольку «я» [Je] не может быть *un ecrivain* («писателем»). Если, используя je, я принимаю тот язык, само это je не может делать то же самое. J/e – это символ пережитого, расчленяющего опыта, которым и является мо/е письмо, этого разделения надвое, которое во всей истории литературы является опытом языка, не считающего мен/я предметом описания» [12, с. 159].

Там, где Виттиг прибегает в визуализации разделения «я» и расщепленного невыразимого опыта этого «я», Кэти Акер использует стратегию плагиата и пародии, наполняя «Я» различным противоречивым содержанием, производя предельно нестабильное «я»: «It's a very simple experiment in *Tarantula*. When one first encounters the «I» in *Tarantula*, it's the autobiographical «I». the «I» takes on other, non-autobiographical qualities and gradually the invisible parentheses around the «I» dissolve and the experiment in identity proceeds from that» [13][11].

Однако, какую бы стратегию ни избирала каждая из них, обе они признают политическую составляющую подобных децентрирующих языковых жестов.

Продолжая эту тему, можно также сослаться на Ю. Кристеву, которая выстраивает свою концептуальную схему на допущении того, что субъект изначально расщеплен. «Говорящий субъект, по Кристевой, всегда расщеплен между сознанием и бессознательным, между физиологией и социальностью, и никогда поэтому не может быть сведен в единую фигуру гуссерлевского трансцендентального *ego*. Объектом анализа Кристевой является дискурс расщепленного (говорящего) субъекта» [4, с. 53].

Возможно, это слишком разбросанные примеры, но при более внимательном рассмотрении они имеют слишком много общего: проблема идентичности, которая во всех этих случаях тесно сопрягается с политикой (в широком смысле слова от ре-

[11] «В "Тарантуле" очень простой эксперимент. В самом начале вы сталкиваетесь с автобиографическим "я". Затем это "я" изменяется, переходит в свою противоположность, в неавтобиографическое "я", и постепенно невидимые кавычки вокруг этого "я" исчезают, и эксперимент с идентичностью продолжается».

альной политики до политики как стратегии), структура и выражение, или репрезентация этой идентичности, проблема языка и деконструкции. Можно также вспомнить более поздний контекст – теорию перформативной идентичности и лишение субъекта права на универсальность (Джудит Батлер – постфеминистская традиция). Однако насколько правомерно помещать концепт «женское письмо» (концепт «второй волны» феминизма, возникший еще в модерном проекте) в современный контекст пост-современности (в определенную ситуацию пост-письма с развитием технологий, Интернета и т.д.)? Еще один методологический вопрос, требующий разрешения.

**Проблема 4. И последняя**

Также и насущный вопрос о дискурсивных условиях возможности для исследователя осуществить некий радикальный исследовательский проект остается открытым для меня вопросом. Так как, с одной стороны, сам стиль (и требования) академического письма ограничивают объянительные возможности для подобных «трансгрессивных» феноменов. С другой стороны, определенная академическая цензура не позволяет включать «спорные» тексты в структуру исследования, какими, допустим, могут являться тексты Кэти Акер, с легкостью подпадающие под определение «порнографическая литература».

***Литература***


1. *Мамардашвили М*. Лекции о Прусте (психологическая топология пути. М.: Ad Marginem, 1995.
2. *Бурдье П*. Исторический генезис чистой эстетики // http://bourdien.narod.ru/bourdien/esthetique.htm.
3. *Сиксу Э*. Хохот медузы // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрест. СПб.: Алетейя, 2001. С. 799–821.
4. *Жеребкина И*. «Прочти мое желание…». Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. М.: Идея-Пресс, 2000.
5. *Сиксу*. Э. La sexe in tete? (Женщина – тело – текст) // Художественный журнал. 1995. № 6.
6. *Деррида Ж*. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
7. *Барт Р*. Смерть автора // Избр. работы. Поэтика. Семиотика. М.: Прогресс, 1994.
8. *Барт Р*. S/Z. M.: Ad Marginem,, 1994.

9. *Барт Р*. От произведения к тексту // Избр. работы. Поэтика. Семиотика. М.: Прогресс, 1994. С. 413–423.
10. *Барт Р*. Удовольствие от текста // Избр. работы. Поэтика. Семиотика. М.: Прогресс, 1994.
11. *Бурдье П*. Поле литературы // НЛО. 2000. № 45. С. 22–87.
12. *Виттиг М*. Лесбийское тело. М.: Митин журнал; Kolonna Publication, 2004.
13. A Conversation with Kathy Acker by Ellen G. Friedman // www. Centerforbookculture.org / interviews/ interview_acker. html
14. Helen Cixous Reader / ed. by Susan Sellers. L., N.-Y. Routlege, 1994.

**Nadzeya Husakouskaya**

## Towards «“L’ecriture Feminine”: Notes on the Margins of Thesis Research»

Summary

In the article cultural analysus of the phenomenon of “l’ecriture feminine” is carried out (Helene Cixous, Luce Irigaray). From the author’s view point, “l’ecriture feminine” as a theoretical concept has its (pre) history and discursive roots in theoretical context, which predetermines its appearance and rules of functioning. On the other hand, “l’ecriture feminine” as a cultural practice differs in its multidimensionism and very often doesn’t coincide with theoretical content of this definition. In such a way, one of the problematic points of the article is correlation of (academic) theories and (artistic) practices.

**Keywords**: L’ecriture feminine, theoretical concept, artistic practices, feminist theory.

***Н.А. Гусаковская***

# ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА: ПОДЧИНЕНИЕ КАК (РЕ)ФОРМИРОВАНИЕ

В статье рассматривается «субъект» как конституирующая категория современной западной культуры, неразрывно связанная с социальным и политическим измерением социального. Автор анализирует (пост)феминистские теоретические попытки Джудит Батлер и Рози Брайдотти избежать универсализации и переопределить современного «субъекта», который пока формируется через механизмы подчинения. В качестве перспективы автор предлагает стратегию «формального» подчинения системе в целях содержательного реформирования системы изнутри.

**Ключевые слова**: субъект, подчинение, (пост)феминистская теория, унивесализация, стратегии сопротивления.

Критика субъекта в основе своей всегда политична. Проблематизировать понятие субъекта значит подвергать сомнению, деконструировать эпистемологические основания, незыблемые предпосылки существования политического. Эту ловушку «политического» – «установить заранее, что любой политической теории необходим субъект» – делает видимой Джудит Батлер в статье «Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о “постмодернизме”», где она описывает и деконструирует «сложившуюся форму существования политики, требующую, чтобы эти понятия оставались не подвергаемыми проблематизации аспектами ее собственного определения» [1, с. 236].

Понятие субъекта является незыблемым основанием идеологии. Луи Альтюссер писал: «Нет никакой идеологии, кроме той,

которая существует благодаря (функционированию) категории “субъекта”». Она создается для субъектов и через категорию «субъекта» [2, с. 128]. Категория эта является универсальной и формо-образующей. Она представляется залогом существования идеологии и лежит в основе (социального/политического) бытия индивидов. Это место, с которого индивид может быть видим и может говорить, место в котором может осуществиться идеология, место, которое фантазматически возникает в момент называния-оклика, «пустое место, которое в то же время ниспровергается и является условием существования любой идентичности» [3, с. 216].

Идеология, по Альтюссеру, и есть то обыкновенное чудо, которое функционирует только в присутствии субъектов – для них и благодаря им. Это чудо дает им возможность социального (политического) действия. Обеспечивает им существование в ситуации узнавания и повторения, т.е. в ситуации стабильности и спокойствия. Она интерпеллирует к конкретным индивидам как к конкретным субъектам, и только благодаря идеологическому запросу конкретные индивиды (как «уже-всегда» субъекты) распознают себя (через практики и ритуалы) и утверждаются как действительно конкретные *индивидуальные* субъекты. И только в той степени, в которой идеология конституирует конкретных индивидов как субъектов, категория субъекта является для нее конституирующей (см. об этом [2, с. 123–132]).

О конституирующей силе категории субъекта говорит Джудит Батлер, которая неразрывно связывает жизнеспособность субъекта с признанием тех позиций, которые ему предложены властной матрицей: «...“я” *выстроено* этими позициями, и эти позиции являются не всего лишь теоретическими продуктами, но организующими принципами, полноправно управляющими материальными практиками и институциональными соглашениями, теми матрицами власти и дискурса, что производят меня как жизнеспособного “субъекта”» [4, с. 242].

Критика субъекта, которую стали целенаправленно осуществлять (пост)феминистские теоретики, направлена в первую очередь против формирования субъектов через механизмы подчинения. Деконструкция категории приведет к деконструкции действительности, полагают они. Те, кто занимается практической деятельностью, чаще всего испытывают вполне понятные

трудности с тем, чтобы поддержать теоретиков в их ожесточенной борьбе с понятием субъекта. Практики все еще остаются на эссенциалистских субъективных позициях, понимая и принимая, что для того, чтобы кто-то был репрезентирован, «этот «кто-то» должен удовлетворять основному требованию – "быть субъектом"» [4, с. 299].

Возможный выход из создавшегося положения, когда власть полагает своим незыблемым основанием бытие индивида в качестве субъекта, был предложен Джудит Батлер: в статье «Случайно сложившиеся основания...» она призывает деконструировать этот концепт посредством постоянного его переозначивания («мобилизация означающего в условиях *альтернативного производства*»[1]) повторять его, и повторять его против него самого, смещая его из контекста, в котором он был развернут как инструмент подавляющей власти [1, с. 252–253]. Реализация ее теории, однако, входит в противоречие с практиками конкретных индивидов (которые тем не менее все еще остаются всегда-уже субъектами (*always-already subjects*)). Теоретическое переобозначение субъекта не всегда может влиять на его функционирование и его бытие во власти в условиях *реального производства*.

Я хочу сказать, что единственный способ избегнуть универсального концепта – предложить ему альтернативу. Не в виде альтернативного значения, а в виде альтернативного понятия.

Такое альтернативное понятие предлагает другая постфеминистская теоретик Рози Брайдотти – это понятие номадического субъекта. Именно номадическое сознание она делает эпистемологическим и политическим императивом критического мышления, а номадический способ передвижения – единственно альтернативным способом «периферийного сопротивления гегемоническим формациям» [5, с. 138].

Альтернатива эта является смелой находкой Жиля Делеза. Правда, имя новому понятию он выбрал другое – «номадическая сингулярность» (несводимая к набору определенных фиксированных черт единичность).

Как мне кажется, сам Жиль Делез ввел понятие доиндивидуальной кочующей единичности для того, чтобы заменить им как классические теории субъекта, так и структуралистские теории,

[1] Курсив мой – *Н.Г.*

связанные с анализом означающего[2]. Выбор для термина «номадическая сингулярность» именно такого существительного был обусловлен желанием избежать слишком многозначного (а по сути, слишком однозначного) термина «субъект».

Расхождение с аутентичной номадической концепцией Делеза обнаруживается уже в названии книги Розы Брайдотти – «Nomadic Subjects: Embodyment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory». «Потребность в размещенности (*situational need*)» [5, с. 139], о которой постоянно говорит Рози Брайдотти, вскрывает имплицитное тяготение к стабильности, некоторой (пусть и временной) закрепленности, фиксированности. Как видим, закрепленность за местом все еще является основной характеристикой субъекта (пусть и номадического).

Номадическое сознание, которое понималось Делезом как интенция пересекать границы и двигаться независимо от точки назначения, «из одного пункта в другой только в силу фактической необходимости – в силу смежности этих пунктов на трассе» [6], трансформируется в интерпретации Розы Брайдотти в отчетливое осознание подвижности границ, передвижение в поисках размещенности, где можно было бы воссоздать свой дом, свою базу, набросать карту местности для таких же, как ты, номадических субъектов, которые после смогут ее прочесть (см. [5, с. 138–141, 159]).

В таком виде концепция Брайдотти напоминает мне проект номадического туризма. Теория, созданная для одиночек-интеллектуалов, превратилась в проект спасения для масс. Капитализм экспроприировал и этот, казалось бы, уж совсем неудобоваримый для него концепт, чтобы внести номадического субъекта в свои картотеки. Роза Брайдотти сослужила хорошую службу, обозначая по тексту характерные отличительные черты номады, чтобы ее/его всегда можно было найти (обозначить): номада – субъект, что оставляет всякую идею, желание или ностальгию по закрепленности; имеет определенные, сезонные паттерны движения по довольно устойчивым маршрутам; траектория номад – контролируемая скорость; их память активирована против потока; они обладают суровой непреклонной силой; двигаются быстрее и выдерживают более длительные пу-

2 См. об этом: *Можейко М.А.* Делез Жиль // Большая философская энциклопедия М., 2001. С. 295–300.

тешествия, чем остальные, так что ассимилировать их нелегко; не требуют оснований для эффективной политической деятельности (это препятствует полету номадического сознания); устанавливают связь со всем на свете [5, с. 145, 148, 151, 157–159].

Таким образом, номадический субъект представляет собой выведенный в срочном порядке вид субъективности в условиях ускоренной глобализации, когда возникает и становится всеобщим «новое ощущение мира, который словно «сжимается» во времени и в пространстве (так называемая глобальная «компрессия»), воспринимается в сознании отдельного индивида как глобальный и целостный, а не ограниченный конкретным местом проживания» [7]. Власть, которая требует «формирования универсальной системы координат, позволяющей описывать некие феномены (экономику, политику, культуру) в общих рамках, применять к ним некие общие критерии оценки» [7], нуждается в контролировании поднадзорных субъектов в такой системе координат.

Сложившаяся ситуация требует создания теории, которая бы ввела в поле власти всех разбредшихся было и потерявших чувство собственного места субъектов, обеспечило бы их контролируемость и вменяемость даже в условиях стремительно изменяющейся системы. Такой удобной теорией и является концепция номадической субъективности (по крайней мере в том виде, в котором она озвучена Рози Брайдотти). Ее никак нельзя назвать «формой политического сопротивления гегемоническим и эксклюзивистским взглядам на субъективность» [5, с. 145]: она представляет собой своевременный востребованный продукт (в первую очередь, академического) знания, который под формой соблазнительного возможного сопротивления не просто поддерживает изменяющуюся систему власти, но отражает и концептуализирует происходящие шокирующие перемены в мировом со-обществе, давая (прежде всего) интеллектуалам, а затем и массам возможность пережить коллапс перехода в процессе глобализации к универсальной системе координат и какое-то время пребывать в иллюзии того, что они наконец-то нашли способ избежать ловушек власти. Здесь как раз стоит процитировать проницательную Джудит Батлер, которая предупреждает, что «обращение к позиции, помещающей себя вовне игры власти, есть, возможно, наиковарнейшая уловка власти» [1, с. 239].

Мы видим, что субъект хоть и критикуется в постклассическую эпоху и переопределяется, все же никак не исчезает, и суть его остается той же или почти той же – он все еще незыблем и представляет собой основание для политической, социальной и любой другой активности, он все еще означает место, из которого любой индивид говорит, он все еще возникает как мираж из идеологической интерпелляции и является залогом социального бытия индивида. Я говорю о том, что по прочтении множества текстов, которые критикуют категорию субъекта, я все же вижу, что он не только не сдает свои позиции, но укрепляет их. И причина такой устойчивости, стабильности и живучести кроется в том, что сам субъект есть позиция, место. Это само воплощение место-положенности. Субъект не субстантивная категория, а категория обстоятельства места (если использовать лингвистическую терминологию). Исчезновение (смерть) субъекта (то, что предлагают постмодернисты) ведет к потере места в структуре, где основополагающим все еще остается именно место, с которого ты (как конкретный индивид под спасительной личиной субъекта) можешь говорить и быть видимым. Отказаться от субъекта (категории и позиции) невозможно, потому что в этом случае мы теряем точку опоры и точку зрения и не имеем больше возможности ни смотреть, ни быть видимыми.

В таких условиях то, что предлагает Джудит Батлер (несмотря на всю ее «теоретичность»), возможно, является единственным выходом, по крайней мере, из универсальности (одномерности) субъектной позиции[3]. Деконструировать сам концепт, сделать его номадическим, лишить его универсальности, сдвинуть его с позиции основания всякого действия, сделать его открытым для переопределения и переозначивания – путь либерального (академического) сопротивления. Пусть он не кажется столь радикальным, как проект номадического мышления, но на данный момент, как это ни парадоксально, представляет собой единственный чистый пример такого мышления.

Работать внутри существующих систем (а не вне), осознавая свое место в них и собственную сконструированность по требованиям этих систем, возможно, как отмечает Батлер, есть пред-

[3] Идею субъекта как суммы позиций субъекта развивает в своей статье Шанталь Муфф (см. об этом [3, с. 216–220, 232–233]).

условие нашей свободы действия[4]. И вместо того, чтобы создавать иллюзию автономного передвижения вне границ и форм, заданных властью, может быть, стоит *формально* подчиниться заведенным правилам и попытаться подорвать, реформировать систему изнутри, освоив автономность и свободу действия (передвижения) как функции подчиненного и зависимого субъекта[5].

## *Литература*


1. *Батлер Д.* Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о «постмодернизме» // Введение в гендерные исследования. СПб: Алетейя, 2001. Ч. II: хрест.
2. *Althusser L.* Ideology and ideological apparatuses, in Zizek S., ed. *Mapping Ideology (Verso, 1994)*.
3. *Муфф Ш.* Феминизм, гражданство и политика // Введение в гендерные исследования. СПб: Алетейя, 2001. Ч. I: хрест.
4. Батлер Д. Гендерное беспокойство // Антология гендерной теории / под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000.
5. *Брайдотти Р.* Путем номадизма // Введение в гендерные исследования. СПб: Алетейя, 2001. Ч. II: Хрест.
6. *Делез Ж. Гватари Ф.* Трактат о номадологии // http://www.prometa.ru/kpr/frames/nmd.htm.
7. *Усманова А.Р.* «Критические интеллектуалы» и культурная политика в эпоху глобализации» // Материалы Центра Гендерных Исследований. ЕГУ, 2007.


[4] Ср. две цитаты из разных работ Батлер: «…в силу своей подчиненности политическим структурам управляемые ими субъекты формируются, определяются и воспроизводятся в соответствии с требованиями этих структур» [4, с. 299]; «сконструированность субъекта есть предусловие его свободы действия» [1, с. 247].

[5] О такой форме сопротивления системе см.: Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999. Гл. 4. Из любви к народу: Диснейленд Чаушеску. С. 89–107.

**Nadzeya Husakouskaya**

## Policies of Subject: Submission as (Re)Formation

Summary

«Subject» as a costitute category of modern western culture, which is inseparably connected with social and political dimension of social, is examined in the article. The author is analysing (post)feminist theoretical attempts of Judith Butler and Rosi Braidotti to avoid universalization and redefine contemporary «subject» that is formed for the time being through the mechanisms of submission. As a prospective the author proposes strategy of «formal» submission to the system in order to reform the system substantially from inside.

**Keywords:** Subject, subjection, (post)feminist theory, universalization, strategies of resistance.

***А.Н. Денищик***

# АНТИЭССЕНЦИАЛИСТСКИЕ ТЕОРИИ СУБЪЕКТИВНОСТИ В ПОСТФЕМИНИЗМЕ

В статье рассматривается постфеминистский антиэссенциалистский проект формирования политического субъекта на примере теоретических концепций «перформативного субъекта» Дж. Батлер и «номадического субъекта» Р. Брайдотти. Анализируется логика конструирования субъекта в эссенцианализме и антиэссенциализме. В работе предпринимается попытка анализа причин негативного отношения к феминистскому проекту (как академическому, так и политическому) на постсоветском пространстве.

**Ключевые слова**: постфеминизм, антиэссенциализм, перформативная теория субъекта, номада.

Номадическое сознание есть<br>форма *политического сопротивления*<br>гегемоническим и эксклюзивистским<br>взглядам на субъективность.

Рози Брайдотти. Путем номадизма

## 1. Господствующая гендерная идеология?

Эссенциальный субъект, гомогенный, детерминированный, обладающий четким набором характеристик, оказался не только не способным репрезентировать всю совокупность женщин, от лица которых пытаются говорить феминистки, но и подвергся тотальной критике в лице постфеминизма за репродуцирование системы власть/подчинение: «Обращение к позиции <…> по-

мещающей себя вовне игры власти, стремящейся установить метаполитическую основу для согласовывания властных отношений, – есть, возможно, наиковарнейшая уловка власти» [3, с. 239]. Феминизм, первоначально призванный бороться с «насилием»[1], сам начал осуществлять его, причем пример политической практики феминизма наглядно демонстрирует так называемый «механизм ретроактивной самолегитимации насилия»[2] (в качестве примера здесь можно привести известные случаи «культурной слепоты» феминисток по отношению к женщинам *других* этничностей, культур и социальных групп – мусульманкам, латиноамериканкам, афроамериканкам, лесбиянкам др.). Политики исключения, работавшие на протяжении долгого времени в отношении женщин, были взяты на вооружение феминистками и начали работать на женщин против женщин. Эта агрессивность эссенциалистского феминизма, вероятно, является одной из причин неприятия женского движения женщинами – «раздробленность в самом феминизме, а также парадоксальное неприятие феминизма «женщинами», на представление которых он претендует, наводят на мысль о неизбежных пределах политики идентичности» [1, с. 303]. Сила действия равна силе противодействия – в ответ на насильственное определение всех женщин как гомогенной структуры с одинаковыми проблемами и потребностями возникло естественное отторжение всего, что связано с феминизмом. Ярким подтверждением этому явилось появление на белорусском телевидении такой темы, как «Надо ли бороться с феминизмом?»[3]. Находясь в контексте гендерных исследований трудно себе представить более абсурдный вопрос – надо ли и как бороться с борьбой – тем не менее участники программы вовсю обсуждали «ужасных» феминисток, причем яркой представительницей политического феминизма в России была названа Ирина Хакамада (!). Примеров негативного отношения к феминизму как политическому, так и академическому проекту в русскоязычном (чаще – академическом) пространстве много, однако среди прочих претензий, предъявляемых феминизму

[1] Насилие здесь понимается в рамках теории власти М. Фуко как новая форма насилия, представляющая собой скрытый контроль над индивидами, в том числе и в социальном пространстве.

[2] Комментарий И. Жеребкиной к концепции В. Беньямина [8, с. 24–25].

[3] Першы Нацыянальны тэлеканал, «Добры дзень, Беларусь», эфир от 22.05.2003.

(таких, как ангажированность, коммерциализированность исследований, разрозненность и невнятность теоретических концептов и политических платформ), одной из главных становится обвинение феминизма в агрессивности и в том, что феминистки самостоятельно наделяют себя полномочиями говорить от лица всех женщин, отчуждая, таким образом, право субъекта на саморепрезентацию.

На Западе эссенциалистские концепции субъекта и универсализма критиковались в том числе национальными, культурными и сексуальными меньшинствами. Однако такая критика и, наверное, антиэссенциализм как политическая теория не много могут помочь в нашей ситуации. «В постсоветский период российские женщины все еще подчиняются стереотипам и ограничениям биологического детерминизма как доминирующей гендерной идеологии» [11, с. 117], – эта лаконичная фраза, описывающая западный взгляд на наше сегодняшнее положение, взята мной из магистерской диссертации британской коллеги Джоанн О'Ши, которая любезно предложила ознакомится со своими материалами всем заинтересованным лицам. Я не знаю, правомерно ли утверждать, что в качестве гендерной идеологии у нас выступает биологический детерминизм (эссенциализм), но думаю, что в этом суждении есть большая доля истины. Выходит, что российские и белорусские женщины, за равноправие которых должен бороться феминизм, в подавляющем большинстве являются носителями этой идеологии и, судя по всему (в частности, и по телепередаче), согласны со своей «бабской долей». Этот тезис подтверждает и распространенное в русскоязычной академической среде мнение о непригодности гендерной (и феминистской) теории для «русской почвы», у которой «особенная стать» (пример, приведенный чуть ниже, иллюстрирует и тезис Бурьде: «Преобразующей работе еретической критики противостоит работа сопротивляющейся ортодоксии» [7, с. 33–41]): «На самом деле – ее («войны полов» – *А.Д.*) нет. И никогда не было. Это подтверждает финальный «дуэт согласия» супругов А. Альчук и М. Рыклина, которые, как два нежно воркующих голубка, сходятся в унисоне, завершающем сборник «Женщина и визуальные знаки». Но их разговор ничем не напоминает удалую «песнь свободы», громко звучавшую в большинстве материалов книги. Скорее наоборот, беседа философа с редактором ведется

на интонациях оправдания перед незримым международным «начальством»: дискурсы, пришедшие с Запада, конечно же, чудо как хороши. Да такая вот незадача вышла: у нас возникли проблемы с их использованием в махрово косной России. Увы, не срабатывают дискурсы – особая почва с ее этикой, религией, логикой, не говоря уже об экономике. «М. Рыклин. Пол в России не состоялся. Да, здесь есть женщины, здесь есть мужчины, но проблематика кастрации, связанная с семейным треугольником, проблематика специфически женской реакции на эту кастрацию существует пока только как нереализованная возможность. То есть женщина и мужчина возникают здесь и теперь по каким-то другим законам, которые еще предстоит понять» [5, с. 43].

Негативное отношение к феминизму и феминисткам вызвано еще и тем, что русскоязычный феминизм попросту «пропустил» практическую часть политической работы – то, что Ленин в свое время называл «развитием политического сознания» [9, с. 56]. «Наш» феминизм ассоциируется с чем угодно – с мужененавистничеством, гомосексуальной (лесбийской) ориентацией, отсутствием красоты, а следовательно, непопулярностью у мужчин и т.д., но только не с борьбой за равные права женщин. И это вполне справедливо – ведь женщины в феминистском дискурсе являются лишь категорией «женщины». Для определенных политических нужд необходим вполне определенный политический субъект, поэтому феминизму в политической борьбе не обойтись без женщин.

Если рассматривать критику эссенциализма как критику *нашей* господствующей гендерной идеологии, она, вполне вероятно, может подсказать некоторые практические решения. Что же предлагает антиэссенциализм вместо «фантазматической конструкции»[4] феминистского «мы», созданного путем исключения (а в постсоветских странах, видимо, практически тотального исключения)?

---

4 «Феминистское «мы» – всего лишь фантазматическая конструкция, отвечающая определенным целям, но отрицающая внутреннюю сложность и неопределенность самого термина, и *конституирующаяся только путем исключения* некоторой части того представительского корпуса, который она в то же время стремится представлять» [2, с. 164].

## 2. Между маргинальностью и элитарностью

Как говорилось выше, эссенциалистский субъект конструируется путем работы практик исключения. Этот процесс конструирования закреплен в самом действии механизмов власти (он действует уже на уровне языка). С одной стороны, мы осознаем сконструированность и детерминированность своей позиции как (например) исследователя, т.е. отсутствие *своей* позиции, с другой – понимаем невозможность обойтись хотя бы без минимальной фиксированности своей идентичности: «Прежде чем репрезентация сможет быть распространена на кого-либо, этот «кто-то» должен удовлетворять основному требованию – “быть субъектом”» [1, с. 299].

Как выход из этой амбивалентной ситуации антиэссенциализм предлагает концепции «новой» субъективности – субъективности, стремящейся максимально избежать социального конструирования и давления власти.

Брайдотти предлагает концепцию контекстной идентичности – «культивировать сегодня номадическое, кочевое сознание. Эта форма сознания сочетает в себе особенности, обычно воспринимаемые как противостоящие, а именно ощущение смысла идентичности, базирующееся не на фиксации, а на сложившихся обстоятельствах» [6, с. 154].

Концепция номадического субъекта Брайдотти, идея которого заимствована ею у Делеза, должна по замыслу наделить субъекта потенциалом ускользания. Поэтический язык Брайдотти описывает качества такого субъекта метафорически – такой субъект быстр и неуловим (практиками означивания, а следовательно, и исключения), легко приспосабливаем, живуч (так как быстрее других), коммуникабелен[5] и трансгрессивен, его идентификация ситуативна.

О ситуативности и контекстной зависимости нового субъекта пишет и Батлер. Ее знаменитый тезис о перформативности пола (Батлер пишет о сексуальной идентичности, как о самой соблазнительной для воздействия власти) меняет идентичность субъекта со стационарной, фиксированной на длящуюся, процессуальную: «Само понятие «женщина» оказывается процессу-

---

[5] «Номадическая политика заключается в создании смычек, коалиций и взаимосвязей» [6, с. 159].

альным становлением, о котором нельзя с точностью сказать, где оно берет начало и где заканчивается. Как длящаяся дискурсивная практика, оно открыто внешним воздействиям и изменениям смысла» [1, с. 338].

Однако в отличие от Брайдотти, Батлер не так оптимистична в отношении удобства использования перформативного субъекта в качестве субъекта феминистского. Действительно, для политических целей логичнее репрезентировать некоего целостного субъекта, «так что мы соглашаемся, что и для демонстраций, и для законодательных усилий, и для радикального движения необходимо делать заявления от имени женщин» [3, с. 250]. Однако это влечет за собой все те проблемы, связанные с использованием эссенциального субъекта, которые были описаны выше. Батлер считает, что насколько перформативен, т.е. процессуален, пол, настолько же возможна его деконструкция. Другими словами, пока мы можем позволить себе длящуюся идентификацию, мы можем рассчитывать на все более глубокое «погружение в» и уточнение структур власти, конструирующих и детерминирующих субъектность.

Таким образом, перформативный субъект Батлер, в отличие от состоявшегося[6] (хоть и постоянно убегающего) номадического субъекта Брайдотти, есть не альтернатива эссенциальному субъекту, но своеобразный (анти)политический агент.

Так, только на первый взгляд парадоксально, что в антиэссенциалистской теории субъект конструируется сообразно все той же логике легитимации и исключения. Это очевидно на примере концепции Брайдотти, об этом говорит Батлер, в итоге допускающая возможность обходиться в политической теории и практике без категории субъекта («заявлять, что политика требует стабильного субъекта значит заявлять, что не может быть политической оппозиции этому заявлению» [3, с. 236]).

У Брайдотти субъект конструируется как элитарная номада. Ее описание номадического субъекта по сути есть описание среднего представителя небольшой привилегированной группы западных (но все чаще и постсоветских, номадизму которых препятствует необходимость получения визы) интеллектуалов, биз-

6 Недаром Брайдотти пишет, что осознала свою номадичность, только когда закрепилась на постоянном удачном и в личном, и в карьерном плане месте (см. [6, с. 159]).

несменов, дизайнеров и других специалистов, большую часть времени проводящих вне дома, из-за частых переездов вынужденных часто находиться в транзитных зонах, так поэтично описанных Брайдотти, знающих несколько иностранных языков и т.д. и т.п. Номадические субъекты, по Брайдотти, обладают рядом исключительных завидных качеств, среди которых умения «воссоздавать свой дом где бы то ни было» [6, с. 138], «держать в памяти ускользающие от восприятия карты» [6, с. 139], «ускользать от ассимиляции» [6, с. 157] и т.д. Не логична ли тогда коммодификация такой красивой концепции идентичности, в подтверждение чему попавшийся случайно мне на глаза номер журнала «Интерьер + дизайн» (№ 8/67, 2002) в качестве основной темы предлагал «Дом для номада» с комментариями М. Рыклина?

Понятно, что совокупность таких элитарных субъектов, обладающих номадическим сознанием, которое «состоит в том, чтобы не принимать никакую идентичность как постоянную. Номада <...> никогда полностью не принимает ограничения национальной, фиксированной идентичности» [6, с. 155] создана благодаря *исключению* всех, не настолько «номадичных».

Может быть, мы можем вообще отказаться от попытки идентифицировать/конструировать субъекта для феминистских исследований? Может быть, более честным будет говорить от своего имени, а не от лица совокупности, описывать и анализировать, а не обозначать и переделывать или делить заново, снова исключая тех, от лица которых, собственно, и ведется речь? Мне кажется, что если рассматривать цели феминизма как политические, то вряд ли получится отказаться от политик идентичности и практик означивания и исключения, это наглядно демонстрирует антиэссенциализм, включивший всех тех, кто не попадал под уже существовавшую категорию субъекта, в нее. Это «политика включения» – включения *ранее ускользавших* во властные отношения.

### 3. Об агрессивности нового субъекта

Эссенциалистский тезис о существовании устойчивого набора критериев, по которым конструируется и идентифицируется субъект, другими словами, тезис о существовании некой единой идентичности для всей совокупности (в нашем случае

женщин), тесно связан с тезисом об универсализме патриархатного господства и угнетении женщин. Это – тезисы о субъекте и насилии над ним.

Парадоксальным образом антиэссенциалистская теория выдвигает пару аналогичных суждений – тезиз о множественности идентичностей (перформативности/номадичности субъекта) и контекстуальности идентификации, и тезис о том, что подобный, избегающий насилия субъект, сам становится подчеркнуто агрессивным. Подтверждением этому могут служить слова Брайдотти об агрессивности номады: «Существует прочная связь между номадами и насилием; безжалостность тех, кто не имеет корней, может шокировать. <…> Я думаю, стоит подчеркнуть этот момент, чтобы ощутить *политическую плотность* фигуры номады; работая с таким типом сознания, мы столкнемся с трудными вопросами политического насилия, вооруженного сопротивления, деструкции и влечения к смерти» [6, с. 148]. Практически аналогично проводится этот тезис у Батлер, формулирующей задачу постфеминизма как «определять стратегии подрывного повторения, задаваемого этими конструкциями, утверждать локальные возможности *интервенции* посредством участия именно в тех практиках повторения, которые конституируют индивидуальность и, таким образом, дают имманентную возможность их опровержения» [2, с. 171]. И Батлер и Брайдотти говорят о политических задачах феминизма, т.е. в целом о подрыве существующего порядка вещей, о точечном встраивании в него чужеродных структур (в данном случае об абсолютно другом понимании субъекта – ситуативного/перформативного, приспосабливающегося, «деятельного»; у Брайдотти – «деятельная номада» [6, с. 155], у Батлер – «не должно быть «деятеля после действия», но что деятель поочередно конституируется в действии и через действие» [2, с. 164]).

Таким образом, постфеминизм не отказывается от активной политической позиции, хотя на первый взгляд может показаться, что формулирование новых концепций идентичности – уступка критике феминизма. Существующая проблема, с которой сталкиваются различные политики идентичности, коренится не в господствующих концепциях субъекта. Проблема в том, что силам, заинтересованным в достижении определенных политических целей, удобнее оперировать субъектом, сконструиро-

ванным в рамках собственной теории («Любая теория – о чем говорит само слово – есть программа восприятия»), как политической силой. Причем реальные характеристики группы, от чьего лица выдвигаются политические требования, не важны. Важны характеристики виртуальные, т.е. сконструированные. С этой точки зрения, для «носителя» идентичности абсолютно все равно, какими качествами его наделяют. Но если эти качества не конструируются, как в случае с феминизмом на постсоветском пространстве, где феминистки пытаются выдать женщин за некоего нового современного политического субъекта, при этом не занимаясь никакой реальной практической деятельностью (не занимаясь «политическим» воспитанием), а навязываются (посредством вторичного теоретизирования), – то единственным итогом проведения такой «политики» может стать только полное отторжение всего движения в целом как в академической среде, так и на уровне повседневных практик. Известная лингвист Ревекка Фрумкина в своей статье «Не люблю феминисток» говорит об этом так: «Не читаю феминистских текстов и не размышляю на близкие феминисткам темы. При этом, выражаясь в модных нынче терминах, в своей жизни я довольно-таки полно реализовала феминистский проект» [10, с. 172].

## *Литература*


1. *Батлер Дж*. Гендерное беспокойство // Антология гендерной теории / сост., комментарии Е. Гаповой, А. Усмановой. Мн.: Пропилеи, 2000. С. 297–346.
2. *Батлер Дж*. От пародии к политике // Введение в гендерные исследования / под ред. С. Жеребкина. Спб.: Алетейя, 2001. Ч. 2: хрест. С. 164–173.
3. *Батлер Дж*. Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о «постмодернизме» // Введение в гендерные исследования / под ред. С. Жеребкина. Спб.: Алетейя, 2001. Ч. 2: хрест. С. 235–258.
4. *Батлер Дж*. Чисто культурное // Введение в гендерные исследования / под ред. С. Жеребкина. ЦХГИ, Спб.: Алетейя, 2001. Ч. 2: хрест. С. 289–305.
5. *Березовчук Л*. У феминизма не женское лицо // Октябрь. 2002. № 1.
6. *Брайдотти Р*. Путем номадизма // Введение в гендерные исследования / под ред. С. Жеребкина. Спб.: Алетейя, 2001. С. 136–163.

7. *Бурдье П.* Описывать и предписывать. Заметка об условиях возможности и границах политической действенности // Логос. 2003. № 4–5. С. 33–41.
8. *Жеребкина И.* Женское политическое бессознательное. СПб.: Алетейя, 2002.
9. *Ленин В.И.* Что делать. Наболевшие вопросы нашего движения // Сочинения. Т. 6. С. 29–75.
10. *Фрумкина Р.* Не люблю феминисток // Знамя. 2005. № 6. С. 172–175.
11. *O'Shea J.* Continuity and Change: The Role of Women in Soviet and Transition Russia, MPhil Russian and East European Studies, Cand. Number 17842, The Queen's College Oxford University.

**Anastassiya Dzianishchyk**

## Anti-essentialist Post-feminist Theories of Subjectivity

Summary

The anti-essentialist theories of subjectivity in its post-feminist interpretation with the reference to the concepts of J. Butler and R. Braidotti are discussed in the present article. The article covers the issues of subject construction in the post-feminist tradition, and the main points of the feminist critique againts the essentialist interpretation of the «feminine» subject. It also deals with the problem of such a subject's functioning within academic, as well as within political feminist activities.

**Keywords**: postfeminism, antiessentialism, performative theory of subject, nomad.

*Д.А. Доманский*

# РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В ДИСКУРСЕ НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА

Для Беларуси проблема политики репрезентации молодого государства всегда была актуальной. В данной статье рассматривается современная белорусская национальная культура (в ее государственной ипостаси) как дискурсивный аппарат, репрезентирующий различие как единство и идентичность. Показаны особенности современного белорусского государственного «культурализма» и проанализированы дискурсивно-идеологические приемы, с помощью которых белорусская нация-государство вписывает национальные меньшинства в понятие «белорусского народа».

**Ключевые слова**: национализм, нация-государство, национальные меньшинства, мультикультурализм, репрезентация, медиа.

В начале 90-х гг. XX в., когда научное сообщество почти объявило о кончине национализма и его неэффективности в условиях существования глобального рынка, транснациональных корпораций и мощнейших миграционных потоков, события в Восточной Европе заставили исследователей по-новому взглянуть на проблемы конструирования, репрезентации и принятия национальных идентичностей. По мнению Крейга Колхауна, возрождение дискурса национализма было неизбежно еще и потому, что «национализм – это риторика идентичности и солидарности, в которой граждане современного мира наиболее часто имеют дело с проблематичной природой государственной власти и проблемами включения и исключения» [7, с. 305].

Вслед за политическим возникновением многих молодых государств в результате распада крупных государственных образований, таких как СССР или СФРЮ, перед новыми государствами остро встала проблема самолегитимации и символического признания. Для Беларуси проблема становления политики репрезентации молодого государства также была актуальной. Подобную ситуацию, когда новая доминантная группа вынуждена с нуля создавать собственную метариторику, описывает П. Терешкович в своей статье «Конструируя прошлое: исторические ресурсы современных национально-государственных идеологий (Украина и Молдова)». Цитируя Э. Геллнера, автор стремится показать, как современные национально-государственные идеологии Украины и Молдовы пытаются решить проблемы признания меньшинств и защитить собственную самость от прежних доминирующих дискурсов, реактивизировавшихся в роли меньшинства, особенно опасного, поскольку работа по воображению этой группы велась гораздо дольше и интенсивнее [4, с. 21]. Анализируя «программные» произведения, репрезентирующие национально-государственные идеологии этих стран, автор указывает на совпадения в нарративах, особым образом построенных вокруг специально сконструированного ряда исторических событий. Через образы «былого величия нации» и «светлого будущего», противопоставленные «убогому настоящему», преодолевается ощущение «случайности» исторических событий, сложившаяся ситуация представляется как «закономерная» и единственно возможная. Главным действующим лицом этой истории выступает новая доминантная группа. Если апология этой группы никак не может обойти вопрос о национальном меньшинстве, тогда применяются особые практики репрезентации, о которых пойдет речь в этой статье.

Нация как воображаемое сообщество – такое представление о нации получило после выхода известной работы Б. Андерсона широкое распространение в академической среде, и особенно среди исследователей культуры. Большинство из авторов, чьи работы здесь упоминаются, разделяют идеи Андерсона. Так, в своем «Введении в культурные исследования» Э. Болдуин предлагает рассматривать географию процесса конструирования воображенного сообщества нации через национальную культуру с двух сторон: «Во-первых, со стороны практик создания на-

циональной культуры на всем пространстве нации-государства; во-вторых, со стороны роли ландшафта в изобретении и отстаивании национальной идентичности» [6, с. 159]. В настоящей статье мы намерены, опираясь на работы таких исследователей, как С. Холл и А. Аппадураи, последовать по первому пути и рассмотреть, как в Беларуси происходит самолегитимация официального дискурса через «национальную культуру» и какое место в системе репрезентации белорусской нации-государства государственными медиа порой занимают национальные меньшинства.

Тему репрезентации нации как единой культурной общности поднимает Стюарт Холл в своей работе «Вопрос культурной идентичности». Национальные идентичности не являются, по мнению автора, натуральными, генетическими, хотя и задают для субъекта «точку сборки» собственной идентичности. Национальная идентичность, по Холлу, формируется и трансформируется в связи с репрезентацией. «Нация не только политический субъект, но нечто, производящее значения – система культурной репрезентации», – утверждает С. Холл [8, с. 612].

Национальная культура выступает как дискурс, в котором создаются смыслы «нации», с которой можно идентифицироваться: истории, представления (*images*), вопоминания и т.д. С. Холла интересует, как разворачивается нарратив национальной культуры, какие репрезентационные стратегии идут в ход для создания общих для всех признаков национальной принадлежности и идентичности. Во-первых, говорит Холл, нарратив нации складывается из совокупности историй, образов, сценариев, исторических событий, которые являются общими для воображаемых сообществ. При этом акцент ставится на истоках, преемственности, традиции этих элементов, которые предстают чуть ли не вечно существующими, вневременными. Традиции, в свою очередь, имеют тенденцию самоутверждаться за счет того, что кажутся старше, чем есть на самом деле – то, что Э. Хобсбаум называет изобретением традиции. Особую важность в этой связи приобретает «основополагающий миф» – история народа всегда «восходит к незапамятным временам», пусть это не всегда соответствует исторической реальности. В качестве еще одной дискурсивной стратегии С. Холл называет идею чистокровного, исконного народа. Этот национальный дискурс помогает идентич-

ности локализоваться во времени между прошлым и будущим, а также в культурном пространстве.

Деконструируя идею «национальной культуры», С. Холл находит причины полагать, что национальная культура не объединяет различия. Во-первых, многие нации состоят из различных, даже противоборствующих культур; во-вторых, нации состоят из классовых, половых, этнических групп; в-третьих, многие характеристики западных наций были сформулированы после контакта с колониальными нациями. Холл предлагает рассматривать национальные культуры как дискурсивные аппараты, которые репрезентируют различие как единство и идентичность. Особенно верна, на наш взгляд, такая формулировка как в отношении наций-государств в целом, так и в отношении белорусской нации-государства, которой особенно сложно избегать разговора о национальных меньшинствах, описывая свою территорию в различных терминах транзитивности: как место встречи цивилизаций, территорию, где лежит «путь из варяг в греки», и т.п.

По отношению к миноритарным дискурсам, как указывает В. Грисволд, государства (и другие представители дискурса власти) «...связаны обязательствами признавать и, возможно, принимать культурные различия, создавая общую культуру... которая успешно заявляет об основополагающей лояльности каждого гражданина» [9, с. 106]. Однако на практике признание культурных различий официальным дискурсом часто имеет характер отрицания культурных различий и дистанцирования от них, подобно тому как новый расизм у Р. Салецл «защищает расистские меры как средства борьбы с расизмом» [10, с. 88]. Например, когда развитие диалога конфессий и их государственная поддержка де факто носят характер патронажа государства по отношению к одной, доминирующей конфесии.

Самолегитимация государства на своем первоначальном этапе требовала целого ряда модернизационных мероприятий. К ним мы относим, в первую очередь, попытки создания нарратива белорусской нации, который бы гармонировал с тем, что В. Акудович называет большим европейским нарративом (см. [1]). Успешное функционирование такого нарратива могло существенно упростить пути обретения европейски ориентированной идентичности, социального раскрепощения субъекта,

построения гражданского общества. Репрезентация нации – это репрезентация культурной общности, а такая культурная общность, как нация, по О. Бауэру, формируется в горниле народного образования, воинской повинности и участия в демократических процедурах [2, с. 65]. Эту триаду применительно к современным условиям можно дополнить медиа, которые, особенно в деле репрезентации воображаемого сообщества, играют ключевую роль. О медиа и «модернити» говорит А. Аппадураи [5], чьи идеи мы считаем очень продуктивными для анализа репрезентации национальных меньшинств в дискурсе нации-государства.

Проект «модернити» в Беларуси своеобразным образом сосуществует с различными архаическими и постмодерными элементами. Тем не менее, говоря словами А. Аппадураи, даже с тем прошлым, чье влияние еще сильно в белорусском обществе, можно определить разрыв. В сфере медиа он особенно заметен. Разрыв с прошлым происходит не в каком-то определенном «модерном моменте», а на сдвиге, давая при этом возможность, за счет глубоких технологических изменений возникнуть особому типу трансформации повседневности, вызванному развитием электронных медиа [5, с. 7].

В деле этой трансформации ведущую роль играет работа воображения. Это «конститутивная черта модерной субъективности», испытывающая влияние, с одной стороны, электронных медиа, а с другой стороны – процессов миграции. В результате воображение носит коллективный характер. Иными словами, работа воображения происходит в детерриториализированных мигрирующих сообществах и своим продуктом имеет множество различных миров. Разумеется, для полноценного создания множества различных миров необходимо наличие свободных СМИ, о чем в Беларуси пока говорить не приходится. Тем не менее сами государственные СМИ предоставляют отличную возможность поглубже разобраться и показать на примере, что такое повседневная культурная практика работы воображения.

Микронарративы медиа разрушают «метариторику классической модернизации» [5, с. 12], т.е. монистический однородный дискурс нации-государства. Причем метариторика одна, а микронарративов, особенно в обществе с развитыми гражданскими структурами как представителями определенного группо-

вого интереса – множество, т.е. множество альтернативных дискурсов, воображаемых самостей, претендующих на признание.

В этих условиях, возможно, действенным выходом для медиа, артикулирующих такую метариторику, было бы (как это реально происходит в современном белорусском официальном медиапространстве) одинаково недостаточное признание всех нарративов в форме, снимающей остроту вопроса о различии, симуляция форм признания. Это является важной особенностью современного белорусского государственного культурализма – «политики идентичности, мобилизованной на уровне нации-государства» [5, с. 15].

Как будет показано ниже, белорусская нация-государство мобилизует культурный материал особым образом: берет его в упрощенной, мифологизированной форме и обобщает, вернее, присоединяет к обезличенному, т.е. по-советски интернационализированному собственному образу. Собственный образ выстраивается через образ белорусского народа, восходящий к образу советского.

Примерами визуализации ценностей, лозунгов и символов нации-государства могут служить видеоклипы на гимн Республики Беларусь, которые транслировались в последние несколько лет по государственным каналам. Возьмем для анализа два ролика, где присутствует хор, и одну заставку, где хор отсутствует, зато представлены различные виды Беларуси – ландшафты, замки, городские панорамы. На наш взгляд, эти ролики вряд ли специально создавались в рамках последовательного проекта по формированию новой «национальной идентичности». Скорее всего, идея очередного клипа просто озвучивалась «сверху» или была продиктована сложившимися обстоятельствами. Тем не менее во всей интуитивности официального подхода к репрезентации национально-государственной идеологии есть наивность и прямолинейность, образ «соответствует» собственно реальному объекту, и весь замысел лежит на поверхности.

Простейшим вариантом репрезентации национально-государственной идеологии является «нарезка» картинок ландшафтов Беларуси, исторических мест и т.п. Изобретение и отстаивание национальной идентичности через ландшафт – это способ утверждения связи с территорией, которая наделяется

рядом значений через интерпретацию исторических событий, связанных с этой территорией, символизацией ряда мест и типа ландшафта (например, болота). Причем, как замечает Э. Болдуин, «территории, места и ландшафты сами по себе не так важны, как их репрезентации» [6, с. 162]. Это способ воображения территориальной общности: подобно тому, как все члены конкретного национального сообщества не могут быть все знакомы между собой, точно так же они могут лишь воображать все места и ландшафты, которые связывают их с другими членами сообщества. Медийная репрезентация этих мест и ландшафтов – средство для трансляции образов, в которых следует представлять себе Беларусь. В этой непродолжительной заставке пристствует попытка показать, говоря словами из газеты «Республика», свое, белорусское как что-то «...особенное, неповторимое... Как материальное – то, что можно увидеть и к чему можно прикоснуться, будь то вековечная Каложа или королевские замки, так и другое, что имеет духовную ценность: легенды и были, неординарные события, которые в генетической памяти поколений не менее реальны и значимы, чем памятники материальной культуры». Однако в этой заставке со всей ее привязанностью к «белорусскому ландшафту» нет места ни для одного национального дискурса, кроме белорусского национально-государственного. Это исключает фигуру «народа», на которую широко опирается официальный дискурс.

Иными словами, такой ролик никак не репрезентировал собственно агентов воображения, или, скорее, самовоображения. Рассмотрим клип, которым одно время сопровождалась трансляция белорусского государственного гимна, где толпа людей с флажками исполняет гимн на склоне холма у Кафедрального собора в Минске. Этот вариант нам представляется переходным по отношению к предыдущему – Кафедральный собор выполняет роль символического ландшафта, репрезентирует духовные ценности, определенную традиционность и в то же время через барочность архитектурных форм ссылается на европейское наследие, т.е. активирует миф о центре Европы, перекрестке цивилизаций и т.п. В то же время большое внимание уделяется и хору: хор этот из-за темной одежды поющих, кроме как места, где он стоит и флажков в руках, никак не определяет сябя как белорусов. Белорусский народ представлен в виде однородной

массы и о репрезентации национальных меньшинств речь также не идет. Военный оркестр, под аккомпанемент которого исполняется гимн, явно символизирует государство, которое пока не маскируется под «народ», а его присутствие словно говорит о символическом авторстве: «слова – народные, музыка – государственная». Возможно, пока что здесь просто «оживляется» белорусский гимн путем вложения в уста живых людей и интуитивно нащупывается путь к репрезентации белорусского народа через визуальные образы.

Как видим, в этих двух примерах образ белорусского народа не был выведен как нечто самодостаточное, на чем возможно основывать риторику национальной идентичности, не вторгаясь без нужды в дискурс о европейском пути, но изобретая такой образ народа, который сочетал бы в себе, с одной стороны, глобофобию как гарантию изолированности этого дискурса, а с другой стороны, был бы достаточно интернациональным во избежание упреков в национализме, т.е. в том, в чем до сих пор обвиняли только оппозицию.

На фоне этих визуальных продуктов выделяется клип, где хор исполняет гимн в студии. В составе хора мы видим людей в национальных костюмах, которые, несомненно, обращают на себя внимание и заставляют задуматься, зачем они понадобились в этом клипе, какова их функция? Фигурки людей в национальных костюмах в советских учебниках служили для иллюстрации не столько культурного разнообразия советского народа, сколько для иллюстрации его культурного богатства; в этом клипе, возможно, преследуется цель задания системы координат внутри белорусского народа и помещения в нее национальных меньшинств.

Возможно, клип этот создавался во время информационного отстраивания от России, спекуляции на проблемах «социальных уродств» капитализма, терроризма, отсутствия войны, одним словом, дешевой игры на контрасте с соседним государством и медийного артикулирования этого контраста. В данном случае налицо стремление донести до телезрителей как заслугу государства тот простой факт, что в Беларуси несколько десятков национальностей мирно уживаются и якобы вместе образуют единый белорусский народ. Метафора белорусского народа в

этом ролике – это такая метариторическая фигура, на которую опирается белорусский государственный культурализм.

Принадлежность к иным этническим группам визуализирована через национальный костюм. Национальный костюм парадоксальным образом выступает в качестве того различия, на основе которого создатели клипа пытаются провести визуальное различие между этническими группами. Но в пестроте строев, красок и лиц эти различия превращаются в какой-то карнавал, «национальный салат». В национальном костюме, или в обращении к нему, есть обращение к традиционности. Через традиционность мы напрямую выходим к толкованию национальных различий как природных, вневременных, имеющих первичное значение [8, с. 614]. Такая дискурсивная стратегия ведет к мифологизации этнических групп, сведению их своеобразия, сложности и претензий на признание к репрезентации через национальный костюм. При этом на русских, например, которых по данным переписи 1999 г. проживало в Беларуси не менее 11%, приходится два человека – в мужском национальном костюме и женском, как и на другие этнические группы (некоторые, правда, с детьми). Это значит, что внутри такого воображаемого сообщества, как белорусский народ, любые другие национальные дискурсы равны между собой и подчинены доминирующему дискурсу в одинаковой мере.

А какую этническую группу представляют люди в концертных костюмах? Если это специально не тематизировать, то именно они и «проходят» как белорусы (подобно неизвестному солдату в примере Б. Андерсона [2]).

Анализ клипов позволяет нам заключить, что белорусский культурализм есть политика идентичности, мобилизованная на уровне тоталитарной нации авторитарного государства.

Перед нами образец ложной, национально-ориентированной денационализации, когда в визуальном ряду постулируются (мифологизированно) национальные различия, которые широким обобщающим жестом уравниваются как таковые, т.е. не как отличия друг от друга, а отличия от доминирующей культуры, и тут же приносятся в жертву новому единству – белорусскому народу, которое, представляя традиционность меньшинств, прячет за ней собственную традиционность и пытается предстать в виде некоего модернизационного проекта по отношению ко

всем ним в равной мере. В такой культурной группе, как белорусский народ нет «свободы выхода и ассоциации».

Разумеется, эти попытки, как это убедительно показывает А. Аппадураи, оказываются несостоятельными перед лицом собственного воспроизводства соседских общин, т.е. «расположенных в определенных условиях сообществ, характеризующихся своей действительностью, будь то пространственной или виртуальной, и потенциалом социального воспроизводства» [5, с. 179]. «Для проекта нации-государства соседские общины представляют собой вечный источник энтропии и упадка» [5, с. 191]. При предельном развитии медиа, представляющих альтернативный по отношению к национально-государственному групповой интерес, в сложившемся многоголосии национально-государственному дискурсу будет все сложнее сохранять гегемонию.

Подводя итог, следует еще раз отметить парадоксальность ситуации, заключающуюся в том, что в настоящее время белорусское государство активно конструирует такой национальный дискурс, в который, с одной стороны, интегрируются различные культурные меньшинства, проживающие на территории белорусского государства, а с другой стороны, они все, растворяясь в метафоре «белорусский народ», поневоле становятся представителями белорусской культуры. Вследствие этого белорусская культура представляется как совпадающая в своей «точке сборки» с белорусской нацией, которая четко выраженной культурной идентификации не имеет. Очевидной представляется ориентация активности доминантной группы на выстраивание дискурса, обеспечивающего совпадения национальной и гражданской самоидентификации граждан, что в эпоху глобализации и космополитизма, открытого и мобильного общества, господства средств коммуникации представляется уже мало осуществимым, о чем и говорят авторы, чьи мнения приводятся в этой статье.

### *Литература*

1. *Акудовіч В.* Разбурыць Парыж // Фрагмэнты. 2000. № 3–4.
2. *Андерсон Б.* Воображаемы сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс, 2001.

3. *Бауэр О.* Национальный вопрос и социал-демократия. // Нации и национализм / под ред. Андерсона. М.: Праксис, 2002.
4. *Терешкович П.* Конструируя прошлое: исторические ресурсы современных национально-государственных идеологий (Украина и Молдова) // Перекрестки. 2005. № 1–2. С. 5.
5. *Appadurai A.* Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization. University of Minneapolis Press, 1996.
6. *Boldwin E.*, *Longhurst*, *B. Smith G.* and al. Introducing Cultural Studies. Pearson Education Ltd, 2003.
7. *Calhoun C.* Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and Self-Determination // Calhoun, C., (ed). Social Theory and the Politics of Identity, 1994.
8. *Hall S.* The Question of Cultural Identity in Hall, S., Held, D., Hubert, D., and Thompson K. (eds). Modernity: An Introduction to Modern Societies. Cambridge: Polity Press, 1995.
9. *Griswold W.* Cultures and Societies in a Changing World. Pine Forge Press, London, 1994.
10. *Salecl R.* The Ideology of the mother Nation in the Yugoslav conflict in Kennedy M. (ed). Envisioning Eastern Europe: Postcommunist Cultural Studies, 1997.

**Dmitry Domanski**

## National Minorities' Representation in the Discourse of Nation-State

Summary

The politics of representation of the young state has always been a matter of attention for Belarus. The subject of this article is modern Belarusian national culture (it's presentation by Belarusian officials) as a discourse machine, which represents difference as unity and identity. The peculiarities of modern Belarusian state «culturalism» are shown, and the discourse and ideological tactics of Belarusian nation-state for putting national minorities into the shape of «belarusian people» concept.

**Keywords**: nationalism, nation-state, national minorities, multiculturalism, represemtation, media.

*И.Н. Инишев*

# ГАДАМЕР, ХАБЕРМАС И ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Постметафизическая философия последних десятилетий позиционирует себя как практическая философия. Такое институциональное самосознание постметафизического мышления – закономерное следствие последовательного развития его основополагающих принципов, таких как ситуативность, детрансцендентализация и дискурсивность. Наиболее полно этот тренд находит свое воплощение в философской герменевтике и теории коммуникативного действия. В обеих концепциях теория и практика образуют единое целое, проистекающее из автореферентности и особой топики этих разновидностей постметафизической мысли. Философская герменевтика и теория коммуникативного действия дополняют друг друга и предлагают комплементарные сценарии будущего философии.

**Ключевые слова**: постметафизическое мышление, формальная прагматика, философская герменевтика, идея практической философии.

## 1. Введение: постметафизическое мышление и практическая философия

Постметафизическая эпоха, наступление которой провозгласил Ю. Хабермас, заключает в себе – как и любая смена исторических вех – взаимосвязь отрицания и утверждения. Что она отрицает, названо в ее именовании. Что она утверждает, находит свое выражение в разнообразных проектах будущей философии, обреченной претерпеть серьезные трансформации.

Борьба за будущее философии, развернувшаяся в последние десятилетия, ведется историко-философскими средствами: формирование определенного взгляда на перспективы философии тесно связано с определенной (претендующей на эксклюзивность) интерпретацией ее прошлого и настоящего. В этом, пожалуй, состоит один из парадоксов идеи постметафизического мышления, как ее формулирует Хабермас. Утверждая принципиальную «ситуативность разума» и, следовательно, плюрализм его форм, неметафизический способ мыслить, похоже, не в состоянии отказаться от остатков присущего метафизике когнитивного тоталитаризма, находящего теперь свое выражение в стремлении к глобальному историко-философскому позиционированию. Эти метафизические реминисценции (как и ряд других обстоятельств) указывают на переходный характер постметафизической мысли, а также на то, что о ней следует говорить, скорее, как о возможности и *задаче*, нежели как о свершившемся факте. Это положение дел не только налагает известные ограничения на радикализм самосознания постметафизической философии, но и придает ей соответствующий профиль – профиль практической философии.

В дальнейшем я рассмотрю две философские концепции, демонстрирующие многомерность прагматических, или «практико-философских», импликаций постметафизического мышления: философскую герменевтику и теорию коммуникативного действия. Многомерность состоит здесь в том, что обе эти концепции не только *косвенно* (в силу формальной принадлежности к постметафизическому проекту), но и *содержательно*, а также *институционально* демонстрируют существование и действенность практического тренда в современных философских исследованиях.

Я начну с содержательного, или «имманентного», аспекта практико-философских импликаций герменевтики и теории коммуникативного действия (2), чтобы затем перейти на «институциональный» уровень и сопоставить их теоретические позиции в вопросе обоснования постметафизического мышления как практической философии (3).

## 2. Коммуникация, интерпретация, действие: «имманентный прагматизм» современных философских концепций

К числу базовых «постметафизических» черт философской герменевтики и теории коммуникативного действия относится, прежде всего, утверждение взаимосвязи языкового (или дискурсивного) и практического (или прагматического) аспектов нашего опыта. Взаимосвязь эта носит *не фактический и функциональный, а сущностный и структурный характер*. Это значит, что практический эффект и прагматическое измерение всегда уже «имплантированы» в понятийное мышление и дискурс. Очевидно, что этот тезис, подразумевающий пересмотр традиционного понимания соотношения теории и практики, базируется на определенной концепции языка, соответственно, на определенной трактовке соотношения мышления, языка и социального действия. Эта концепция языка, основывающаяся на результатах двух – взаимосвязанных – «поворотов» в современном философском мышлении: лингвистическом и прагматическом, исходит из взаимосвязи двух, ранее различавшихся функций языка: репрезентативной (или когнитивной) и коммуникативной (или прагматической). Иными словами, речь идет *о структурном единстве теорий значения, взаимопонимания и действия*.

Философская герменевтика Гадамера и универсальная языковая прагматика Хабермаса единодушны, по меньшей мере, в утверждении диалогической природы языка. Этот тезис не столь тривиален, как кажется. То, что язык служит репрезентации мира и межличностному общению, факт общеизвестный. Однако утверждение, согласно которому «коммуникативное использование» языка – это не что иное, как *первичная форма опыта языка в полноте его потенций и функций, включающих в себя, помимо прочего, определенный род действий*, выходит за рамки общепринятых представлений. Свое разъяснение это утверждение находит в основных положениях теорий значения, которые были разработаны в философской герменевтике (2.1) и универсальной языковой прагматике, являющейся «лингвистическим» основанием теории коммуникативного действия (2.2).[1]

[1] Если мы исходим из идеи *единства* языкового и практического измере-

### 2.1. Философская герменевтика

С точки зрения философской герменевтики смысл, или значение, – это не данность, а событие, или процесс. Этот процесс заключает в себе такие взаимосвязанные элементы, как (a) раскрытие, или «понимание», мира и (b) интерпретация. К ним добавляется третий, в котором как раз и манифестируется вышеупомянутая «имманентная прагматичность» значения. Речь идет об аппликации (c). Во взаимосвязи этих трех элементов, составляющих *единство* значения, находит свое выражение взаимосвязь когнитивного, коммуникативного и прагматического измерений герменевтической концепции языка.

**(a)** Первый элемент – раскрытие мира – следует понимать не столько в «креационистском», сколько в когнитивном значении. Речи присуща не только функция репрезентации всевозможных положений дел, доступных и иным, внеречевым образом. Совершенство речи и языка – это не совершенство инструмента, главная и единственная задача которого – полное и максимально нейтральное *отображение* «объективного мира» и «субъективных переживаний». В языке происходит *прирост* «сущностных характеристик» выражаемого положения дел, доступного и в иных, невербальных формах опыта. «Прирост» при этом подразумевает не *добавление* новых характеристик к тем, что были получены «ранее» иным, внеязыковым образом, но – коренное *преображение* всего опыта соответствующей «вещи». В этом отношении, вербализация – это не технический компонент, но форма и среда исполнения процессов мышления. Следовательно, в случае «вербализации» речь идет о *качественном* приросте *знания*. «Качественный скачок» обеспечивается переводом когнитивных усилий в иную, а именно *языковую плоскость*. Этот «перевод» следует рассматривать не как альтернативу процесса познания, а как его цель и последовательное завершение. Эпистемологический эффект речи иллюстрирует герменевтическая трактовка «выражения», нацеленная на придание ему первоначального, т.е. неоплатонического, смысла. Неоплатонический смысл «выражения» заключается в том, что оно трактуется как *процесс самообнаружения*, *как изначальное бытие* «выраженного», т.е. как *эманация,* а не как своего рода

ний, то такое единство должно быть обнаружено уже на самом элементарном, *семантическом* уровне языкового опыта.

трансакция, или перевод некой «субстанции» из одной сферы в другую. Эманативно трактуемое «выражение» – это *не процесс оформления* уже существующей «субстанции», а процесс ее *формирования*. «Выражение» в этом случае тематизируется в перспективе реципиента, а не продуцента. Выражение здесь следует понимать с точки зрения «впечатления», которое оно производит, т.е. с точки зрения оставляемого им «оттиска», который и являет собой *изначальное бытие выражаемого*.

Таким образом, в основе эманативной концепции языка лежит тезис об отсутствии субстанциальных различий между (перцептивным) опытом и речью. Это «неразличение» – единство выражения и выраженного – в структурном отношении идентично «эстетическому неразличению» произведения искусства и его интерпретативной репрезентации. И в том, и в другом случае выражение, или репрезентация (*Darstellung*), – это то, что составляет изначальное «бытие сущего». «Действительность языка» состоит «как раз в том, что он являет собой не формальную силу и способность, но опережающую охваченность всего сущего его возможным обретением речи». Другими словами, «язык в меньшей степени – язык человека, нежели – язык вещей» [2, с. 72–73]. В этом отношении в сфере языкового опыта (а языковой, или символический характер, с точки зрения Гадамера, имеет *весь* человеческий опыт) невозможно провести различие между продуктивным и репродуктивным аспектами языка, между миром и языком.[2]

Парадигматическая функция эманативно понимаемого «выражения» в философской герменевтике с неизбежностью ведет нас ко второму элементу смыслового процесса – к интерпретации.

**(b)** (Речевое) выражение, будучи *эманацией*, соответственно, изначальным *бытием* выраженного, включает в себя интерпретатора или «сообщество интерпретаторов» в качестве своего *структурного* компонента.[3] В чем заключается эта «структур-

2 «Не только мир является миром лишь потому, что он обретает язык. Подлинное бытие и присутствие языка состоит лишь в том, что в нем репрезентируется мир. Следовательно, изначальная человечность языка означает вместе с тем изначально языковой характер человеческого бытия-в-мире» [1, с. 447].

3 Ср. со структурной функцией зрителя в событии эстетической репрезентации.

ность» интерпретатора, что означает она для его «самосознания» и почему он имплицирует «коллективность»?

«Интерпретация» в философской герменевтике – это, прежде всего, термин, *конкретизирующий* универсальные онтологические предпосылки, эксплицированные в ориентации на феномен эманативной репрезентации, или выражения. Присутствующее в идее эманации (и имеющее для нее основополагающее значение) напряжение между всеобщим и индивидуальным обретает в «интерпретации» свою феноменальную *манифестацию* и понятийную *артикулированность*. Включенность интерпретации в любой – как перцептивный, так и вербальный – опыт конкретизирует присущий ему эманативный характер. (Языковая) интерпретация – одна из тех редких форм «свершения», в которых индивидуальное и всеобщее опосредуется таким образом, что индивидуализация всеобщего ведет не только к его конкретизации и, соответственно, артикуляции, но и к «приросту его бытия». Будучи неотъемлемой частью процесса, в котором исполняется эманация *мира*, интерпретация выходит за рамки своего первоначального – субъективистского – понимания, поскольку мир в эманативной интерпретации не отображается, или «попросту истолковывается», но *формируется и обнаруживает себя*. Другими словами, «для себя бытие» мира – это всегда его – то или иное (зачастую нерефлексивное) – для нас бытие. Единственно возможной формой *эманативного* «для *нас* бытия» мира является диалог как единственно возможная форма *исполнения* интерпретации, поскольку только в диалогической – нацеленной на взаимопонимание – речи партикулярное слово заключает в себе отношение к смысловому целому, которое и являет собой эманацию мира. «Любое слово как бы вырывается из среды и относится к целому, посредством которого оно только и является словом. Любое слово заставляет звучать целое языка, к которому оно принадлежит, и заставляет обнаружиться целостность мировоззрения, лежащую в его основании. Поэтому каждое слово, будучи свершением своего собственного мгновения, позволяет соприсутствовать тому, что не было сказано, т.е. тому, к чему оно относится, отвечая и намекая» [1, с. 462].

Присущая (диалогическому) языку диалектика единого и многого, сказанного и того, что должно быть высказано, поясняет, в чем именно еще может состоять оправдание традицион-

ного притязания философии на универсальность в постметафизическую эпоху «ситуированного разума». «Лишь среда языка, относящаяся к целому сущего, опосредует конечно-историчное существо человека с ним самим и с миром» [1, с. 461].

Таким образом, язык с точки зрения герменевтики, с одной стороны, отличается *медиальностью*, характеризующей его как среду самообнаружения мира и самости, с другой стороны – *диалогичностью*, подчеркивающей принципиально интерпретативный и коммуникативный характер этого самообнаружения. Однако что именно, т.е. *какого рода действие* подразумевается под интерпретацией, и что за совершенно новое измерение опыта мира открывает язык, становится, возможно, яснее, если принять во внимание последний и, пожалуй, решающий, элемент смыслового процесса: аппликацию, или применение.

**(с)** Само выражение «применение», казалось бы, недвусмысленным образом указывает на «очевидные» «прагматические импликации» этого элемента «герменевтического процесса». Вполне убедительной может показаться такая интерпретация «применения», согласно которой этот термин подразумевает *адаптацию* подлежащего пониманию смысла к исторической или жизненной ситуации интерпретатора. Будучи «по-своему» верной, подобная интерпретация, тем не менее, таит в себе фатальное недоразумение. Оно состоит в (категорическом) разделении «семантической» и «прагматической» плоскостей интерпретативной работы. Примером этого разделения может служить различение между интерпретацией морально-философского или религиозного текста, осуществляемой в «нормальной» установке читателя, и его использованием в педагогических или назидательных целях. Подразумеваемое в этом различении *трансцендирование* языка идет вразрез с намерением Гадамера выступить с обоснованием идеи универсальности языкового измерения *всего* нашего опыта. Следовательно, лежащий на поверхности смысл выражения «применение», скорее, скрывает подлинное прагматическое измерение диалогической речи. Гадамер рассматривает применение «как интегральную составную часть герменевтического процесса». Он не только подчеркивает внутриязыковой характер применения, но и связывает экспликацию прагматического аспекта понимания с экспликацией его понятийного и языкового аспекта. Говоря иначе, прагматическая

сторона понимания, с точки зрения Гадамера, не только не может быть отделена от языковой стороны, но, напротив, связана с ней *непосредственным* образом. Это находит свое выражение в том, что для Гадамера «применение – такая же интегральная составная часть герменевтического процесса, как понимание и истолкование» [1, с. 313].

И все же в чем именно состоит взаимосвязь интерпретации и действия в герменевтике Гадамера, какое именно действие при этом подразумевается?

Специфику этого действия подчеркивает и то обстоятельство, что, говоря о языке, и, соответственно, об интерпретации как среде обнаружения *мира* (!) и самости, Гадамер ориентируется на достаточно ограниченный круг языковых феноменов, таких, как лирическая поэзия, определенные разновидности философии и дружеский диалог. По мнению Гадамера, специфика этих языковых форм состоит в демонстрации *структурного* единства некогда разделяемых языковых функций: репрезентирующей (т.е. раскрывающей мир и вместе с тем когнитивной), коммуникативной и прагматической. Однако этот тезис кажется противоречивым именно ввиду «эксклюзивности» и даже известной «маргинальности» перечисленных языковых практик, наделяемых *парадигматическим*, т.е. в известной мере *универсальным* статусом. Это противоречие можно сформулировать в форме вопроса: как что-то исключительное может репрезентировать что-то универсальное и как что-то маргинальное и подчеркнуто языковое способно свидетельствовать в пользу первоначального единства познания, коммуникации и действия? Ключевую роль в разрешении этой апории способна сыграть основополагающая для феноменологической философии идея *нерегиональности*. Нерегиональным характером отличаются те (медиально-трансцендентальные) *сферы* опыта, в которых осуществляется первоначальное раскрытие мира. Нерегиональность, или сферичность, *опыта* подразумевает прежде всего континуальность во всех направлениях, которая, очевидно, не может быть континуальностью зрения, но лишь – диалогической *речи*. Партикулярность ситуативной диалогической речи «снимается» ее внутренним отношением к *целому* языка, т.е. к целому того, что должно быть высказано. Событие (поэтической, диалогической и философической) речи как событие мира

покоится на единстве процессуальности и универсальности, логически возможном лишь в рамках идеи «нерегионального», репрезентируемой «подлинным диалогом». Регионализация и сегментация возможна лишь по отношению к чему-то уже совершившемуся, соответственно, *данному*. Само же свершение целого, места всех мест, т.е. мира не может быть локализовано. Генезис принципиального условия возможности места сам не может «иметь место».

Событие диалогической речи, как оно совершается в поэзии, философии, герменевтическом, отличающемся самозабвенной погруженностью в само обсуждаемое, диалоге, обладает своей собственной, *нерегиональной пространственностью*. По наблюдению Гадамера, в диалогическом событии языка «мгновенно расширяется пространство. И это не даль какого-то «там» ширит пространство. Тут восходит пространство, в котором нечто утверждается как существующее» [3, с. 411–412].

Специфическая пространственность или, вернее, *сферическая экстенсивность* речи, в которой смыкаются *универсальность* мира и *ситуативность* человеческого существа, заключает в себе парадоксальное соотношение общего и особенного, которое мыслится уже не как их *логическое противопоставление*, но, напротив, подразумевает их *феноменальную связь*. Поэтому *практический эффект* интерпретации религиозных, поэтических и философских смыслов состоит в изменении констелляции нерегионального измерения диалогического языка, служащего источником как теоретического, так и практического самосознания отдельного человека и отдельного общества. Применение, действие или практика в рамках этого измерения не может иметь того значения непосредственности, которое мы имеем в виду, когда говорим, например, о применении знания «на практике», поскольку в этом случае речь идет о своеобразном транспонировании, предполагающем взаимодействие различных «онтологических» регионов. Непосредственно практический и экзистенциальный эффект применения в рамках подчеркнуто языкового опыта Гадамер демонстрирует на многих примерах, в том числе и на примере возвещения, являющегося, помимо прочего, важнейшей составной частью практики законоприменения и христианской проповеди: «Возвещение не есть всего

лишь оповещение, но как таковое оно есть действие, которое вместе с тем что-то меняет» [3, с. 415].

### 2.2. Универсальная языковая прагматика

Взаимосвязь семантической и прагматической плоскостей опыта мыслит и Хабермас в своем проекте универсальной языковой (или формальной) прагматики, цель которой – «идентифицировать и реконструировать универсальные предпосылки возможного взаимопонимания» [8, с. 353]. Подобно Гадамеру, он настаивает на структурном характере связи между семантикой и прагматикой. Эта «структурность» имеет в концепции Хабермаса несколько аспектов, или уровней. Она подразумевает: (a) взаимосвязь вопросов значения и значимости, (b) интегральную и координирующую функцию языка в контексте социальных практик и (c) значение опосредованной языком интеракции для дифференциации, соответственно, рационализации жизненного мира, или общественной жизни. Таким образом, структурная взаимосвязь действия и языка воспроизводится у Хабермаса в трех «онтологических» плоскостях: (1) речи, или мышления, (2) социальной интеракции и (3) отношения к – объективному, социальному и субъективному – миру.

Вместе с тем, как мне представляется, воображаемое прохождение этих трех уровней сопровождается у Хабермаса все нарастающим трансцендированием языка, которое, как может показаться, противоречит его солидарности с герменевтической трактовкой языка не как инструмента, а как медиума коммуникации. Тем не менее этот момент прогрессирующего трансцендирования не следует расценивать как противоречащий радикально «лингвистической» ориентации формальной прагматики. Напротив, он «имплантирован» в формально-прагматическое понимание языка и более того, как я попытаюсь показать ниже, играет позитивную роль в осмыслении *языковой* природы *всей* человеческой практики. Но начну я с ряда кратких пояснений относительно вышеупомянутых уровней структурной взаимосвязи речи и действия.

**(a)** В вопросах теории значения Хабермас опирается на теорию речевых актов, которая представляет собой синтез истинностной *семантики*, с одной стороны, и *прагматики* языковых игр, с другой. Речевой акт – это прежде всего высказывание,

значение которого тесно связано с «интерактивной практикой в рамках определенной формы жизни». Понимание речевого акта, или коммуникативного выражения, Хабермас связывает с возможностью интерсубъективной критики содержащегося в любом выражении притязания на значимость, которое – в зависимости от типа речевого акта – может иметь различный характер. Трем типам речевых актов – констатирующему, нормативному и экспрессивному – соответствуют три различных притязания на значимость, а именно: притязания на истинность, правильность и искренность. Безусловность выдвигаемых притязаний на значимость заставляет реципиента речевого акта когнитивно трансцендировать измерение семантики, но, как мне представляется, не измерение языка.[4] Вернее, трансцендирование языка ограничивается у Хабермаса *дискурсивным*, т.е. все-таки языковым трансцендированием семантики.

**b)** Утверждая наличие имманентной (т.е. структурной) взаимосвязи между семантическим, прагматическим и коммуникативным измерениями речи, Хабермас раскрывает ее социально-теоретический и философско-практический потенциал. Этот потенциал дает о себе знать уже в самом выражении «коммуникативное действие», которое Хабермас избрал для именования речевых актов особого рода, которые он считает первичными по отношению к другим речевым актам. Специфика таких речевых актов состоит в том, что они заключают в себе триединое притязание на значимость: на объективную истинность, нормативную правильность и субъективную искренность. Эту специфику можно выразить и иначе, сославшись на «внутренний телос», или «интенциональную структуру» коммуникативного действия, которая находит свое выражение в часто упоминаемой Хабермасом формуле «договариваться с кем-то о чем-то». Коммуникативное действие совмещает в себе функции источника, средства и места коммуникации; оно объединяет в себе три функции речи: когнитивную, коммуникативную и ин-

[4] «При этом, правда, речь идет об объективных условиях значимости, которые слушатель может извлечь из содержания употребленных выражений не непосредственно, но лишь посредством эпистемологического притязания, которое оратор выдвигает в отношении значимости своего выражения, исполняя свой иллокутивный акт. Выдвигая притязание на значимость, оратор ссылается на потенциал оснований, которые он мог бы привести в пользу своего притязания» [5, с. 127].

тегральную. Необходимость координирования действий участников социальной интеракции приводит их к необходимости достижения взаимопонимания не только относительно средств, но и *целей* социального взаимодействия, что возможно только в рамках коммуникативно ориентированной дискурсивной практики, приводящей к структурному единству когнитивный, нормативный и эмоционально-экспрессивный аспекты коммуникативного опыта. В этой связи Хабермас говорит о *посреднической* функции дискурсивной рациональности по отношению к иным типам рациональности, таким как эпистемологическая, телеологическая и коммуникативная рациональность [9, с. 104]. При этом дискурсивная практика обладает и собственной «топикой». Она – не часть объективного мира. Напротив, «объективный мир» представляет собой лишь «прагматическую предпосылку», или «референтный пункт» (*Bezugspunkt*) дискурсивной практики. На специфическую пространственность коммуникативного действия указывает и специфическая установка, в которой находятся участники коммуникации. Эту установку Хабермас называет перформативной.[5] От объективирующей установки наблюдателя она отличается тем, что участник коммуникации не воспринимает объекты внешнего мира; он *вовлечен* в процесс понимания смыслов, т.е. ориентирован на принятие или отклонение трех притязаний на значимость, заключенных в (прагматически трансцендируемой) семантике речевых актов. Говоря иначе, коммуникативно используемый язык, или коммуникативное *действие,* не являет собой процессов в трехмерном пространстве; напротив, они сами образуют пространство, в котором они разворачиваются. Другое значение «перформативности» состоит в том, что «из семантического содержания выражения слушатель может извлечь то, как высказанная фраза используется, т.е. какого рода действие посредством нее *исполняется* (курсив мой – *И.И.*)» [6, с. 65]. Таким образом, коммуникативное действие, или коммуникативно используемый язык – это не только специфический род, но и специфическое пространство интерсубъективной практики.

**(c)** На третьем уровне, коррелятивном не философской, или коммуникативно-теоретической, но социологической постановке вопроса, речь идет уже не о прагматических *импликациях*

[5] Тугендхат, например, предпочитает называть ее «пропозициональной».

истинностной семантики или коммуникативно используемой речи, а о прагматическом *эффекте* рационализирующей дифференциации жизненного мира, который (т.е. эффект), тем не менее, как мне представляется, все еще остается «внутриязыковым». В объективирующей перспективе «социально-научного наблюдателя» «сеть коммуникативных действий образует медиум, сквозь который репродуцируется жизненный мир» [6, с. 95]. Символически структурированный жизненный мир, или общество, выполняет в концепции Хабермаса двоякую функцию. В той части концепции, которая разрабатывает философскую и коммуникативно-теоретическую проблематику, жизненный мир выступает в роли полутрансцендентальной структуры: ресурса и горизонта коммуникативного действия. В социально-теоретической части жизненный мир не только ресурс, но и продукт коммуникативного действия. Проходя через медиум, или «фильтр», коммуникативного действия, жизненный мир претерпевает двоякую трансформацию: он дифференцируется и рационализируется. Причем оба эти процесса образуют структурную целостность. «Проблематизирующая сила критических опытов» выступает пусковым механизмом процесса дифференциации жизненного мира, который поначалу служил нетематическим фоном интеракции и в котором «знание мира и языковое знание образовывали единое целое» [6, с. 94]. Процесс дифференциации и, как следствие, *регионализации* жизненного мира отражает «архитектуру жизненного мира, поскольку она связана с трихотономической конституцией речевых актов». Каждый из трех аспектов коммуникативного действия, который, в свою очередь, соответствует одному из трех притязаний на значимость, конститутивных для смысла коммуникативного действия, отвечает одной из функции коммуникативного действия в рамках задачи дифференциации и воспроизводства жизненного мира.

«В функциональном *аспекте взаимопонимания* коммуникативное действие служит традиции и обновлению культурного знания; в аспекте координации действий оно служит социальной интеграции и установлению солидарности; и, наконец, в аспекте социализации коммуникативное действие служит формированию персональной идентичности» [7, с. 208].

Интегральная функция практики *аргументации*, выступающая у Хабермаса в роли связующего звена между различными аспектами коммуникативного действия, объясняет, в чем именно состоит структурная связь между процессами дифференциации и рационализации жизненного мира.

Таким образом, в случае философской герменевтики и формальной прагматики (представляющей собой «лингвистический» фундамент теории коммуникативного действия) язык выступает не только в роли *средства*, но и в роли *среды, или медиума* межличностного общения. Язык – это не столько *канал*, сколько *пространство* межличностной коммуникации. Спектр интерпретаций языка, задаваемый двумя этими полюсами – метафорами среды и канала – создает зазор, в котором возможны оба подхода к рассмотрению соотношения концепций Хабермаса и Гадамера: как критическое противопоставление, так и поиск комплементарности.

## 3. Между теорией и практикой: институциональное будущее философии

Имманентный, соответственно, *имплицитный* прагматизм этих теорий отвечает за их самопозиционирование в качестве постметафизических *форм мышления*. Само это самопозиционирование представляет собой *эксплицитную* форму их практико-философской самоидентификации. Таким образом, здесь мы наталкиваемся на метатеоретический вопрос институциональных импликаций вышеописанной интеграции практики в саму ткань философствования. В дальнейшем я попытаюсь извлечь некоторые дисциплинарные и институциональные следствия этого «имманентизма». Я начну с сопоставления метатеоретических следствий рассмотренных выше концепций в перспективе их парадигм, или конститутивных метафор (3.1) и затем перейду к их институциональным импликациям (3.2).

### 3.1. Между метафорами среды и канала; между моделями дискурса и чтения

Итак, то, что объединяет философские концепции Хабермаса и Гадамера на метатеоретическом уровне, это, прежде всего, их способ позиционирования себя в историко-философском кон-

тексте. Обе принадлежат традиции трансцендентального философствования, но при этом в ее «слабом», постметафизическом варианте, который подразумевает, в первую очередь, медиальную трактовку трансцендентального. Эта трактовка заключает в себе преодоление субстанциального различия эмпирической и трансцендентальной сфер. В обоих случаях – как в философской герменевтике, так и формальной прагматике – устранение этого различия достигается путем продвижения новых онтологических проектов, альтернативных дуалистическим онтологиям «классического» трансцендентализма. Однако если Гадамер вполне осознанно акцентирует онтологический компонент и онтологические амбиции своего герменевтического проекта, то Хабермас, напротив, демонстрирует склонность к отрицанию (впрочем, вполне очевидных) онтологических импликаций теории коммуникативного действия, предпочитая подчеркивать ее «деонтологизирующий» эффект. Помимо прочего, это обстоятельство недвусмысленным образом указывает на различие (если не на диаметральную противоположность) их историко-философских *истоков* (что, однако, не исключает вышеупомянутого единства актуального историко-философского *позиционирования*).

Как бы то ни было, внутренняя логика теоретических установок и тематических устремлений привела обоих мыслителей к последовательному, хотя и постепенному вытеснению гносеологической и методологической проблематики на периферию их философского интереса. Систематическим аспектом, и в этом смысле основанием и мотивом была вышеописанная прагматическая трансформация философии языка и герменевтической феноменологии, приведшая – как было показано – к имманентному прагматизму и, как следствие, к имманентной перформативности, под которой я подразумеваю, прежде всего, автореферентность мышления этого рода. Институциональным итогом этой трансформации в случае философской герменевтики оказалась реабилитация и реновация идеи практической философии, в случае теории коммуникативного действия – нормативно релевантная и комплексная теория общества. Тем не менее главное, что, с моей точки зрения, объединяет философские позиции Гадамера и Хабермаса, – это пересмотр традиционного – метафизического – взгляда на соотношение теории и практики, которые отныне не разделены пропастью субстанци-

альных различий, а напротив, образуют элементы одной – изначальной и не регионально трактуемой – *сферы*.

То, в чем именно состоят различия между ними и на чем может основываться их связь, легче всего пояснить, сославшись на различие базовых метафор и парадигм, в явной, а чаще имплицитной ориентации на которые Гадамер и Хабермас – каждый по-своему – тематизируют эту «полутрансцендентальную», выступающую одновременно и средой, и фундаментом сферу. Впрочем, если быть более точным, то речь идет не столько о различных конститутивных метафорах и парадигмах как таковых, сколько о различных способах их комбинирования.

В этом отношении концепция Гадамера тяготеет к тому, чтобы растворить семантику «канала» в семантике «среды». Это означает, прежде всего, что Гадамер придерживается сильной трактовки нерегиональности и перформативности. Вектор (имплицитных) устремлений Хабермаса в этом вопросе обратный. Если для Хабермаса прагматика *трансцендирует плоскость семантики*, оставаясь при этом в пределах языкового опыта лишь благодаря посредничеству дискурса между значением и «прагматически допускаемым» объективным миром, который представляет собой, скорее, *структурный элемент дискурсивной коммуникации*, нежели «регион бытия», то для Гадамера прагматика – *структурный элемент семантики*. Многое разъясняет здесь также и то, в каких терминах тот и другой – Гадамер и Хабермас – выражают когнитивный эффект языкового общения. Если Хабермас предпочитает говорить в этом случае о «приросте рациональности» [7, с. 218], то Гадамер – «о приросте значения» [1, с. 152], или бытия.

Различиям в трактовке медиальной природы коммуникативно используемой речи соответствуют различия в понимании специфической установки участников «коммуникативного действия», соответственно, «герменевтического диалога». Другими словами, между Хабермасом и Гадамером существуют примечательные различия в толковании *перформативности*. Общее им обоим категорическое различение объективирующей и перформативной установок, которым, как известно, соответствуют две различные формы опыта: стратегическое вмешательство в «объективный мир», с одной стороны, и ориентированная на достижение взаимопонимания интеракция, с другой стороны, не

лишено оттенков. Перформативная установка в интерпретации Хабермаса, если рассматривать ее с точки зрения Гадамера, заключает в себе рудименты объективизма. Речь идет об относительной объективации языка в рамках дискурсивной практики, понимаемой как процесс обмена репликами, содержание которых *критически* оценивается в перспективе трансцендирующих их семантику прагматических предпосылок. Совершенно очевидно, что критическая позиция по отношению к чему бы то ни было, в том числе и по отношению к *непространственным* смыслам, не может не имплицировать объективизм. Интерпретация перформативности в философской герменевтике, по сравнению с ее интерпретацией в теории коммуникативного действия, которую я бы охарактеризовал как «гипоинтерпретацию», может быть квалифицирована, соответственно, как «гиперинтерпретация». Для Гадамера переход в перформативную (или, как иногда выражается Хабермас, герменевтическую) установку является необходимым условием не только дискурсивных коммуникативных практик, но и изначального отношения к *зримому* миру, как оно реализуется, например, в художественной практике и общественных ритуалах.[6]

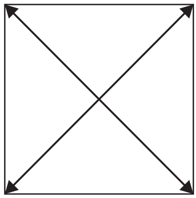
Необходимо также отметить диагностический потенциал, которым обладает в этом вопросе соотношение рациональности и языка в философской герменевтике и универсальной языковой прагматике. Примечательно, что в обеих доктринах трактовки рациональности и языка отражают друг друга. В теории Хабермаса критика (а, стало быть, и известная степень объективизма) интегрирована как в концепцию языка, так и в концепцию рациональности. Как понимание смысла, так и связанная с ним

6 Ханс Йоас и Вольфганг Кнёбль отмечают в своем введении в социальную теорию ограниченность Хабермасовой типологии действий. Для Хабермаса не существует такой разновидности действий, как «нетелеологическое обращение с несоциальными объектами». По мнению авторов «Введения», к этому типу действий относятся, по меньшей мере, такие, как детские игры, «игровое обращение с вещами», а также «художественная обработка материи». Эти действия не могут быть описаны как род «вмешательства в объективный мир»; их нельзя описать в терминах цели и средства, и, следовательно, они не базируются на объективации. Уместно также напомнить, что в феноменологической герменевтике эти формы практики рассматриваются не как формы воздействия на объекты внешнего мира, а как способы учреждения мира. [9, с. 334–335].

рациональность подразумеваемого заключают в себе вышеупомянутый момент относительного трансцендирования языка, а следовательно, – релятивизацию его медиальной структуры. В своей трактовке языка Хабермас балансирует между двумя крайностями: парадигмами среды и канала. Это проявляется, в частности, в рудиментарном инструментализме, которым отличается его подход к языку. Язык в концепции Хабермаса, невзирая на перформативную установку как продуцента, так и реципиента коммуникативного акта, выполняет определенную *функцию*, а именно функцию посредника между различными измерениями коммуникативного опыта. Рациональность у Хабермаса – это *эффект* языка, в то время как у Гадамера – *модус* самого языка. Если для Хабермаса наличие «общего языка» – *предпосылка* рационализирующего эффекта коммуникативного действия, то для Гадамера – *финальный* элемент[7] языкового общения и внутренне присущей ему рациональности. Язык «герменевтического диалога», с точки зрения Гадамера – это не что иное, как *emanatio intellectualis* [1, 427].

Метафоры среды и канала, которые я использую в рамках метатеоретического сопоставления постметафизических концепций Хабермаса и Гадамера, следует дополнить моделями дискурса и чтения. Метафоры среды и канала, а также разнообразные способы их комбинирования играют роль парадигм в вопросах разъяснения *структуры* коммуникативного опыта. Чтение и дискурс выполняют парадигматическую функцию при рассмотрении форм его *исполнения*. Подобно тому как лишь сочетание парадигм среды и канала способствует осуществлению нередукционистского описания структуры и внутренней динамики нерегиональной, или медиально-трансцендентальной, сферы, сочетание парадигм дискурса и чтения позволяет избежать односторонней фаворизации одной из форм ее исполнения. При этом необходимо отметить очевидный параллелизм (вернее, обратный параллелизм, или хиазм в стилистическом смысле этого слова) этих двух пар моделей, проистекающий из (a) автореферентности и (b) комплементарности сопоставляемых мною концепций. Этот «хиазм», как мне представляется, можно изобразить в виде схемы:

7 «Элемент» – это не только «составная часть», но и «стихия».




**(а)** Автореферентность, обосновывающая взаимосвязь внутри каждой из двух пар понятий (диагонали квадрата, символизирующего взаимосвязь и равновесие четырех элементов), заключается в том, что имманентный прагматизм современных постметафизических *концепций*, базирующихся на идее языкового характера *всего* нашего опыта, не может не вести к утверждению приоритета определенных *практик*, «имплантированных» в саму ткань постметафизического теоретизирования. Сформулирую это иначе: *постметафизическая*, т.е. отличающаяся радикальным *перспективизмом*, и все же *философская*, т.е. заключающая в себе определенный *универсализм,* теория может существовать только в тесной связи с соответствующими формами *практики*, легитимирующими ее универсалистские «притязания на значимость».

Для Хабермаса такой парадигматической практикой выступает дискурс, или практика аргументации, объединяющая между собой в *изначально единый комплекс* познание и коммуникацию, социальный порядок и социальное действие, свободу и нормативность. Вместе с тем Хабермас неустанно подчеркивает, что аргументативная практика выполняет не фундирующую, а *интегральную* функцию. С его точки зрения, объективный мир, а также субъективный и социальный миры представляют собой, прежде всего, прагматические предпосылки дискурсивной практики, вовлекающей содержательные характеристики миров в нескончаемый «водоворот проблематизации». Таким образом, легко видеть, что в случае концепции Хабермаса, с одной стороны, метафора среды сочетается с метафорой канала и, с другой стороны, это сочетание находит свое «перформативное» воплощение в практике аргументации. Более того, парадигма структуры медиального опыта и парадигма его исполнения ссылаются друг на друга и проясняют друг друга. Очевидно здесь

также и то, что, во-первых, метафора канала превалирует над метафорой среды, или сферы, и, во-вторых, не находит своего воплощения вышеупомянутая хиазматическая фигура, воспроизведение которой, с моей точки зрения, индицирует необходимую полноту и завершенность анализа.

Когда Гадамер в своих работах 1980–1990-х гг. говорит о «чтении», он имеет в виду, с одной стороны, хорошо известную нам форму опыта, но, с другой стороны, толкует ее столь широко и вместе с тем своеобычно, что кажется, будто речь в этом случае может идти лишь о метафоре. Конечно, то, что в многочисленных размышлениях о чтении подразумевает Гадамер – это «сущность» чтения, которая, тем не менее, находит свое (эманативное) выражение в чтении литературы, именуемом Гадамером чтением в эминентном смысле. В своем «Опыте самокритики» 1985 г. он пишет: «Я настаиваю на том, что чтение, а не репродуцирование, является подлинной формой опыта самого произведения искусства, определяющей его как таковое. Речь здесь идет о «чтении» в «эминентном» смысле этого слова, подобно тому, как поэтический текст является текстом в «эминентном» смысле этого слова. На самом деле чтение представляет собой форму исполнения любой встречи с искусством. Оно имеет место не только в случае текстов, но и в случае образов и архитектурных сооружений» [2, с. 17]. Гадамер не ограничивается экстраполяцией чтения на изобразительное и статуарное искусство; он стремится к его подлинной универсализации, к утверждению его значимости вне пределов литературной и эстетической сферы. Этого он достигает посредством выдвижения тезиса, согласно которому чтение являет собой общую основную структуру любого исполнения смысла. [2, с. 19]. Между тем с точки зрения феноменологической герменевтики смысловой структурой обладает все то, что нам «встречается» в мире. И все же – повторю вышесказанное, но теперь уже в других выражениях – *экстенсивную* универсализацию чтения («чтение – это любое исполнение смысла») Гадамер уравновешивает *интенсивной* универсализацией, которая состоит в том, что лишь эксклюзивные разновидности чтения способны репрезентировать *весь* его потенциал, а соответственно, и весь потенциал *языка*. Взаимосвязь экстенсивной (или горизонтальной) и интенсивной (или вертикальной) универсальностей образует вышеупомянутую сферическую экс-

тенсивность, или медиальность герменевтического опыта. Таким образом, опыт чтения и медиальная структура герменевтического опыта проясняют друг друга.

**b)** Вместе с тем опыт чтения, как мне представляется, образует неотъемлемую часть аргументативной практики. Тому есть два основания, одно из которых я бы условно обозначил как «онтологическое», а другое как «онтическое». Первое из них состоит в том, что чтение выступает в роли фундамента аргументации, поскольку представляет собой нерефлексивный процесс первичной артикуляции смыслов. Говоря иначе, смысл здесь формируется как такой «элемент» нашего опыта, который располагается по эту сторону критического к нему отношения, отличающегося, как было замечено выше, рефлексивностью. А поскольку под «онтологическим» здесь – впрочем, как и во всей постметафизической философии – подразумеваются не формальные трансмунданные структуры, а наполненные содержанием определенные формы *опыта*, характер их исполнения не может не найти своего отражения в «онтической» сфере. Я поясню этот тезис, используя в качестве фона классификацию конститутивных для достижения взаимопонимания притязаний на значимость, приведенную Хабермасом в его программной статье 1976 г. «Что такое универсальная прагматика?». В этой работе, в отличие от более поздних изложений этой тематики, Хабермас упоминает не три, а *четыре* «корреспондирующих притязания на значимость: понятность, истинность, искренность и правильность» [8, с. 355]. Особой важностью при этом обладает одно замечание Хабермаса, в котором он утверждает, что «понятность является единственным универсальным притязанием на значимость, которое реализуется внутри языка» [8, с. 389]. Примечательно, что в более поздних работах Хабермас существенно скорректировал свою первоначальную позицию. С начала 1980-х гг. «понятность» у него – это не одно из четырех притязаний на значимость (которое, впрочем, едва ли допускало свою реализацию посредством его критического признания или отклонения), а кумулятивный *эффект*, производимый взаимодействием трех – «трансцендирующих язык» – притязаний на значимость. В своей первоначальной версии теория значения Хабермаса не только кажется интуитивно более убедительной, но в ней легко обнаружить «точку приложения» для герменев-

тической концепции языка. Я имею в виду этот четвертый, впоследствии исчезнувший компонент.

Реставрация первоначальной четырехчленной структуры и интеграция в нее герменевтической концепции значения не означает, с моей точки зрения, ни упразднения имманентного прагматизма и дискурсивности Хабермасовой теории значения, ни искажения герменевтической точки зрения, ориентированной на «мирораскрывающий «аспект языка. С одной стороны, требование понятности, составляющей условие возможности критического отношения к сказанному, оставляет нас в сфере семантики. С другой стороны, сфере семантики присуща своя собственная форма «имманентного прагматизма». В философской герменевтике мы находим своего рода аналог формально-прагматического отношения между притязаниями на значимость и их реализацией в дискурсе. Понимая смысл сказанного, а это значит, интерпретируя и «применяя», мы «вводим в игру» собственные предрассудки (которые, по известному выражению Гадамера, составляют «историческую действительность нашего бытия несравнимо больше, чем наши суждения»), но при этом нацелены на *признание* и *утверждение* сказанного. Мы, прежде всего, принимаем его за истину и утверждаем его в этом статусе не с целью критики, а ради его *формирования и явленности*.[8] Применение при этом, как было показано выше, представляет собой двунаправленное движение трансцендирования. Трансцендируются как *субстанциальность* сказанного, так и *субъективность* реципиента. Эти разнонаправленные движения встречаются на своеобразной «нейтральной территории», *возникающей* вследствие «сплавления горизонтов». Эта сфера, которую я предпочитаю именовать «медиально-трансцендентальной», есть сфера явления, или осуществления смыслов. Лишь осуществленные таким образом смыслы способны *впоследствии* стать *предметом* критического оценивания, которое, разворачиваясь *в области и в качестве* интерсубъективной аргументативной практики, обретает социальную *значимость*.

[8] Примечательно, что если в формальной прагматике реакция реципиента высказывания может быть описана принципиально парой понятий негация/аффирмация, то в герменевтике Гадамера она, невзирая на исход коммуникации, имеет *лишь аффирмативный* характер.

Однако *комплементарность* формально-прагматической и герменевтической концепции значения находит свое выражение не только в структуре, но и в *исполнении* процесса достижения взаимопонимания. До-рефлексивная аффирмация (т.е. артикуляция) сказанного не только фундирует, но и направляет (регламентирует) процесс его рефлексивной (т.е. дискурсивной и социально релевантной) аффирмации или негации. Таким образом, в отличие от Хабермаса, который настаивает на *генетическом* характере взаимосвязи герменевтической и формально-прагматической концепций значения [9, с. 65–101], с герменевтической точки зрения эта связь видится, скорее, *структурной*. Кроме того, нормативный аспект в вопросах взаимопонимания не может не иметь этических импликаций. Различные и вместе с тем взаимосвязанные этические содержания и перспективы имеют оба – как герменевтический, так и формально-прагматический – элемента взаимопонимания. Отличие между ними состоит в том, что базирующаяся на предпосылках формальной прагматики этика дискурса репрезентирует традиционное – нравственно-нормативное – понимание этического, в то время как «герменевтически воспитанное сознание» нацелено на воплощение античного идеала единства этики и эстетики.[9] При этом для Гадамера вполне очевидно первенство этико-эстетического подхода, ориентированного на античную идею «прекрасного», охватывающего «все то, в чем мы без вопросов согласны друг с другом, поскольку оно является желательным, не требуя оправдания своей желательности с точки зрения своей целесообразности и оставаясь недоступным такому оправданию» [4, с. 221]. Таким образом, дорефлексивное согласие – это не только отправной пункт и ресурс дискурсивной коммуникации, ведущей к дифференциации и, соответственно, рационализации жизненного мира, но вместе с тем – это необходимый компонент дифференцированной (рационализированной) общественной жизни, заключающий в себе свой собственный тип рациональности, подразумевающий дорефлексивное единство говорения, мышления и действия. Любая рефлексивная норма-

[9] Размышления Гадамера на эту тему представлены в разных работах. Я упомяну только два источника: заключительный параграф «Истины и метода» [1, с. 478–494] и пассаж из его статьи «Was ist Praxis? Die Bedingungen der gesellschaftlicher Vernunft» [4, с. 221].

тивность базируется в конечном итоге на дорефлексивном согласии. С него начинается, им сопровождается и заканчивается процесс дискурсивной рационализации.

Наметившаяся здесь асимметрия дополняющих друг друга герменевтики и формальной прагматики находит свое выражение и в том, что «онтическое» соответствие развитой в феноменологической герменевтике онтологической концепции значения – «герменевтический диалог» – обладает *известной* автономией по отношению к дискурсивной практике и ее «онтологическому» аналогу: формальной прагматике, в то время как дискурсивная практика без герменевтического диалога – имевшего место ранее или обещающего стать завершением дискурса – *совершенно* невозможна. Это связано с тем, что – вопреки утверждениям Хабермаса – когнитивная, или «раскрывающая мир», функция языка достигает здесь более высокой степени интеграции с коммуникативной функцией, нежели это достижимо в критическом дискурсе, соответственно, в формальной прагматике. Аргументативная практика и внутренне присущая ей «связующая сила» базируются на такой смысловой артикуляции мира и такой форме (и степени) общности, какие достижимы *лишь* в дорефлексивных формах (языковой и вместе с тем практической и когнитивной) коммуникации, таких как ритуалы, детские и эстетические игры, сказания, чтение и дружеский диалог. В этом отношении герменевтическая теория опыта способна выступить дополнением формальной прагматики как философского основания коммуникативно ориентированной социальной теории. Социально-теоретический вклад философской герменевтики, с моей точки зрения, может состоять в следующем:

1) корректировка односторонностей в понимании языка и, соответственно, имеющего языковой характер социального действия;

2) реабилитация социального значения дорефлексивных «языковых игр», экспликация структурного, а не только генетического характера их связи с рефлексивными (т.е. дискурсивными) коммуникативными практиками;

3) расширение перечня социально-релевантных практик за счет до-рефлексивных форм языковой коммуникации и, как

следствие корректировка (расширение) понятия (опосредованного языком) социального действия;

4) подведение «лингвистического» фундамента под различение публичных и приватных форм коммуникации (и под установление взаимосвязи между ними)

5) экспликация содержания формально-прагматического концепта дорефлексивного «структурированного языком жизненного мира».

## 3.2. Философия и философствование: между институтом и практикой

В заключение – несколько слов об «эксплицитных» проектах практической философии как радикальной формы постметафизического мышления, набросанных в общих чертах Хабермасом и Гадамером. Размышляя об институциональном будущем философии, оба, как мне представляется, лишь делают выводы из своих философских концепций.

Хабермас отказывает философии в суверенных когнитивных способностях. В условиях современного высокодифференцированного общества и ситуативного мышления философия не может претендовать на статус фундаментальной науки или представлять собой эзотерическую форму знания, обладающую эксклюзивным доступом к (какой-либо) истине. Хабермас настаивает на «экзотерической роли» современной философии, которую она способна исполнить лишь в «контакте с наукой». Эта роль – роль посредника-интерпретатора. Она уготована философии ввиду прогрессирующей комплексности науки и общества, вследствие которой особую актуальность обретает проблема единства рациональности, возможного в современных условиях лишь как *формальное*. «Это формальное единство плюрального разума философия способна сохранить не благодаря наполненному содержанием понятию сущего в целом или всеобщего блага, а благодаря ее герменевтической способности преступать границы языка и дискурса, оставаясь при этом восприимчивой к холистическим фоновым контекстам» [9, с. 356]. С точки зрения Хабермаса, современная экзотерически ориентированная философия способна выполнить три функции: (1) способствовать формированию адекватного самосознания современных обществ; (2) выступать посредником-интерпретатором

между экспертным знанием и донаучным «здравым смыслом»; (3) вносить вклад в прояснение «основных вопросов нормативной, в особенности справедливой политической совместной жизни» [9, с. 359]. Кроме того, вышеупомянутые этические импликации формальной прагматики позволяют Хабермасу сделать вывод о структурной идентичности демократии и постметафизической философии: «Философия и демократия не только проистекают из одной и той же генетической взаимосвязи, но и в плане структуры они зависят друг от друга. Общественное влияние философского мышления крайне нуждается в институциональной защите свободы мышления и коммуникации. И наоборот: находящийся под постоянной угрозой демократический дискурс также зависит от бдительности и заступничества этого публичного защитника рациональности» [9, с. 357].

Гадамер в своем проекте герменевтики как практической философии опирается на античную идею взаимосвязи теории и практики, которую Хабермас отверг с самого начала. В греческом мышлении эта взаимосвязь находит свое выражение в аристотелевском концепте «практического знания», или *«phronesis»*. Его специфика состоит в том, что оно подразумевает особый, дорефлексивный *тип знания*, а не определенную *технику* практического применения теоретического, или научного, знания. Подразумеваемое «практическим знанием» единство теории и практики становится возможным лишь по ту сторону субстанциального различия реального и ментального, единичного и всеобщего, означаемого и означающего. Эта сфера была заново открыта в феноменологии Хайдеггера; ее специфически языковая конституция была эксплицирована и детально разработана в герменевтике Гадамера. Эту сферу мы описали как медиально-трансцендентальную, как сферу коммуникативного опыта, заключающего в себе свою собственную рациональность и «имманентную», или «внутриязыковую», прагматику.

Донаучный и дорефлексивный характер этого знания и имманентной ему практики ведет к «приватизации» и деинституционализации герменевтики. Философская герменевтика понимает себя в качестве «практического компонента самой деятельности понимания и истолкования». Герменевтика не столько теория понимания, сколько род философской рефлексии, цель которой не критика, а «позволение чему-либо снова заговорить»

[3, с. 333], т.е. явиться и стать частью нашего индивидуального и общественного самосознания, одновременно трансформировав его. По мнению Гадамера, разворачивающееся в языке «понимание представляет собой нечто большее, нежели искусное применение навыков. Оно всегда также – обретение расширенного и углубленного самопонимания. А это значит: герменевтика – это философия, и будучи философией, она – практическая философия» [5, с. 125].

Таким образом, постметафизическая практическая философия, базирующаяся на «философско-лингвистических» доктринах Хабермаса и Гадамера, описывает взаимосвязь трех уровней, трех сфер практики, или действия, соответственно:

1) сфера инструментального или стратегического *манипулирования*, разворачивающегося в рамках объективного мира, по отношению к которому (заранее истолкованный) смысловой горизонт мира выступает в роли (нетематического) трансцендентального основания;

2) (медиально-трансцендентальная) сфера коммуникативного (дискурсивного) *действия*, разворачивающегося в перформативной установке и в среде дискурсивно используемого языка. Здесь смысловой горизонт артикулированного в языке мира – уже не только основание, но и среда коммуникативного действия, нацеленного на координацию социальной интеракции, в рамках которой «объективный мир» – это лишь структурный компонент коммуникации;

3) сфера герменевтического *опыта*, специфика действия которого состоит в *изменении* медиально-трансцендентального смыслового горизонта мира, составляющего медиум и трансцендентальное основание как стратегического (или манипуляционного), так и коммуникативного действия.

### *Литература*


1. *Gadamer H.-G.* Gesammelte Werke, Bd. 1. Tübingen, 1999.
2. *Gadamer H.-G.* Gesammelte Werke, Bd. 2. Tübingen, 1999.
3. *Gadamer H.-G.* Gesammelte Werke, Bd. 8. Tübingen, 1999.
4. *Gadamer H.-G.* Gesammelte Werke. Bd. 4. Tübingen, 1999.
5. *Gadamer H.-G.* Hermeneutik als praktische Philosophie // Salamun K. (Hg.) Was ist Philosophie? Frankfurt/M., 1984.

6. *Habermas J.* Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze. Frankfurt/M., 1988.
7. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt/M., 1987.
8. *Habermas J.* Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/M., 1984.
9. *Habermas J.* Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Ausätze. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt/M., 2004.
10. *Joas H., Knöbl W.* Sozialtheorie. Zwanzig einführende Vorlesungen. Frankfurt/M., 2004.


**Ilya Inishev**

## Gadamer, Habermas and Practical Philosophy

Summary

Postmetaphysical philosophy developed during the last decades places itself as a practical philosophy. This institutional self-consciousness of postmetaphysical thinking results from the evolution of its fundamental principles such as situationality, detranscendentalization, and discoursivity. To the full extent this trend was embodied in philosophical hermeneutics and theory of communicative action. In both conceptions there is a correlation between theory and practice resulted from the idea of specific linguistic action or practical potential of dialogical speaking. In this regard Gadamer's philosophical hermeneutics and Habermas' universal pragmatics supplement each other, offering complementary theories of action.

**Keywords**: postmetaphysical thinking, philosophical hermeneutic, practical philosophy.

***Э.А. Казакова***

# ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Статья представляет собой развернутый анализ фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы» (США, 1994 г.), который вызвал широкий общественный резонанс в середине 1990-х гг.: после выхода фильма режиссер был обвинен в пропаганде насилия и жестокости, а авторская (нецензурированная) версия картины вышла на экраны США и Великобритании только в 1999 г. В статье предпринята попытка рассмотреть фильм Оливера Стоуна с точки зрения таких ключевых для современной культурологии проблем, как трансформация власти и отношение санкционированного и несанкционированного насилия (концепция власти М. Фуко), медиализация насилия и превращения смерти в зрелище (Ж. Бодрийар, П. Вирилио), влияние масс-медийных технологий на формирование нового типа властных отношений (А. Крокер, Д. Кук).

**Ключевые слова**: масс-медиа, телевидение, власть, насилие, постмодернизм.

> Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «подавляет», «цензурирует», «извлекает», «маскирует», «скрывает». На самом деле власть производит, она производит реальность.
>
> М. Фуко

> Наше общество не столько насыщено преступностью, сколько информацией, поставляемой о ней СМИ. Наше общество полно безумием желания продавать все

больше и больше оружия, безумием массового строительства тюрем для изоляции целого класса – преступников, лихорадкой борьбы с преступностью... Полицейские, надзиратели, тюремщики, репортеры – все они должны почувствовать, что становятся частью обширной государственной системы наказания. В такой обстановке одинокие убийцы, Микки и Меллори, абсолютные антигерои, неизбежно поднимаются над безликой, жестокой системой и завоевывают сердца и умы американцев, ищущих человеческое лицо.

О. Стоун



## Введение

Возможно, один из наиболее впечатляющих эпизодов фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы» – это сцена, где Микки (Вуди Харрелсон) и Меллори (Джульет Льюис) – парочка харизматических убийц, невероятная дерзость и жестокость которых держит в волнительном напряжении все Соединенные Штаты, случайно оказываются в индейской резервации. Сцена сделана в сюрреалистической манере с использованием аннимации и компьютерной графики. Не будучи в состоянии общаться с вождем, поскольку тот не говорит по-английски, Микки и Меллори просто сидят в вигваме, освещенные заревом костра, когда на их торсах вдруг появляются плывущие буквы. Надписи (предположительно перевод того, что говорит о них вождь) глясят «demon», «watched too much TV» и т.п. Наряду с другими фрагментами фильма, эта сцена позволила многим критикам сделать вывод, что главным пафосом «Прирожденных убийц» была атака на масс-медиа как источник захлестнувшего американское общество немотивированного насилия, а также выявление тенденции демонизировать преступников, навешивая на них ярлык «исчадий ада» и таким образом противопоставляя их «добропорядочным гражданам».

Ирония заключается в том, что после выхода фильма Стоун сам был незамедлительно обвинен американскими властями в пропаганде насилия и жестокости, а авторская (нецензурированная) версия фильма вышла на экраны США и Великобритании только в 1999 г. Впрочем, режиссер был к этому готов: «Я не хотел подчеркивать или воспевать жестокость, хотя меня в этом

и обвинят, – говорил он в одном из интервью накануне премьеры. Цель этого фильма – идеологический шок, сама мысль о том, что подобная ситуация может существовать, вызовет отвращение у многих, а сатира, если она сработает, должна вызвать шок у всех». Выпущенный 26 августа 1994 г. фильм Стоуна действительно стал настоящим событием для США и подвергся жестоким нападкам со стороны СМИ. В свете потрясавших в тот период Америку громких преступлений – дело братьев Менендес, дело Лорены Боббит, а также нашумевшего телевизионного интервью, взятого Геральдо Риверой у Чарльза Мэнсона, послание Стоуна обрело особую актуальность. По странному стечению обстоятельств именно в июне 1994 г. (когда фильм Стоуна уже был полностью смонтирован) О. Дж. Симпсон, знаменитый футболист, обвиненный в убийстве своей жены, пустился в бега на скоростном шоссе 405 под Лос-Анджелесом. За перемещением автомобиля Симпсона и преследовавших его полицейских машин следили с вертолетов крупнейшие телекомпании США, а приветствовавшие его и махавшие флажками люди мало отличались от толп восторженных поклонников Микки и Мелори Нокс, которые приветствовали героев-убийц около здания тюрьмы в фильме Оливера Стоуна.

Еще одной темой, живо обсуждавшейся в прессе накануне и после выхода фильма, наряду с темой насилия, было авторство картины. Дело в том, что первый (черновой) сценарий «Прирожденных убийц» написал Квентин Тарантино, который хотел ставить по нему фильм, но передумал, потому что начал снимать «Бешеных псов». Сценарий Тарантино, представлявший собой остроумную пародию на масс-медиа и знаменитостей, по признанию самого Стоуна, был достаточно хорош. Но это было абсолютно не то, что режиссер «Взвода» и «JFK» вынашивал в своих замыслах – мощную социально-критическую картину с очередными «проклятыми» вопросами, адресованными современному обществу: «что такое насилие?», «что такое агрессия?», и главное – «что такое телевидение?». Естественно, ничего подобного в сценарии Тарантино, для которого ирония всегда являлась целью, а не средством, и которому, скорее всего, и в голову никогда бы не пришло что-то «изобличать», быть не могло. Кстати, герои Микки и Мэллори в первоначальной версии были второстепенными персонажами, просто гротескными куклами

(автор описывал их как «причудливые цветы, которые могли вырасти только посреди эклектичной культуры фаст-фуда»). В целом же, это была история о беспринципном и циничном журналисте Уэйне Гэйле и его команде – комедия положений с виртуозными шутками в тарантиновском духе. Однако Оливер Стоун не хотел делать фильм об Уэйне Гэйле. Полностью изменив и основную идею, и предполагаемую изначально эстетику «Прирожденных убийц», Стоун в конце концов снял фильм о власти и снял его с модернистской серьезностью, так разозлившей представителя другой парадигмы Тарантино (для фильмов которого вполне подошел бы постмодернисткий девиз «все на свете, в принципе, очень смешно»), что последний в какой-то момент вообще отрекся от авторства.

## 1.

Когда они говорили: «покайтесь,
покайтесь», я все думал,
что они имеют в виду?

Леонард Коэн
(из саундтрека к «Прирожденным убийцам»)

«Умирающий от СПИДа, русская революция, прирожденный убийца – все появляется благодаря существующим безумным системе и среде, все появляется под тем самым солнцем, которое светит над нашим миром с тех давних пор, когда в космосе произошло первое столкновение между газом и пылью», – напишет Оливер Стоун позже в предисловии к печатной версии «Прирожденных убийц» [1, с. 7], продемонстрировав поразительное совпадение с концепцией власти, изложенной Мишелем Фуко в «Истории сексуальности». «Под властью, – писал Фуко, – следует понимать множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, понимать игру, которая путем непрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует. <…> Власть повсюду не потому, что она все охватывает, а потому, что она отовсюду исходит» [2, с. 192]. И если понимать под «безумием» отсутствие рационального начала, «сознания», которое может быть присуще исключительно субъекту, то Стоун и здесь интуитивно совпал с Фуко,

так как один из основных постулатов последнего – именно «бессубъектность власти», отношения которой не инициированы расчетом. По Фуко, власть – это слепая тенденция, сила, которая артикулируется в конкретных феноменах и реалиях.

Таким образом, следуя логике Фуко, главных героев фильма Стоуна Микки и Меллори Нокс можно рассматривать как точку сопротивления в поле власти, «некое неустранимое визави, которое является другим полюсом внутренних отношений власти» [2, с. 197]. С другой стороны, они являются избытком власти, представляющим угрозу для ее осуществления. И в первую очередь потому, что они устанавливают свой собственный закон. Если рассматривать власть как деперсонифицированного фрейдовского отца, то она есть инстанция закона, которая сама этому закону транцендентна, поскольку тот, кто устанавливает закон, автоматически из него исключается. Микки и Меллори просто решают, что они могут убивать, – и все[1]. С этого момента им уже ничего нельзя «вменить», поскольку в поле их закона традиционные для современной власти категории «совести», «самосознания», «души», «раскаяния» не работают. Почему? В фильме лучший ответ на этот вопрос дает психиатр, наблюдавший семейку Ноксов в тюрьме, у которого берет интервью журналист Уэйн Гэйл: «Они – не сумасшедшие, они просто не видят разницы между добром и злом, для них не существуют границы». Что такое граница «между добром и злом»? По сути, это граница между нашими внутренними «наблюдателем» и «наблюдаемым»[2]. «Уничтожить» надзирателя (самоконтролирующее сознание) значит уничтожить себя как субъекта, отказаться «быть началом собственного подчинения», осознать (ощутить?) себя не как объект,

---

[1] Символично, что самой первой их жертвой становится отец Меллори, жуткий персонаж (выполненный, впрочем, в гротескно-сатирической стилистике гэг-сериалов), который на протяжении многих лет третировал (в том числе и сексуально) свою дочь. Позже по ходу фильма выясняется, что Микки также подозревается в том, что убил своего не менее «инфернального» папашу будучи десятилетним мальчиком.

[2] Не пытается ли Оливер Стоун убедить нас своим фильмом, что релятивистский постмодернистский дискурс/власть (в частности, телевидение) формирует новый тип субъекта, постепенно размывая в нашем сознании именно эту (так тщательно выстаиваемую предыдущей парадигмой) границу?

но как инстанцию власти[3]. (В этой связи постоянные визуальные апелляции Стоуна к животному миру и природным силам – это, скорее всего, не биологический детерминизм, а отголоски идей Ницше о том, что на место константного понятия «субъекта» должно стать релятивное понятие «силы». Власть рождается в столкновении сил. Результат конкретного столкновения зависит от того, какая сила какой противостоит.)

Итак, Микки и Меллори начинают убивать, и убивают, как сообщается по ходу фильма, 52 человек. Позже, когда они уже окажутся в тюрьме, Уэйн Гэйл, пытаясь уговорить Микки дать интервью для своего шоу «Американские маньяки», скажет, что их парочка оказалась одной из самых популярных в истории серийных убийств. «Массовых убийств», – тут же поправит его Микки, и эта поправка очень важна. Микки и Меллори трудно назвать серийными убийцами (особенно в том сексуально-маниакальном значении, которое мы привыкли вкладывать в этот термин) не только потому, что серийность предполагает некую заданную периодичность, схожесть, действие по одному и тому же образцу, а их жертвы абсолютно случайны, убийства никогда не планируются и убивают они по-разному (как придется), но и потому, что в их действиях нет никакого расчета: если они и получают в процессе некое «перверсивное» удовольствие (эпизод с девушкой-заложницей) или забирают деньги из кассы магазина, где только что убили десяток посетителей, то это происходит как бы попутно и не является их целью.

В этом смысле действия Микки и Меллори очень близки к терроризму, как понимает его Жан Бодрийар.

В книге «В тени молчаливого большинства, или Конец социального» Бодрийар утверждал, что современный терроризм, начало которому положили захваты заложников и игра с откладыванием-отсрочиванием смерти, сегодня не имеет ни

[3] Возможно ли это? К сожалению, рамки данной статьи не позволяют серьезно обсуждать эту проблему. Но здесь вслед за Дж. Батлер хочется «начать задавать вопросы двух различных типов – к Фуко и к психоанализу», самый главный из которых «производится ли сопротивление, о котором говорит психоанализ, социально или дискурсивно или же это некое сопротивление социальному и дискурсивному производству как таковому, его подрыв?» См: Батлер Дж. Психика власти: теория субъекции. Харьков: ХЦГИ, 2002. С. 77–78.

цели, ни конкретного врага. Действительный противник террористов – это не какое-то конкретное государство или режим. Этот противник не принадлежит даже к области мифа, ибо выступает как нечто анонимное, недифференцированное, как некий мировой социальный порядок. Террористы обнаруживают этого врага где угодно, когда угодно, для них его олицетворением могут выступать любые, абсолютно невинные люди. Именно так, по мнению Бодрийара, заявляет о себе терроризм; и он остается самим собой, сохраняет себя только потому, что действует везде, всегда и против всех – иначе он был бы лишь вымогательством или акцией «коммандос». «Характер функционирования этой слепой силы находится в полном соответствии с абсолютной недифференцированностью системы, в которой уже давно не существует различия между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими действиями, выражающими его убийственное безразличие к тому, кто окажется у него в заложниках, терроризм направлен как раз против самого главного продукта всей системы – анонимного и совершенно безликого индивида, индивида, ничем не отличающегося от себе подобных» [3, с. 66].

Каждый такой «безликий, анонимный индивид» самим фактом своего существования бросает вызов лично Микки и Меллори, как в классическую эпоху преступник, совершая любое, самое мелкое преступление, бросал вызов лично суверену.

Любопытно, что в практиках Микки и Меллори действительно можно увидеть некоторые проявления модели классической власти, описанной Фуко в «Надзирать и наказывать», власти, «которая закаляется и обновляется в ритуальном обнаружении своей реальности в качестве избыточной власти» [4, с. 131]. Микки и Меллори утверждают свою власть в режиме «мстительного эксцесса», проявления «необузданной силы». Появляясь то там, то здесь (спорадически), они демонстрируют те самые «блеск жестокости» и «театр чрезмерности», которые Фуко атрибутировал средневековым казням. Известно, что классическая власть была крайне персонифицирована. Микки и Меллори убивают буквально с собственным именем на устах, они не утруждают себя тем, чтобы скрываться, менять одежду или надевать на голову чулок – анонимность им принциально чужда, более того, они

всегда оставляют в живых одного свидетеля, чтобы тот мог рассказать, что именно «Микки и Меллори Нокс сделали это».

Однако наши «прирожденные убийцы» живут не в Шервудском лесу, а в современной Америке, а столкновение классической и современной власти – это борьба человека против машины. И, конечно, никакой, даже самый «необузданный и чрезмерный» герой/преступник-одиночка (который к тому же скрывается), не может ничего противопоставить экономной, равномерно распределенной по всему социальному пространству, контролирующей все в режиме паноптикона машинерии современной власти. Поражение в таком случае неизбежно, а наказание неотвратимо.

Фуко, описывая паноптикон, делает акцент на том, что основная цель последнего – «приведение заключенного в состояние познаваемой видимости», а центральный алгоритм – разбиение пары «видеть – быть видимым». Сегодня идея паноптикона доведена в развитых странах Запада до совершенства[4]. Это – повсеместная система видеонаблюдения, огромное количество видеокамер, которыми, кроме функциональных пропускных пунктов – границы, аэропорты, вокзалы, оснащены также и точки (сети!) самого «мирного» потребления – магазины, автозаправки, аптеки. Именно благодаря таким камерам Микки и Меллори знала в лицо вся Америка задолго до того, как они были пойманы. Видеокамера наблюдения, как и любое изощренное паноптическое устройство, представляет собой «запредельную концентрацию власти», поскольку человек никогда не знает, наблюдают за ним или нет. Собственно, он даже не всегда знает, есть ли в данном конкретном месте видеокамера, но всегда предполагает, что «да, есть» и «да, наблюдают» (совершенный механизм по выработке «сознания тревожной поднадзорности»). Разыскиваемый преступник, например, в США, где бензин является жизненно необходимым ресурсом (поскольку

4 В одном из эссе книги «Добро пожаловать в пустыню Реального» Славой Жижек иронически замечает, что так называемые «открытые» страны первого мира (список которых возглавляют США) являются самыми контролируемыми странами в истории человечества, где «видеокамеры следят за всем от автобусов до торговых центров, не говоря уже о почти тотальном контроле над всеми формами цифровой коммуникации». См.: Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального // http://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2001_07.htm.

без машины невозможно передвигаться), чаще всего оказывается в итоге пойманным на какой-нибудь одинокой заправке, где улыбчавый служащий, узнав его в лицо, виденное по телевизору, успеет протянуть руку к кнопке сигнализации.

Микки и Меллори полиция арестовывает почти в аналогичной ситуации – в аптеке, куда они, изможденные и больные, почти приползают, чтобы найти противоядие от змеиных укусов (кстати, аптеки в сценарии Тарантино тоже не было, Стоун придумал этот эпизод уже в процессе съемок). Современный преступник-одиночка не может скрыться от власти, он надежно подключен к системе потребления, поэтому он все равно рано или поздно «приползет» куда-нибудь, где будет установлена видеокамера и система сигнализации.

## 2.

> То, что многие сожалеют об «извращении» политики средствами массовой информации, о том, что кнопка телевизора и тотализатор социологических опросов с легкостью заменили собой формирование общественного мнения, – свидетельствует просто о том, что они не понимают, что такое политика.
>
> Газета «Монд»

Карта-схема США с телевизионной башней в центре и расходящимися от нее кругами телесигнала, которые покрывают территорию всей страны, деля ее на зоны, – один из самых важных образов фильмов Стоуна. Именно телебашня является для него центром/символом сегодняшней власти[5], а телевизионная трансляция – главным механизмом ее осуществления. Переформулируя идею Стоуна академическим языком, можно сказать, что телевидение есть форма дискурса постмодернизма, а следовательно, и постмодерной власти.

Остановимся на этом подробнее. Особый статус средств массовой информации в современном обществе зафиксирован в известном выражении «четвертая власть». Однако, как формулирует это Вадим Емелин, ссылаясь на известные работы

[5] Далее мы будем для удобства называть ее «постмодерной», подразумевая тип власти, который приходит на смену «современной» власти Фуко.

А. Крокера и Д. Кука [5], «на самом деле ситуация складывается несколько по-другому: налицо не возникновение нового властного института, а трансформация старых под влиянием новейших информационных технологий. В настоящее время власть – это не просто политические и административные структуры, а не что иное, как технологический гибрид, обнаруживающий себя в «роковом соединении власти и знака» (Крокер и Кук)» [6].

Взаимосвязь между постмодернистскими идеями и масс-медийными технологиями очевидна. Как известно, главными характеристиками постмодернистского дискурса являются фрагментарность, интертекстуальность и симуляция. Все они легко обнаруживаются в коммуникативных техниках телевидения. В частности, фрагментарность применительно к телевидению реализуется в трех проявлениях: мозаичность, серийность и дискретность. Эти особенности телевизионных технологий Стоун постарался показать в «Прирожденных убийцах» как можно более убедительно. Фильм в принципе стилистически сконструирован как ряд сатирических импровизаций на тему телевидения. Режиссер «играет» с классическими телевизионными жанрами, на которых выросло уже не одно поколение американцев. Так, сцены в доме Меллори сняты в жанре гэг-комедии с присущими ей «взрывами» закадрового смеха, плавно переходящей в фильм ужасов, когда Микки и Меллори убивают родителей главной героини. В других местах есть великолепные пародии на боевики класса «Б», «тюремные» и «журналистские» фильмы-серии, детские мультфильмы типа «Том и Джерри» и т.п. Ну, а вершиной сарказма Стоуна, как замечает кинокритик Е. Цымбал, можно считать «сентиментальную» сцену в тюрьме: вся нация, начиная с невозмутимой ведущей новостных программ, плачет от умиления, глядя на нежные чувства двух «монстров» [7]. Отдельно стоит упомянуть монтажную стилистику фильма. «Прирожденные убийцы» сделаны в клиповой манере, основные приемы – мозаичность и коллаж в различных своих ипостасях – «небрежная» архитектоника, резкие стыки метафоры и документа и т.п. В фильме использованы редкие архивные материалы, там есть и мультипликация, и комиксы, и компьютерная графика. Все это зрелище превращено монтажом в пародию на

стиль заставок MTV, который стал своего рода фирменным знаком американского телевидения[6].

Однако в контексте замысла Стоуна наиболее важным представляется все-таки поговорить не о фрагментарности, а о симуляции. Тему симуляции реальности, как известно, начал развивать в современной философии Жан Бодрийар. Он первый увидел в перепроизводстве знаков реальности симптом ее исчезно-

[6] Здесь можно усмотреть некоторое противоречие между утверждением о принадлежности Оливера Стоуна к модернистскому направлению в кинематографе и теми «постмодернистскими» средствами, которые он использует для решения своих творческих задач (в частности, в «Прирожденных убийцах»). Это противоречие можно разрешить, взяв за отправную точку анализ постмодернизма и постструктурализма, предложенный Ф. Джеймисоном. Как отмечают Н. Аберкромби и С. Лаш, использующие методологию Джеймисона, отличие модернизма от постмодернизма ярче всего проявляется, если проследить их отношение к реальности (или, пользуясь терминологией Ч. Пирса, «референту»). Большинство модернистских текстов, несмотря на то, что они являются не-реалистичными (и здесь имеется в виду, в первую очередь, их несоответствие конвенциям «реализма» как эстетической парадигмы), тем не менее, пытаются отразить именно то, что мы называем «реальным миром». При этом модернизм – как модус отношений между искусством и действительностью – зачастую исходит из имплицитной установки, что «видимое» не есть «реальное» – наоборот, оно чаще всего запутывает индивида, затемняя и скрывая реальность, а задача искусства как раз и состоит в том, чтобы «обнажить» систему, показать, «как все устроено на самом деле». Эту точку зрения мы можем обнаружить в определенных направлениях марксистской эстетики. Так, целью Брехта, например, было прояснить природу мира, добраться до правды и таким образом «разоблачить реальность». Но чтобы достичь этой цели, он использует модернистский метод, в его пьесах мы не находим «правдоподобного» – в обыденном смысле этого слова – описания повседневной жизни, повествование не является последовательной историей, где отдельные события рационально связаны между собой причинно-следственной связью. В противоположность реализму «рука автора» и сам процесс производства текста не скрыты, а продемонстрированы, провоцируя размышления по поводу сконструированности любой драмы, а аудитория призвана не пассивно воспринимать текст как нечто самодостаточное и цельное, а активно участвовать в производстве его смысла. Все эти особенности модернистского метода можно обнаружить и в фильмах Оливера Стоуна.
См. об этом подробнее: Abercrombie N., Lash S. Popular representation: recasting realism // S. Lash & J. Friedman (ed.) Modernity and Identity. Cambridge: Blackwell Publishers. P. 122–124.

вения[7]. Именно симуляция, по мнению Бодрийара, является той новой формой социально-политической реальности, в которой существует культура информационного общества и которая соответствует текущей модификации властных отношений[8].

Как и все информационные технологии нашего времени, телевидение по своей сути является симулякром. Как пишет В. Емелин, когда А. Крокер и Д. Кук провозгласили телевидение реальным миром постмодерна, они исходили из того, что последнее не укладывается в рамки классической теории репрезентации. С точки зрения Крокера и Кука, отождествление телевидения и реальности следует понимать в буквальном смысле, ибо все, что не отражено в реальном мире телевидения, является периферий-

7 Как отмечает С. Зенкин, термин «симулякр» (т.е. ложное подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в обществе как его заместитель), введенный (хотя и без четкого определения) уже в первой книге Бодрийара «Система вещей» (1968), существовал в европейской философии начиная с античности, причем обыкновенно включался в теологическую схему репрезентации, сформулированную Платоном: имеется идеальная модель-оригинал (эйдос), по отношению к которой возможны верные или неверные подражания. Верные подражания-копии характеризуются своим сходством (с моделью), а неверные подражания-симулякры – своим отличием (от модели и друг от друга), но общим для тех и других является соотнесенность, позитивная или негативная, с трансцендентальным образцом. Эта платоновская теория симулякра была воссоздана Жилем Делёзом в статье «Ниспровергнуть платонизм» (1967), причем воссоздана критически: Делёз выдвинул задачу освобождения симулякров от привязанности к модели и включения их в игру означающих. При этом программа «ниспровержения платонизма» у Делёза применялась по отношению к художественному творчеству. Бодрийар же – и в этом была новизна его подхода – перенес ее из сферы чистой онтологии и эстетики в описание современной социальной реальности, показав, как последняя вырабатывает самодостаточные, независимые от трансцендентных образцов образы-симулякры, которые все в большей степени формируют жизненную среду современного человека. См.: Зенкин С. Жан Бодрийар: время симулякров // Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 8–9.

8 В этой связи наиболее важной представляется книга Бодрийара «Символический обмен и смерть», где он предлагает историческую схему «трех порядков» симулякров, сменяющих друг друга в новоевропейской цивилизации от Возрождения до наших дней: «подделка – производство – симуляция». См.: Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 111.

ным по отношению к главным тенденциям современной эпохи. В своей интерпретации телевидения они отвергают традиционное понимание ТВ: согласно Крокеру и Куку, в постмодернистской культуре не телевидение выступает зеркалом общества, а, наоборот, общество есть зеркало телевидения [8].

Что имеется в виду? Говоря коротко, новые виды информационной коммуникации, связанные с модификацией знаковой системы, коренным образом изменили способ реализации властных отношений. Это можно проследить, в частности, на примере таких процессов, как освещение военных, национальных и других конфликтов, создание имиджа государства и государственной власти и т.п., осуществляемых с помощью индустрии масс-медиа. Изучение этих и других PR-технологий позволяет сделать вывод, что средства массовой информации фактически перестают отражать действительность, а сами творят образы (симулякры), которые, собственно, и формируют нашу реальность.

Причем, в отличие от других СМИ, которым также присуща симулятивная природа, телевизионная симуляция основана на особенностях восприятия человеком визуального образа. Как отмечал Умберто Эко, у образов есть «платоническая сила», они преображают частные идеи в общие, и поэтому «посредством визуальных коммуникаций легче проводить стратегию убеждения, сомнительную в ином случае». «Читая в газете, что «такой-то» провозглашает: «Х – в президенты!», я понимаю, что высказывается мнение «такого-то». Но если по телевизору какое-то неизвестное мне лицо агитирует: «Х – в президенты!», то воля индивида воспринимается уже как сгусток общей воли» [9], – приводит пример У. Эко.

То же самое происходит, когда речь идет о войне или других насильственных действиях. Как пишет В. Емелин, «можно в течение продолжительного времени слышать или читать сообщения о геноциде или этнических чистках в той или иной стране и оставаться к этому равнодушным, но стоит увидеть на экране документальные кадры, подтверждающие описываемые события – и отношение к ним в корне меняется, ибо мы в определенной степени становимся свидетелями, очевидцами происшествия. Естественно, показанные кадры могут оказаться сфабрикованными или же фиксировать единичный случай, не отражающий общую тенденцию, но получая готовый образ, да еще в определенном

смысловом контексте, мы начинаем верить в реальность происходящего» [8]. Если прибавить к этому претензию на стопроцентную достоверность, которая реализуется в значительной части телевизионных программ (от выпусков новостей до *reality shows*), становится понятным, почему в итоге у зрителя и вовсе пропадает способность отличать «реальность» от «нереальности». М. Трофименков, анализируя работу Поля Вирилио «Экран пустыни» и книги Бодрийара «Войны в Персидском заливе не было» и «Иллюзия конца», пишет о том, что с появлением круглосуточного прямого телевизионного вещания (типа CNN) исчезает дистанция между событием и его репрезентацией, что приводит, по выражению Вирилио, к «тирании реального времени». Более того, возникают новые возможности для фальсификации, более изощренной, чем фальсификация монтажная. Трофименков приводит в пример операцию «мертвецы Тимешоары» (термин, ставший во французской культурологии синонимом фальсификации), организованную новым румынским правительством, пришедшим к власти в результате революции. «Революция началась с подавления демонстрации в Тимешоаре, и лозунг «Отомстим за Тимешоару» был очень популярен, журналистов возили из города в город и показывали им новые и новые братские могилы жертв репрессий. Журналисты насчитали десятки тысяч погибших. И когда Чаушеску судили, ему инкриминировали 60 тыс. убитых. Но что оказалось? С журналистами сыграли ту же шутку, что и с Андре Жидом в 1936 г., когда он ездил по СССР. Он был приятно удивлен, что во всех, даже самых маленьких городах, его поезд встречают с аккуратно написанными на французском языке транспарантами. Только потом он понял, что транспаранты возили в том же самом поезде и просто раздавали демонстрантам. В Румынии произошло что-то подобное, только более кощунственное, поскольку с места на место возили трупы, стараясь преувеличить масштабы трагедии. Так же, используя особенности прямого репортажа, новые румынские руководители инсценировали перестрелки в Бухаресте специально для журналистов. Та же история с расстрелом четы Чаушеску, которых сначала убили, а потом для телевидения стреляли уже по мертвым телам» [10, с. 209].

В результате из средства регистрации события телевидение все чаще превращается в средство его провокации. Все больше

разного рода общественных акций происходит исключительно для того, чтобы быть зафиксированными телекамерами и показанными по ТВ. Здесь можно привести массу примеров – от съездов различных партий до последних печально известных террористических актов, в частности, событий 11 сентября 2001 г. в США или захвата заложников в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост». Бодрийар писал, что чем больше камер установлено в общественном месте, чем больше интерес СМИ к событию, тем больше шансов, что там произойдет насильственный акт. «Если раньше насилие притягивало камеру... то теперь сами СМИ притягивают насилие. Террористам удобнее взрывать бомбу в определенное время, чтобы сообщение о взрыве попало в восьмичасовой выпуск новостей» [10, с. 210].

## Заключение

Возвращаясь к «Прирожденным убийцам», попробуем предположить, что именно об этом и снимал свой фильм Оливер Стоун – о телевидении как о власти, которая создает реальность современного человека, структурируя его пространство и время (для скольких людей ТВ-программа – одно из главных расписаний в их жизни?), разбивая население на аудитории – некие «серийные единства», каждое из которых представляет собой «антиобщность или социальную антиматерию – электронно составленную, риторически сконструированную, этакий электронный бульвар, обеспечивающий преимущества психологической позиции соглядатая...» [11, с. 163]. А точнее, Стоун снимал фильм об американском телевидении и о том специфическом типе субъекта, который формирует масс-медиа/власть США.

Вывод, который прочитывается в его фильме, не утешителен. США переполнены виртуальным насилием и виртуальной преступностью, виртуальными болью и страданиями и виртуальными катастрофами до такой степени, что американцы оказываются нечувствительными к страданиям и бедствиям реальным[9].

[9] В статье «Эпоха Corpus'a?..» (вопросы и наброски к беседе с Ж.-Л. Нанси) Валерий Подорога пишет о том, что в современном западном мире боль в значительной степени стала чисто оптическим (зрительным) феноменом, тем, что мы видим, а не тем, что мы чувствуем и переживаем своими телом и душой. Одним из источников этой «тотальной анестезии» является экран, который «превращает индивидуально переживае-

Культ силы и борьбы в качестве высших нравственных ценностей и «задокументированная» кровь и смерть в качестве новостей и развлечений (вспомним популярный телевизионный лозунг «*if it bleeds it leads*») – это часть компенсаторного идеологического фантазма, конструируемого в том числе в связи с постоянной потребностью власти в поддержке со стороны населения самых жестких форм санкционированного государством насилия (в том числе ведения военных действий за пределами США).

Если в заключение мы еще раз попытаемся сформулировать главный вопрос, поставленный Стоуном в «Прирожденных убийцах», то он будет звучать примерно так: что происходит с человеком, живущим в дискурсе насилия, конструируемом и бесконечно воспроизводимом гибридом власть/телевидение (что ведет к возникновению у аудитории все возрастающей потребности в такого рода зрелищах), и можно ли разорвать этот замкнутый круг?

В этой связи наиболее интересной представляется финальная часть «Прирожденных убийц». Уэйн Гэйл прямо в здании тюрьмы берет у Микки интервью, которое транслируется в прямом эфире, и обещает «Американским маньякам» неслыханный рейтинг. Заключенные (они тоже организованно смотрят передачу), вдохновленные философствованиями Микки на темы свободы и врожденной агрессии, устраивают в тюрьме бунт, в результате чего Микки удается освободиться из-под стражи. Расстреляв всех охранников, он берет в заложники Уэйна Гэйла и оператора с камерой. «Вы хотели реальности? – спрашивает

мое событие боли в безымянный зрительный субстрат». В результате «повседневные пространства жизни оснащаются экранами, компенсирующими недостаток чувствительности и создающими настоящие, подчас глубокие, фантазмы «сильных» переживаний… Но все эти сильные переживания тем не менее не изгоняют зрителя из того анестезированного и стерильного пространства, в котором он повседневно обитает. Чудовищная, невообразимая боль, которую, вероятно, никто не в силах пережить, всегда – там, но не здесь, где удобно расположился зритель. Компенсация недостающей чувственности осуществляется благодаря регенерированию новых чувственных органов, которыми и начинает пользоваться зритель. Малые чувства уже ничего не значат, они недостаточно валидны для всего процесса компенсации. Иными словами, тот, кто пытается пережить что-то более сильное, чем просто боль, не знает, что такое боль». См.: Подорога В. Эпоха Corpus'a?.. // Нанси Ж.-Л. Corpus. М.: Ad Marginem, 1999. С. 200–203.

Микки с иронией, – вы ее получите!» Прямой репортаж продолжается, но это уже «реальность», конструируемая «с другой стороны» – реальность, которую здесь и сейчас производит лично Микки[10]. Камера фиксирует «кровавый путь» Микки и Меллори на свободу, а финальной точкой становится убийство самого Гэйла – единственного, кто остался с Микки и Меллори до конца, проникнувшись охватившим его чувством «настоящей жизни». Отвечая на мольбы Гэйла сохранить ему жизнь, Микки говорит: «Мы убиваем не тебя, а то, что ты представляешь, я не уверен на сто процентов, что мы хотим этим сказать, но ведь Франкенштейн убил доктора Франкенштейна, и если мы не сделаем этого, мы будем просто такими, как все». Микки и Меллори стреляют, камера работает, показывая падающего на землю окровавленного репортера, и бодрая и деловая до этого момента ведущая новостей наконец в ужасе отшатывается от монитора, вероятно, испытывая тот «освобождающий» шок, которого и ожидал от нас всех Оливер Стоун.

### *Литература*


1. *August J., Hamsher J., Stone O. (Introduction)*. Natural Born Killers. Signet books, 1994.
2. *Фуко М.* Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996.
3. *Бодрийар Ж*. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000.
4. *Фуко М*. Надзирать и наказывать. М.: Ad Marginem, 1996.


[10] Здесь уместно еще раз обратиться к цитируемой выше лекции У. Эко. Рассуждая о путях развития информационного общества, он, в частности, замечает, что «в ближайшем будущем наше общество расщепится – или уже расщепилось – на два класса: тех, кто смотрит только телевидение, т.е. получает готовые образы и готовое суждение о мире, без права критического отбора получаемой информации, и тех, кто смотрит на экран компьютера, т.е. тех, кто способен отбирать и обрабатывать информацию». Если же рассмотреть происходящее с помощью методологии анализа власти М. Фуко, можно предположить, что в условиях постмодернистской власти центральный алгоритм паноптикона – разбиение пары «видеть – быть видимым», меняется на алгоритм телевидения – разбиение пары «смотреть – производить видимое». Таким образом, Микки и Меллори в последней сцене фильма Стоуна нарушают логику этого алгоритма.

5. *Kroker A., Cook D.* The postmodern Scene: Experimental Culture and Hiper-aesthetics. Macmillan, 1988.
6. *Емелин В.* Постиндустриальное общество и культура постмодерна. http://www.geocities.com/emelin_vadim/postindustrial.htm.
7. *Цымбал Е.* Прирожденные убийцы (рецензия). http://kinomania.ru/movies/n/Natural_Born_Killers/index.shtml.
8. *Емелин В.* Телевидение: стиль и образ постмодерна. http://www.geocities.com/emelin_vadim/TV.htm
9. *Эко У.* От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Публичная лекция У. Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998. http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html.
10. *Трофименков М.* Война конца века // Митин журнал. 1993. № 50.
11. *Кроукер А., Кук Д.* Телевидение и торжество культуры // Комментарии. 1997. № 11.



**Elina Kazakova**

## Media Culture and Violence in Oliver Stone's Natural Born Killers

Summary

The article presents a detailed analysis of Oliver Stone's famous movie Natural Born Killers (USA, 1994) which happened to be not only one of the director's finest works but also a much publicized event in the middle 1990's. Despite the fact that Oliver Stone had openly declared his intention to make a film that would serve as an indictment of television and its ability to manipulate the masses as well as of America's fascination with violence, he himself was accused by various media of being a propagandist of violence and cruelty immediately after the movie had been released. Until now this controversial film makes critics and audience argue about its essential meaning and the director's message. In the article the author attempts to view the Stone's movie in the aspect of such important problems of contemporary cultural studies as transformation of power and complex relations between sanctioned and non-sanctioned forms of violence (Michel Foucault's concept of power), turning violence and death into entertainment (Jean Baudrillard, Paul Virilio), the impact of modern mass-media technologies on formation of a new type of power relations (A. Kroker, D. Cook).

**Keywords**: mass media, television, power, violence, postmodernism.

*Т.И. Кисель*

# ЭВОЛЮЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

Сотрудничество Беларуси и России в военной сфере является одним из наиболее успешно и динамично развивающихся областей двусторонних отношений. Этому способствовали как историко-экономические и историко-военные связи, географическое положение Беларуси, так и личные отношения президентов в 1990-е гг. Переориентация сотрудничества на двустороннюю основу и интенсификация связей происходили на уже сформированной базе. Двигаясь «по инерции», военные ведомства двух государств все больше расширяют область взаимодействия.

**Ключевые слова**: военно-политическое сотрудничество, военно-промышленный комплекс, совместные учения, консультации.

## 1. Введение

Беларусь после 1991 г., как и другие республики, оказалась не готова к полной независимости, и прежде всего потому, что ее экономика оказалась настолько увязанной с экономиками других постсоветских государств, что вследствие разрыва связей экономические издержки становились просто неизбежностью. Промышленность республики зависела от поставок сырья из других регионов Союза, Беларусь являлась своеобразным «сборочным цехом», как ее еще называли, благодаря развитому индустриальному сектору и концентрации производственных мощностей. Зависимость производства республики от россий-

ских энергоносителей была впечатляющей: «Беларусь зависит от России на 83% в потреблении нефти и на 94% – в своих потребностях в природном газе» [1, с. 52]. Руководство страны как до 1994 г., так и после прекрасно осознавало эту зависимость. Однако переориентация республики и модернизация производства могли стоить слишком дорого, а выгоды такого процесса могли проявиться лишь в долгосрочной перспективе.

В Беларуси осталась развитая инфраструктура оборонного сектора с большим количеством военных баз и высокой концентрацией военнослужащих. Военно-промышленный комплекс республики, как и другие отрасли производства, был сильно завязан на сотрудничестве с ВПК других республик, и, прежде всего, с российским ВПК, не имея предприятий ВПК, которые бы полностью производили военную технику. Зависимость от экспорта заставляла руководителей предприятий лоббировать свои интересы, связанные с сохранением контрактов для ВПК республики.

Российская зависимость от Беларуси проявлялась в военном и геостратегическом отношении.

После распада Союза от России оказалась оторванной существенная часть военной инфраструктуры, и это создавало ситуацию оборонного вакуума, прежде всего на западном направлении. Кремль был заинтересован в сохранении связей с белорусским оборонным сектором, а также с ВПК, так как российские предприятия оборонного комплекса зависели от поставок комплектующих и военных частей (например, оптики) из Беларуси. В начале 1990-х гг. от официальной Москвы поступило предложение о военном сотрудничестве и выстраивании совместной региональной системы обороны.

## 2. Истоки и предпосылки

К сотрудничеству с Россией страна пришла не сразу. Это было связано и с дезинтеграционными настроениями в некоторых республиках бывшего Союза, царящими в то время, и с боязнью власти «попасть под диктат» Москвы (С. Шушкевич) [2, с. 68]. Объявленный нейтралитет определял позицию Беларуси на первоначальном этапе. Однако существовала масса предпосылок для поворота на Восток. Беларусь была одной из самых военизиро-

ванных республик, в наследство от СССР ей досталось не только ядерное оружие, размещавшееся на 23 базах республики, но и огромные запасы обычных вооружений, а также самая высокая концентрация военнослужащих (см. [3]) белорусских и российских, в том числе переброшенных из стран Центральной и Восточной Европы. Сокращение числа военнослужащих оказало бы экономически и социально негативное влияние на общую ситуацию в стране (например, рост числа безработных). ВПК Республики Беларусь был очень сильно связан с ВПК Российской Федерации, так как в Беларуси, России и на Украине была сконцентрирована значительная доля предприятий союзного ВПК. Для самостоятельного развития военной промышленности, впрочем как и для переориентации военных отраслей промышленности на гражданские нужды, требовались огромные финансовые вложения. К тому же конверсия предприятий военной промышленности в гражданские продвигалась очень медленными темпами. Из-за разрыва связей с военно-промышленными предприятиями других республик потеря заказов для ВПК Беларуси и сокращение специалистов, работающих в этой отрасли (а это огромное число), оказали бы серьезное негативное воздействие на экономику республики.

Экономическая сторона дела явилась одним из факторов развития белорусско-российского военного тандема.

Беларусь, как неожиданно образовавшееся независимое государство, столкнулась с проблемой глубокой взаимозависимости с другими постсоветскими государствами, и прежде всего с Россией. «Беларусь, вследствие ее сильной зависимости от импорта энергоресурсов и других основных сырьевых материалов из России и других стран СНГ, обречена на тесное сотрудничество с другими странами бывшего Советского Союза», – такое мнение выразил первый председатель Белорусского Национального банка Станислав Богданкевич [4, с. 52].

Принимая во внимание тот факт, что индустриальный сектор Беларуси развивался в советский период, становится понятна историческая обусловленность экономической зависимости: основные экономические, политические, оборонные институты советских республик были глубоко интегрированы друг с другом (и, прежде всего, с российскими). Республика была одним из основных поставщиков продовольственных и промышленных

товаров в другие республики Советского Союза (35% ВВП составлял экспорт). В настоящее время, несмотря на появление новых барьеров в виде установления границ, таможен, политических разногласий, связи между государствами остались. Остается понимание необходимости сотрудничества, так как несмотря на разрыв некоторых экономических и политических связей, взаимозависимость все-таки присутствует.

Беларусь экономически зависела от российских рынков сбыта, поставок сырья и энергоносителей (и эта зависимость осталась до сих пор). Это явилось *экономическими* причинами реинтеграции с Россией.

*Политическими* причинами такого шага являются: 1) изначальная поддержка Кремлем белорусской власти; 2) игра на постсоветских ностальгических настроениях белорусского электората; 3) возможность для Москвы сохранить контроль и влияние на территории бывшего сателлита. К тому же в результате политических ошибок белорусской власти на начальном этапе возобновляемые было связи с остальным миром сократились до минимума (имеются в виду преимущественно страны Европы и США). Поэтому пространство СНГ является приоритетным направлением сотрудничества.

## 3. Постсоветское возобновление и развитие военных связей

Основы постсоветского периода военного сотрудничества были заложены в 1992 г. после подписания Договора о координации действий в военной сфере сроком на пять лет. Москва еще в 1991 г. предложила Беларуси совместную оборону, возможно, предполагая отход Минска в сторону Запада по примеру других союзных республик и «оголение» с оборонной точки зрения западных рубежей России. Но 20 марта 1992 г. Советом Республики был ратифицирован декрет о создании Национальных Вооруженных Сил на базе Белорусского военного округа. Республика оставила в своем распоряжении большую часть советской военной инфраструктуры. В наследство от СССР Беларусь получила самую высокую концентрацию военнослужащих: 1 военный на 43 гражданских лица; а 10% территории республики было занято под военные базы (см. [5]).

В 1993 г. Верховный Совет Республики Беларусь проголосовал за вступление Беларуси в систему коллективной безопасности стран СНГ, договор о которой был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте, хотя первоначально Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич отказался подписывать Договор о коллективной безопасности, мотивируя отказ тем, что Договор не согласуется с позицией нейтралитета Республики Беларусь. К тому же он опасался диктата со стороны Москвы. Однако в результате давления более консервативного лобби, которое осознавало необходимость военных заказов для уже сформированного ВПК и более плавного перехода к формированию национальных Вооруженных Сил, Договор был подписан. Аргументами такого шага явились:

- развитие ВПК за счет военных заказов стран – участниц Ташкентского договора 1992 г.;
- возможность продолжения и углубления военно-политических и военно-промышленных связей, установившихся за время существования Советского Союза;
- сохранение уже сформированной системы коллективной безопасности;
- невозможность государства самостоятельно содержать собственные Вооруженные Силы и обеспечивать свою безопасность;
- невозможность полноценной академической подготовки военных специалистов только на базе военных академий Беларуси.

В начале 1990-х гг., несмотря на то, что спекуляций на тему общего оборонного пространства было очень много, учитывая исторические связи, отлаженные отношения, экономические факторы, реально сделано было мало. Но на тот момент ни одна из вновь образованных стран не могла обеспечить свою безопасность самостоятельно. Российско-белорусское военное сотрудничество частично развивалось из стремления уменьшить экономическое бремя оборонного наследия. В Беларуси для приведения военных запросов, унаследованных от СССР, в соответствие с экономическими возможностями республики, проводится военная реформа. Потеря Россией важных военных баз в Прибалтике, особенно радиолокационной станции в Скрунде,

Латвия, также существенно сказалась на интенсификации взаимодействия России с Беларусью.

Московские лидеры увидели в Беларуси потенциального военного союзника, что объяснялось не только стремлением заполнить вакуум в национальной оборонной системе, но и схожим восприятием совместных военных угроз стабильности и безопасности. Так как советское военное наследие включало в себя не только материальное имущество, налаженные связи военной промышленности, экономические проблемы, связанные с оставленным бременем, но образ мысли, общий стратегический взгляд на мир (подозрительно-враждебное отношение к государствам, входящим в блок НАТО). Естественно, что сейчас это отношение частично поменялось, но изначально этот фактор имел существенное значение. Беларусь также была озабочена расширением НАТО и возможным вступлением ее непосредственных соседей – Польши, Литвы и Латвии – в «агрессивный» блок, поэтому предложение о сотрудничестве было принято. От военного сотрудничества с Россией (которая занимает второе место в мире по военному потенциалу) Беларусь получает существенные выгоды: помощь России в реформировании белорусской армии, поставки вооружения по льготным ценам (в рамках ОДКБ), совместные военные учения, сохранение заказов для ВПК, обмен информацией, консультации, военно-научное сотрудничество, обучение специалистов в военных вузах Российской Федерации.

С избранием весной 1994 г. пророссийского Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отношения двух государств получили новый импульс развития. Беларусь, как и многие другие новые постсоветские государства, получила экономические преференции (выражающиеся в льготных поставках энергоносителей). Учитывая экономическое положение новых независимых государств, Россия понимала невозможность на тот момент перехода на рыночные отношения в энергетической сфере во избежание экономической и политической нестабильности по периметру своих границ. К тому же на территории постсоветских государств осталась военная инфраструктура, необходимая Российской Федерации для обеспечения безопасности и сохранения статуса военной державы.

Развиваясь по отдельности, экономическая и военная составляющие в процессе эволюции взаимоотношений России и Беларуси были связаны между собой политической составляющей.

В 1994 г. было достигнуто межправительственное соглашение об аренде сроком на 25 лет уже существующего с советского времени зонального пункта связи российского ВМФ, расположенного в городе Вилейка Минской области. Данный пункт связи ретранслирует сигналы на российские корабли и подводные лодки, находящиеся в Центральной и Северной Атлантике. В годы холодной войны этот объект был ключевым звеном в цепи управления атомными подводными лодками стратегического назначения.

А в начале 1995 г., после двух лет переговоров, было подписано межгосударственное соглашение об аренде военной базы (сейчас РЛС «Волга» под Ганцевичами, Брестская область), занимающей примерно 200 га. В соответствии с данным соглашением недвижимость и участок земли, занимаемый станцией, были переданы бесплатно и без налогов в распоряжение российских военных на 25 лет. Россия приобретала право строительства новой радиолокационной станции раннего предупреждения с целью компенсации демонтированной станции в Скрунде в Латвии. «Волга» предназначена для обнаружения баллистических ракет, космических объектов и наблюдения за районами патрулирования подлодок с ракетами «Трайдент» в Северной Атлантике и Норвежском море. Сейчас она входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении. Станция обслуживается российскими военнослужащими Космических войск (около 2 тыс. чел.) и местным гражданским персоналом. За предоставление военной базы в распоряжение Космических войск Российской Федерации Беларусь безвозмездно пользуется российским полигоном ПВО «Ашулук» в Астраханской области (см. [6]).

Российские военные базы – это те объекты, которые представляют собой стратегическую ценность для Российской Федерации и которые потенциально могут быть использованы Республикой Беларусь с целью выставления условий и достижения преференций в других областях сотрудничества.

21 февраля 1995 г. Россия и Беларусь определили базу для дальнейшего политико-экономического сотрудничества, подписав Договор о Дружбе, Добрососедстве и Сотрудничестве. В

соответствии с Договором, «стороны будут осуществлять координацию деятельности в военной области в соответствии с отдельными соглашениями. В случае вооруженного нападения на одну из сторон или угрозы такого нападения стороны будут консультироваться и принимать другие меры с учетом обязательств по Договору о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и другим договорам, участниками которых они являются. Стороны в условиях открытости границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь будут осуществлять на своих границах с третьими государствами надлежащие меры по обеспечению безопасности друг друга» (см. [7]).

Показателем углубления сотрудничества служит и проведение 14 мая 1996 г. совместной сессии Коллегий Министерств Обороны России и Беларуси в Москве, посвященной рассмотрению таких вопросов, как определение сроков и процедуры разработки основных направлений развития Вооруженных Сил России и Беларуси; использование военной инфраструктуры в целях усиления региональной безопасности; подготовка персонала в высших учебных заведениях России и Беларуси и др. Решение о создании *Совместной коллегии министерств обороны* Российской Федерации и Республики Беларусь было принято позже, на заседании руководящего состава военных ведомств в декабре 1997 г., проходившем в Минске, с целью углубления и расширения военного сотрудничества в рамках Договора о Союзе и Устава Союза Беларуси и России. В состав Коллегии входят министры обороны Республики Беларусь и Российской Федерации, заместители министров обороны, другие должностные лица органов управления министерств обороны при равном количестве представителей от каждого министерства обороны (см. [8]). Заседание Совместных коллегий министерств обороны России и Беларуси проводятся два раза в год, в Минске и Москве, позволяя обсуждать вопросы совместной оборонной политики и обеспечения региональной безопасности. (Среди стран СНГ это единственный пример подобной практики [9].)

Существует практика проведения совместных «*круглых столов*» накануне заседаний Совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. Во время таких дискуссий обсуждаются накопившиеся со времени проведения предыдущей коллегии вопросы, проблемные моменты и неразрешенные ситуации.

В случае, если стороны не находят общего решения проблемы, вырабатываются общие подходы для того, чтобы облегчить ее разрешение в будущем, и проблема выносится за скобки дискуссии на коллегии во избежание осложнения процесса дискуссии.

С образованием Сообщества России и Беларуси 2 апреля 1996 г., а затем и Союза России и Беларуси появились дополнительные (нормативно-правовые) возможности для интеграции стран в военной сфере. 19 декабря 1997 г. в Минске был подписан Договор о военном сотрудничестве, а также Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. В соответствии с этими документами были согласованы позиции по использованию военной инфраструктуры, разработан метод определения и размещения совместного оборонного заказа, подготовлено создание объединенной системы технической поддержки Вооруженных Сил.

К концу 1998 г. Россия и Беларусь создали региональную подсистему военной безопасности в рамках общей системы коллективной безопасности СНГ (см. [10]). В соответствии со структурой ОДКБ выделяется Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности, Кавказский регион коллективной безопасности и Восточноевропейский регион, включающий Республику Беларусь, территории прилегающих к ней областей Российской Федерации, а также Калининградскую область и акваторию Балтийского моря.

Двустороннее сотрудничество в области деятельности Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил организовано на основе Соглашения между министерствами обороны Российской Федерации и Республики Беларусь о порядке взаимодействия дежурных сил и средств противовоздушной обороны от 25 февраля 1995 г. Основными направлениями этого сотрудничества являются *совместное несение боевого дежурства по противовоздушной обороне*, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, расширение военно-технического сотрудничества. В соответствии с соглашением от 27 февраля 1996 г. «О порядке предоставления Российской Федерацией Республике Беларусь военных полигонов для проведения боевых стрельб соединениями и частями противовоздушной обороны Вооруженных Сил

Республики» белорусские соединения и воинские части ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь ежегодно проводят учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук Астраханской области, Российская Федерация.

26 декабря 2001 г. Высшим Государственным Советом была принята *Военная доктрина* Союзного государства. Основными направлениями построения военной организации в этом отношении являются (см. [11]):

- унификация нормативно-правовой базы;
- унификация системы управления Вооруженными Силами Республики Беларусь и Российской Федерации;
- техническое переоснащение национальных Вооруженных Сил на основе совместных программ вооружений и оборонного заказа;
- создание системы подготовки военных кадров на основе согласованных программ;
- развитие и совершенствование объектов военной инфраструктуры, предназначенных для совместного использования;
- координация планов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проведение совместных поисковых и прикладных исследований.

С целью совместного обеспечения региональной безопасности было принято решение о создании *объединенной региональной группировки войск*, состоящей из Вооруженных Сил Республики Беларусь и военных формирований Российской Федерации. В октябре 1999 г. министры обороны обоих государств подписали соглашение о создании объединенной региональной группировки войск на западном направлении. Согласно заявлениям, эта группировка не имеет своим объектом какого-то конкретного врага, но она будет готова к действию, если таковой появится, а мощь, размеры и укомплектование кадрами зависят от задач, поставленных перед группировкой. В направлении создания региональной войсковой группировки России и Беларуси был подписан ряд документов, например Концепция совместного технического обеспечения региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации, соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о совместном тыловом обеспечении региональной группировки войск (сил)

Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Белорусским руководством было определено, что белорусские воинские контингенты, выделенные в состав региональной группировки, будут постоянно находиться на территории Беларуси и подчиняться исключительно министерству обороны Республики Беларусь. Данная норма была утверждена Протоколом о порядке формирования и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности в рамках Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., подписанным 4 февраля 2002 г. Президентом Республики Беларусь (см. [12]).

Ежегодно проводятся учения с отдельными воинскими частями, входящими в группировку, совместные *командно-штабные учения и игры*. Проводятся совместные семинары.

Первые годы после подписания Договора и до определенного времени не было необходимости для масштабного привлечения сил. В 2004 г. в Беларуси проходили учения по тыловому обеспечению войск с участием начальника Генштаба и заместителя министра обороны по тылу России (см. [13]). В 2005 г. подобные учения с участием белорусских военных проходили на территории России. На территории Московского военного округа регулярно проводились учения с участием белорусских военных частей, входящих в группировку. С 17 по 25 июня 2006 г. проводились масштабные командно-штабные учения, в ходе которых были отработаны действия российско-белорусской региональной группировки войск, Объединенного командования в управлении соединениями и частями группировки, а также функционирование единой системы ПВО.

Финансирование частей региональной группировки осуществляется на государственном уровне из бюджетов национальных министерств обороны. Кроме того, реализуемые совместные программы (например, программа совершенствования системы противовоздушной обороны) финансируются как на государственном, так и на межгосударственном уровне, из бюджета Союзного государства.

Российско-белорусская группировка войск создавалась на протяжении нескольких лет. Устанавливались правовые рамки, регулирующие деятельность группировки, на уровне военных ведомств решались рабочие вопросы, отрабатывался порядок

взаимодействия частей, входящих в группировку. Согласно заявлению министра обороны Беларуси, совершенствуются подходы к решению оперативных задач, прежде всего разведки и технического обеспечения войск. Подписан ряд документов, упрощающих работу в этих направлениях. На Совместной коллегии министерств обороны был определен порядок реализации программы «Совершенствование и содержание объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» (см. [14]). Несмотря на активное продвижение в этой сфере, остается много нерешенных вопросов. В частности, в правовом отношении необходимо отрегулировать систему обеспечения группировки средствами управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и др.

## 4. Военно-техническое сотрудничество

В военно-научной сфере и научно-исследовательской сфере связи сохранились. Даже если нет официальных договоренностей о координации деятельности, то «на уровне научных исследований, конструкторской мысли, производства и модернизации вооружений обмен мнениями оставался всегда» (см. [15]), особенно между российскими и белорусскими институциями.

Ратификация Государственной Думой Российской Федерации 12 декабря 2001 г. Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. открыла возможность развивать *военно-техническое сотрудничество* Российской Федерации с Республикой Беларусь на льготных условиях. Это поставки продукции военного назначения по внутригосударственным ценам; отсутствие налога на добавленную стоимость при оформлении авансовых платежей для финансирования производства и поставок; перевозка продукции военного назначения по условиям и тарифам, установленным для собственных Вооруженных Сил (см. [16]).

В 2002 г. государствами – участниками ДКБ (Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) был подписан Протокол о порядке осуществления контроля за целевым использованием

продукции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. Беларусь подписала данный Протокол 7 октября 2002 г. не в полном объеме. Оговорка Беларуси относится к одной из целей контроля, которой является проверка соблюдения мер защиты сведений, связанных с поставкой продукции военного назначения и составляющих государственную тайну поставляющей стороны (см. [17]).

Одним из первоочередных шагов военно-технического сотрудничества, по заявлениям министров обороны Леонида Мальцева и Сергея Иванова, является *модернизация боевой техники и вооружений*, создания их новых образцов, прежде всего, для нужд противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, для чего необходимо «максимально использовать опыт и возможности предприятий ВПК двух стран» (см. [18]).

По словам министра обороны Сергея Иванова, Россия собирается увеличить расходы на приобретение и модернизацию техники ВВС и ПВО не менее чем в два раза [19]. Кроме того, будут предприниматься меры по укреплению Вооруженных Сил ее союзников по организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и Беларуси в первую очередь. В частности, в 2006 г. завершилась поставка в Беларусь российских зенитных ракетных комплексов С-300, предназначенных для создания рубежей противовоздушной обороны. Кроме того, мобильная зенитная ракетная система используется для обороны военных и промышленных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения.

В рамках программы совершенствования системы противовоздушной обороны одним из предприятий белорусского ВПК – Государственным научно-производственным объединением (ГНПО) «Агат» были разработаны автоматизированные системы управления (АСУ): подвижный пункт управления оперативно-тактического командования, подвижные командные пункты зенитной ракетной бригады, истребительной авиабазы, подвижный пункт управления наведения авиации и др. [20]. Использование АСУ в системе ПВО, как утверждается, может повы-

сить ее эффективность на 30%. Системы уже прошли испытания и ставятся на вооружение для усиления системы ПВО.

После проведения консультаций и согласований с российским министерством обороны в Беларуси была проведена полномасштабная модернизация армии. Результат в целом позитивный. Теперь военно-техническая политика перевооружения будет осуществляться в соответствии с Государственной программой вооружения на 2006–2015 гг. (утверждена в сентябре 2005 г.). Подобных документов раньше не готовилось.

Как сообщил министр обороны Республики Беларусь Леонид Мальцев, в соответствии с госпрограммой предусматривается модернизация имеющихся и закупка новых образцов вооружения и техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой сфере, другие мероприятия по поддержанию вооружения и техники в боеготовом состоянии, а сама программа будет реализовываться в тесной *кооперации с российским военно-промышленным комплексом* [21].

## 5. Военно-научное сотрудничество

Одним из основных документов в области сотрудничества в военно-научной области является *Программа военно-научного сотрудничества* министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Основными направлениями Программы до 2006 г. являлись [22]:

- выработка согласованных предложений по основным направлениям военно-научного сотрудничества сторон;
- совершенствование нормативной правовой базы военно-научного сотрудничества;
- проведение совместных исследований по проблемам военной безопасности, обороны, военной теории и практики, в том числе организации управления региональной группировкой войск (сил) на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях;
- унификация уставных документов;
- совершенствование системы обмена военно-научной информацией;
- подготовка научных и научно-педагогических кадров.

Между Беларусью и Россией существует ряд договоренностей о *производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности*, о военном контроле качества продукции для Вооруженных Сил, о сохранении специализации предприятий и организаций, производящих продукцию военного назначения. Существуют планы по созданию российско-белорусского совместного предприятия по разработке и производству вооружения и военной техники и центр сервисного обслуживания, модернизации и ремонта вооружения и военной техники ПВО [23].

Как уже отмечалось, на территории Беларуси нет предприятий, целиком производящих военную технику. Беларусь производит и поставляет на экспорт комплектующие и составные части для разных видов вооружения, например, системы управления для Вооруженных Сил, оптику для космических кораблей, орбитальных станций и вооружения. Поэтому создание совместного предприятия является для Беларуси довольно выгодным проектом. Большинство ремонтных и производственных предприятий в 2004 г. в Беларуси было передано в ведомство Государственного военно-промышленного комитета.

Между Беларусью и Россией существуют различные механизмы обмена информацией в области научных разработок. Например, в марте 2005 г. в Минске была проведена научно-практическая конференция, посвященная вопросам боевого применения оперативно-тактических командований, соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО. В ходе конференции участники были ознакомлены с состоянием разработки учебно-тренировочных средств зенитных ракетных войск. Главный конструктор московского ЗАО «Центр совместных технологических разработок» Павел Сафронов рассказал, в частности, о возможностях нового тренажера для зенитно-ракетного комплекса С-300 (см. [24]). Также в Беларуси было открыто региональное отделение Академии военных наук России, в котором работают только белорусские ученые (см. [25]). Но это облегчает взаимодействие на научном уровне. Министерство обороны Республики Беларусь определило приоритетные направления научных разработок в военной области: это система противовоздушной обороны, разведка, радиоэлектронная борьба.

Министр обороны Беларуси Леонид Мальцев на заседании Совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России (19 октября 2005 г.) отметил, что министерства намерены активизировать совместную научную деятельность [26]. Был утвержден проект соответствующей комплексной программы на 2007–2010 гг.

## 6. Сотрудничество в космической отрасли

В рамках Союзного государства ведется работа по освоению космического направления. Устойчивое взаимодействие российских и белорусских предприятий космической отрасли было сформировано, благодаря первой союзной программе «Космос-БР», завершенной в 2002 г. Реализация второй программы «Космос-СГ» продлится до 2007 г. Разработка технологической базы для микроспутников дистанционного зондирования Земли, создание и отработка наземного сегмента межгосударственной навигационно-информационной системы составляет одну из ее целей. В рамках второй программы к 2007 г. должно быть создано 70% функциональных узлов перспективного космического аппарата, опытный участок наземного сегмента навигационно-информационной системы. В процессе реализации третьей программы «Космос-3» (2008–2011 гг.) планируется осуществить ввод в опытную эксплуатацию космической системы [27].

Россия также приглашает белорусскую сторону участвовать в реализации некоторых проектов Российского федерального космического агентства «Роскосмос» с целью использования потенциала, наработанного предприятиями белорусского ВПК. Кроме вышеуказанных проектов сотрудничества, планируется участие Беларуси в российской системе глобальной навигации ГЛОНАСС, создание совместной космической программы, предусматривающей участие Беларуси в единой системе мониторинга особо опасных грузов и объектов, разработанной в Российском научно-исследовательском институте космического приборостроения. Также на базе ракетно-космической корпорации «Энергия» ведется работа по созданию космических аппаратов типа «БелКА». Сам аппарат изготавливается корпорацией «Росавиакосмос», а оптоэлектронная составляющая белорусская [28].

## 7. Заключение

Развитие чисто военного сотрудничества затрагивает все больше аспектов взаимодействия и развивается «по нарастающей», хотя и подвергается воздействию политических и экономико-политических факторов.

Взаимодействие идет по различным направлениям. Отлажен механизм сотрудничества между оборонными ведомствами, ведомствами внутренних дел и службами безопасности. Решаются практические вопросы взаимодействия, проводятся совместные семинары. Регулярно проводятся заседания Совместных коллегий министерств обороны, на которых обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия, производится обмен разведывательными данными и оперативными данными министерств внутренних дел. Сближается и унифицируется законодательство в области обороны, воинской службы и социальной защиты военнослужащих; ведется подготовка белорусских военнослужащих в вузах министерства обороны Российской Федерации; проводится работа по реализации Программы военно-научного сотрудничества министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. На одном из заседаний Совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России осенью 2005 г. был утвержден проект концепции основ оборонного законодательства Союзного государства, согласно которому «Россия и Беларусь в равной степени отвечают за безопасность Союза и гарантируют применение силы в ответ на агрессию противника» [29]. Несмотря на проблемы, продвигается работа по созданию единой региональной группировки (как ПВО, так и сухопутных войск). Ежегодно проводятся совместные учения, штабные тренировки и другие мероприятия. Однако проблемы, естественно, возникают и порой требуют длительного периода их решения. Это связано как с разрешением многочисленных технических неувязок, так и с согласованием позиций в военной, а также политической и экономической интеграции на политическом уровне.

Взаимодействие в области безопасности затрагивает довольно широкий круг аспектов и в целом не испытывает влияния несогласованности мнений и позиций политиков на высшем уровне. Но так как именно на политическом уровне задаются

рамки для развития сотрудничества в приоритетных направлениях, то могут быть отмечены грани, на которых наблюдается соприкосновение государственных сфер, а иногда (в критических ситуациях) и наложения военной, политической и политико-экономической дименций взаимодействия одной на другую.



## Литература


1. По данным Управления энергетической информации (УЭИ) США (www.eia.doe.gov) // Мечи и орала: экономика национальной безопасности Беларуси и Украины / под ред. Р. Легволда и С. А. Уолландер. Американская академия гуманитарных и точных наук. Кембридж, штат Массачусетс, 2003.
2. *Mihalisko K*. Belarus Neutrality Gives Way to "Collective Security" // Radio Free Europe/Radio Liberty Research Report. V. 2. №. 17. 1993. 23 April.
3. *Пимошенко И*. Белорусско-российские военные отношения: от нейтралитета до коллективной безопасности // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004. № 3.
4. *Bogdankevich S*. Belarus // *Williamson, ed*. Economic Consequences of Soviet Disintegration // Мечи и орала: экономика национальной безопасности Беларуси и Украины / под ред. Р. Легволда и С. А. Уолландер. Американская академия гуманитарных и точных наук. Кембридж, штат Массачусетс, 2003.
5. *Пимошенко И*. Указ. соч.
6. Военное сотрудничество с Россией Беларусь оценивает по гамбургскому счету // 26 марта 2004 г., http://news.tut.by/37283.html.
7. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь // http://www.soyuz.by.
8. Международное военное сотрудничество Республики Беларусь // www.mod.mil.by (Официальный сайт Министерства Обороны Республики Беларусь).
9. Совместный оборонительный рубеж // Рэспубліка, № 43 (3733), 10 марта 2005 г.
10. *Steven J. Main*. Belarus and Russia: Military Cooperation 1991–2002 // Conflict Studies Research Centre, www.csrc.ac.uk.
11. Международное военное сотрудничество Республики Беларусь // www.mod.mil.by (Официальный сайт Министерства обороны Республики Беларусь).
12. Информационно-аналитический бюллетень. № 46. Институт стран СНГ. 15.02.2002.

13. *Плугатарев И.* Министр обороны Беларуси: «Региональная войсковая группировка России и Беларуси существует реально, она действует и совершенствуется» // http://www.w-europe.org («Независимое военное обозрение» от 10 января 2005 г.).
14. В русле политических решений // Во славу Родины, 22 апреля 2005 г.
15. *Плугатарев И.* Указ. соч.
16. *Болдырев Ю.* Укрепление безопасности государств – участников СНГ, входящих в объединенную систему ПВО – комплексное решение задач по поддержанию вооружения и военной техники, оснащение армий государств Содружества // www.kreml.org.
17. Сообщения агентства «Интерфакс», 22.07.03 г.
18. В русле политических решений // Во славу Родины, 22 апреля 2005 г.
19. *Алесин А.* Сначала по «двести», а теперь по «триста» // Белорусский рынок, № 35(670), 12–19 сентября 2005 г.
20. *Худенко Н.* Анатолий Ванькович: В «яблочко» на Ашулуке // Наш край. 9 сентября 2004 г.
21. *Крят Д.* Спокойствие – это уверенность в себе // Советская Белоруссия. №190 (22347), 1 октября 2005 г.
22. Международное военное сотрудничество Республики Беларусь // www.mod.mil.by (Официальный сайт Министерства обороны Республики Беларусь).
23. *Щедренок Т.* Двойная оборона // Советская Белоруссия, 17 марта 2005 г.
24. Там же.
25. *Плугатарев И.* Указ. соч.
26. *Щедренок Т.* Двойная сила // Советская Белоруссия. 20 октября 2005 г.
27. *Ильин С.* Третий космос на подходе // Советская Белоруссия. 15 сентября 2005 г.
28. *Алесин А.* БелКА видит все // Белорусский рынок. №28. 25 июля 2005 г.
29. *Щедренок Т.* Указ. соч.

**Tatiana Kisel**

## Evolution of the Russian-Belarusian Military Cooperation

Summary

The article gives the chronological development of the military cooperation of the Republic of Belarus and the Russian Federation, which is one of the most successful and dynamically widened spheres of bilateral cooperation. The article also discovers the reasons for the cooperation's restoration after the Soviet Union's collapse, reorientation of the two states towards the mostly bilateral dimension, it refers to the basic documents and touches the main aspects and spheres of Russian-Belarusian military interaction.

**Keywords**: military-political cooperation, military-industrial complex, joint military exercises, consultations.

*Е.В. Минченя*

# BODY ART: МЕЖДУ ТЕЛОМ, ИДЕНТИЧНОСТЬЮ И КУЛЬТУРОЙ ПОСТМОДЕРНА

Данная статья посвящена анализу феномена body art в современной культуре. Рассмотрены различные культурные практики, относимые к body art. В общем виде их можно обозначить следующим образом: body art как повседневная телесная практика и body art как средство выразительности в концептуальном искусстве. Феномен body art помещается в контекст различных культурологических концепций (Гидденс, Бодрийяр, Салецл), что позволяет показать сложность однозначного его прочтения и толкования.

**Ключевые слова**: body art, постмодернизм, культура потребления, идентичность, концептуальное искусство, тело.

One must be a work of art or wear a work of art

Oscar Wilde

Голое тело – это невыразительная маска,
скрывающая истинную природу каждого.

Индейское выражение [1, с. 201]

## 1. Введение

Данная работа посвящена анализу феномена body art в современной культуре. Уже первое, поверхностное знакомство с этой темой открывает многоликость проявления того, что определяют как body art. Эта многоликость связана как с разнообразием практик трансформации или оформления тела, так и с целями последних.

Феномен body art, пребывая на гребне популярности в современной культуре, обнаруживает две линии развития и проявления: body art как массовая стратегия создания тела, удачно вписавшаяся в репертуар потребительских практик нового человека, и body art как художественный язык, стратегия самовыражения в искусстве.

Говоря о body art как массовой стратегии модификации тела, его определяют, прежде всего, через конкретные практики, как-то:

1) создание рисунков на теле (body painting);

2) татуирование (tattooing) – создание рисунка путем введения красителя в дерму, внутренний слой кожи человека, после предварительного ее накалывания, реже надреза или выцарапывания. Как правило, татуирование является необратимой процедурой;

3) пирсинг (piercing) – прокол кожи человека для ношения украшений. Как правило, местами проколов являются: уши, брови, язык, нос, щеки, соски, пупок, гениталии;

4) шрамирование (scarification) иногда называют рубцующимся тату. Это процедура изменения текстуры кожи путем ее иссечения и контролирования процесса заживления, когда либо сохраняются следы ранения кожи, либо в результате введения специальных веществ образуются келоиды (бугорки) [2][1].

В то же время оксфордский словарь по искусству XX в. определяет body art как вид искусства, в котором художник/художница использует свое собственное тело в качестве посредника, body art видится тесно связанным с концептуальным искусством и искусством перформанса [3].

Известно, что практики изменения, оформления тела, относимые ныне к body art, имеют длинную историю и вполне определенную нагруженность в системе архаических культур. Расписанное тело индейца является сообщением, направленным другому и однозначно прочитываемым им. В этом смысле body

---

[1] Этот же источник обсуждает придание формы телу (body shaping) и макияж как практики body art. Body shaping – целенаправленное воздействие и изменение вида человеческого тела или отдельных его частей, например удлинение шеи, формирование длины ступни. В современной культуре к этому варианту практики body art относят пластическую хирургию. Однако в этом случае понятие body art оказывается предельно широким.

art функционирует как необходимая, полноправная часть процесса социального взаимодействия. Что же касается европейской истории body art, не останавливаясь на подробном рассмотрении этого вопроса, можно отметить, что первые татуировки были связаны с функцией идентификации – их делали акушерки бедным женщинам и их новорожденным детям, родители – детям, когда те уходили на заработки, чтобы позже узнать их. Кроме того, татуировка, клеймо (аналог современного шрамирования), являясь нестираемой меткой, маркировала определенные социальные группы – первых христиан (когда христианство было преследуемой религией), проституток, преступников. Несложно заметить, что первоначально body art служил властной меткой, которая маркировала исключительные, маргинальные группы, делая это зачастую без согласия «тела». После знакомства европейского человека с культурой примитивных племен практики изменения тела стали достоянием путешественников, моряков. Таким образом, тату сохраняло значение исключительности, являясь знаком особого опыта [1, 4, 5]. Важно отметить, что практики body art на протяжении европейской истории, как это видно из представленного выше обзора, локализованы в рамках определенных социальных групп, чего уже нельзя сказать о современном body art. Бесспорно, body art как социальная метка, обозначающая принадлежность к определенной группе (например, молодежным протестным субкультурам), продолжает существовать. Тем не менее следует говорить о расширении социальных границ признания и присутствия body art.

В начале данной статьи представлены возможные интерпретации body art как повседневной телесной практики с точки зрения социального, культурологического анализа. Ключевым моментом проводимого исследования является рассмотрение body-art в контексте современной культуры – общества потребления. Далее данная статья обращается к body art как направлению в перформативном искусстве с тем, чтобы соотнести теоретический дискурс и идеи, репрезентируемые в конкретных проектах и перформансах.

## 2. Body art, постмодернизм и общество потребления

Исследуя историю татуировки в западной культуре, Дж. Фишер отмечает, что ее распространение за пределы маргинальных социальных групп совпадает по времени с изобретением в США специального электрического прибора (1870-е гг.) и появлением в продаже японских эскизов татуировок. Именно в эти годы татуировка входит в моду среди представителей высшего класса [5]. Для данного анализа более важен тот факт, что появляются условия для превращения татуирования в отрасль, поскольку это уже может быть оформлено не как пытка или наказание и не как сплачивающий коллективный ритуал, а как профессионально оказываемая услуга. Кроме того, вместе с распространением каталога татуировочных дизайнов начинается процесс стандартизации предложения и формирования модного канона.

Именно современная отработанная система реализации практик body art и лежит в основе одного из возможных подходов к его концептуализации. Body art встраивается в систему капиталистического производства и потребления, и стратегии его продвижения могут быть проанализированы по аналогии с другими товарами. Анализируя общество потребления, с одной стороны, говорят об опосредованности идентичности современного человека потреблением («я есть то, что покупаю»). С другой стороны, обращаясь к современной рекламе, очевидно, что конструирования образов и потребностей «быть кем-то или каким-то» используется как механизм продвижения товаров и услуг [6, 7]. В этом отношении важно отметить, что практики body art предполагают различие в зависимости от пола, класса, сексуальной ориентации. Как потребители, так и продавцы этой услуги демонстрируют определенную компетентность, выбирая «свое» в каталогах салонов пирсинга и татуировки.[2] Таким об-

---

2 В данном случае речь идет об исследованиях Фишер, Свитмена, Якобсон и Лазаретто [5, 8, 9]. Методология этих исследований схожа: наблюдение в салонах пирсинга и татуировки (запись всех диалогов, происходящих в процессе выбора дизайна), интервью с клиентами салонов, их родственниками (Якобсон и Лазаретто) и мастерами татуировки и пирсиснга (Фишер). Результаты этих исследований представляют примеры, в которых проговаривается связь желаемой или уже имеющийся татуировки или пирсинга с образом «Я». Даже в том случае, когда речь идет о выборе

разом, body art конструируется как репрезентация не только маргинальной, протестной идентичности, но и как стратегия выражения, например, традиционной женственности и сексуальности.

Интересен анализ «новейшей истории тела» Ж. Бодрийяра, по мнению которого эта история разворачивается как процесс объективации тела, когда оно становится предметом сделки. «В противоположность своим аналогам в нашей культуре, *где знаки обмениваются в режиме всеобщего эквивалента*, где они обладают меновой стоимостью в системе фаллической абстракции и воображаемой насыщенности субъекта, – в архаическом обществе маркирование тела и ношение масок служат для непосредственной актуализации символического обмена, обмена/дара с богами или другими членами группы; при таком обмене субъект не *торгует своей идентичностью*...» [1, с. 202]. Далее Бодрийяр пишет, что именно сексуальность, отделенная от функции воспроизводства, становится элементом экономического обмена, и этой потребности отвечают различные практики оформления тела. Таким образом, современный body art можно рассматривать как объективацию собственного тела, его предложение другому и способ организации взгляда другого, взгляда, предполагающего желание, поскольку тело маркируется, прежде всего, как тело сексуальное (стоит вспомнить излюбленные зоны пирсинга).

Акцентируя свое внимание на специфике современной культуры как культуры постмодернизма и продолжая традицию бодрийяровского анализа культуры, ряд исследователей (Крэйг, Фолк, Стил) предлагают рассматривать body art как одну из цитат, множественность и эклектическое сочетание которых характерно для постмодерна. Важно то, что эта цитата не имеет никакого значения, поскольку она в принципе оторвана от традиции или культуры, к которой якобы отсылает, а является «плавающим означающим» (см. [9]). Поэтому невозможно говорить о каком-либо значении, стоящем за популярностью body art. Упомянутые выше исследователи предлагают рассматривать body art как часть современной моды и стиля, свободно цитирующих из разных источников, не нагружая при этом себя смыслами.

---

стандартного дизайна, он все равно интерпретируется как уникальный.

Такое нигилистическое прочтение body art оказалось дискуссионным. Ключевой момент возникшего несогласия – понимание концепта «мода» (fashion). Поскольку мода с необходимостью предполагает изменчивость, а практики body art связаны, как правило, с необратимыми модификациями тела, такие исследователи, как Полемас и Проктор обозначают body art как anti-fashion [9]. Тем не менее идея различения fashion/anti-fashion и отнесения body art к anti-fashion основывается на внимании непосредственно к физическим изменениям тела (прокол кожи как необратимое изменение структуры кожи). Эта физическая необратимость не означает, что значения, придаваемые ей, также стабильны и неизменны.

Еще одним моментом, вокруг которого выстраивается несогласие с пониманием body art исключительно как потребительской практики и модного веяния, является боль. Именно переживание боли, по мнению ряда исследователей, отличает практику body art от покупки модных джинс или машины. Переживание боли, с одной стороны, является тем аргументом, который используется для поиска более глубоких причин популярности практик body art, а с другой стороны, является основанием и риторической стратегией дискурса патологизации радикальных форм модификации тела (см. [10])[3].

Похожие мотивы звучат и в интервью. Информанты говорят о том, что нанесение татуировки было для них особым шагом, они на некоторое время откладывали непосредственно поход в салон, чтобы быть полностью уверенными, поскольку дальше они будут вынуждены с этим жить. Некоторые из них подчеркивали также, что, придя в салон, ты можешь сказать: «Я хочу вот

[3] Здесь речь идет об исследовании медийного дискурса, проведенном Питтс. Метод исследования – контент-анализ 35 статей наиболее популярных газет США и Великобритании. Доминирующей дискурсивной стратегией, касающейся брутальных изменений собственного тела (огромного количества татуировок и пирсинга, больших шрамов), было обращение к психиатрам, психологам за комментариями: почему люди делают это с собой? Основная категория, вокруг которой строился их дискурс, – это субъект этих действий, которому предписывались такие характеристики, как «неспособность к самоконтролю», «навязчивые стремления к самоповреждению», «аутоагрессия». Следует отметить, что медикализация крайних форм body art только подчеркивает сформированность определенного канона («проколотый пупок и небольшая татуировка на плече»), нормирование этой практики в культуре.

эту татуировку», но затем ты должен часами сидеть и терпеть боль (см. [9]).

Возвращаясь к осмыслению особенностей современной культуры, но продолжая исследовать сложные мотивы обращения к практикам body art, обратимся к теории Гидденса. Одним из основных моментов концепции Гидденса является осмысление сложностей, предъявляемых культурой постмодерна к личности и феномена тела в этом контексте. Гидденс полагает, что в постсовременном обществе тело является единственным данным, устойчивым, не вызывающим сомнения в своем существовании аспектом человеческого бытия, поэтому как подтверждение факта управляемости человеком ситуацией и собой оно становится объектом постоянных интервенций и ревизий. Однако посредством развития генной инженерии, репродуктивных технологий, пластической хирургии, систем питания тело не просто оформляется, но и определяется как центральный элемент идентичности. Точнее, тело становится тем ресурсом, на который проецируется и которым визуализируется идентичность. Значимым моментом в представлениях Гидденса является проговаривание связи между идентичностью, телом и культурными образами, что описывается им как основополагающая черта консьмеризма, общества в котором телесные практики и переживание собственной субъективности опосредованы продвигаемыми масс-медиа эталонами стилей жизни, правильных выборов (см. [11]).

Отмеченная Гидденсом проблематизация возможности стабильной идентичности представляет собой контекст осмысления проблемы телесного поведения современного человека другими исследователями. Так, Р. Салецл, используя язык психоаналитической теории Ж. Лакана, предлагает близкую Гидденсу интерпретацию феномена body art. Body art интерпретируется ею как симптом отсутствия Большого Другого в постмодернистской культуре. Это отсутствие не позволяет человеку оформить, символизировать свою идентичность, поскольку общий единый порядок Культуры более не существует. «Общепринятое положение гласит, что в современном обществе изменилось, то, как субъект идентифицируется с законом или, лучше сказать, с символическим порядком. ...В постсовременном обществе мы совершенно не верим в авторитеты, в силу символического порядка, в так

называемого Большого Другого» [12, с. 156]. В этом отношении возврат к традициям примитивных культур представляет собой попытки справиться с тупиками современного существования: «Субъект неизбежно становится дизайнером своей собственной истории, а единственный подручный материал для него – это его собственная кожа» [12, с. 164]. Р. Салецл проводит параллель между обрядами инициации и возрастающей популярностью body art в их функции установления стабильности, буквально присутствии символического закона, авторитета на теле или его реализацию посредством телесной трансформации. Таким образом, практики body art являются одновременно как симптомом времени с его отсутствием возможности единой, цельной, устойчивой идентичности, так и реакцией на эту ситуацию (на предлагаемую человеку модель самого себя как изменяемого, создаваемого, полиморфного). «Ты – то, что ты из себя делаешь, сделай себя сам, ты можешь выбирать, изменить жизнь никогда не поздно», – общий смысл навязываемой человеку идеологии, параллельно с целой шеренгой прекрасных образцов, примеров ее реализации. Но где точка отсчета, есть ли что-либо непреложное, вечное, постоянное? «Один из путей противопоставить себя насильственной идентификации – предпринять реальные меры, т.е. пометить тело так, что изменить этого уже нельзя... Субъект просто играет со своей идентичностью; необратимо размечая тело, субъект протестует против идеологии тотального изменения. Тело в этом случае оказывается последним оплотом человеческой идентичности» [12, с. 165]. Другими словами, тело оказывается единственной контролируемой человеком областью, а body art – доказательством или реализацией этого контроля.

Следует отметить, что концептуализация тела как личностного проекта, создаваемого в ответ на вызовы действительности, не только является теоретической рефлексией, но и проговаривается в дискурсе «носителей» body art. Так, Свитмен цитирует высказывания своих информантов о том, что татуировка или пирсинг на их теле появлялись как маркеры знаковых событий. Таким образом тело буквально становится биографическим нарративом: личная история впечатывается в кожу (см. [9]).

Кроме того, осознание тела как «своего», «контролируемого» непосредственно отсылает к проблеме власти. В этом отношении очень интересен конфликт внутреннего и внешнего контроля.

Осознавая давление, оказываемое на них отдельными социальными институтами (армия, модельное агентство), информанты говорят о том, что именно оно было причиной появления татуировки или пирсинга. В то же время присутствие в личной истории информанта татуировки как властной метки (например, наличие родственников, бывших в немецких концентрационных лагерях и носящих вытатуированный на руке номер) связано с невозможностью сделать татуировку «по собственному желанию» (см. [8]). Таким образом, следует говорить о сложном переплетении властных механизмов и ощущения субъектности, которое визуализируется на теле.[4]

Представленное выше обращение к эмпирическим данным как «заземляет» теоретические построения, так и позволяет увидеть новые линии для концептуализации и осмысления. В этом отношении анализ body art как направления современного искусства, конкретные художественные проекты также можно рассматривать как эмпирический материал.

## 3. Body art как искусство

Основными идеями, на которые отзываются и которые репрезентируют художественные проекты body art, являются субъект-объектные отношения – человека и тела, тела и власти, власти и человека. Так, в ряде случаев художники говорят о желании преодолеть или исследовать физические границы своего тела. В качестве примера можно вспомнить перформанс Фланагана, в процессе которого артист прибивал свой пенис к деревянной доске, при этом не прекращая рассказывать истории. Подобная

[4] Одна из моих информанток, работающая моделью, рассказывая о том, что рядовая модель не должна быть слишком яркой, поскольку тогда она будет востребована крайне редко, сказала: «Должен быть определенный размер девочки, у нее не должен быть какой-то резкий недостаток, родимое пятно или еще что-то, что помешает усредненной работе. Есть девочки с татуировками, есть, но это уменьшает их шансы работать. Я очень хотела либо татуировку, либо пирсинг (показывает проколотый язык), *мой язык никто не видит*. У меня проколоты уши, потому что кому-то они нужны, а кому-то они не нужны, но если они не проколоты, то я потеряю работу, где они нужны…» (курсив мой – *Е.М.*). В этом отрывке интересно проговаривание властного нормирования и собственной стратегии сопротивления: быть другим там, где не видно, – не меняющих властного порядка, но дающих ощущение контроля.

художественная концепция опирается на традиционную культурную дихотомию и иерархию: превосходства духа, сознания над телом. В этом отношении следует отметить, что художницы-феминистки, придавшие новый импульс развитию body art, постоянно апеллируют к этой дихотомии. Это неудивительно, поскольку тело является основной формой репрезентации женщины в патриархатной культуре, женщина обнаруживает себя в западной культуре преимущественно как телесное. В этом отношении критическое осмысление иерархии сознание – тело, создающей еще одну иерархию мужское-женское, проявилось не только в феминистской теории, но и концептуальном искусстве.

Опыт обнаружения женщиной самой себя в культуре преимущественно как тела осознается, прежде всего, опытом, связанным с подавлением, контролем, насилием. Не случайно большинство перформансов body art концентрируются вокруг причинения боли и ее переживания, проблем насилия и его жертв. В инсталляции Дженни Хольцер, посвященной войне в Боснии, художница использовала как средство рассказа о насилии надписи на кусочках кожи. Это не только разные взгляды или истории одного события как попытка показать несовпадение восприятий, но и вопрос о возможности передать насилие в слове, но для этого художнице потребовалось буквально впечатать слова в тело (см. [12]).

Как видно из приведенного выше примера, осмысление отношения субъекта и тела с необходимостью предполагают осмысление отношения культурного, (власти) и субъекта, в котором тело представлено как посредник этих отношений. Так, Джина Пейн в одной из своих работ («Action sentimental») просто резала свои руки. Замысел подобных экспериментов с телом она определяла как разрушение образа тела как бастиона индивидуальности, указывая на его зависимость от социума [3, 14]. Культурная подчиненность, ассоциируемая с женским опытом, репрезентируется в перформансах и посредством вовлечения зрителей. Например, Марина Абрамович просила зрителей либо доставлять ей удовольствие, либо причинять боль, используя предложенные им инструменты, в то же время в другом перформансе она была спасена одним из зрителей, который вышел на сцену, убрал кусок льда с ее тела и накрыл ее пиджаком [13].

Важно отметить, что в художественных проектах body art репрезентируется и сопротивление властному нормированию тела. В феминистском концептуальном искусстве значительное количество акций выстроено вокруг отрицания или критики традиционных идеалов женской красоты. В качестве примера можно упомянуть перформанс Вали Экспорт, в котором она, отсылая к маникюру как к типичной женской практике красоты, удаляла кутикулу на своих руках ножом, раня себя до крови. Другой пример – перформанс Марины Абрамович, в ходе которого она расчесывала свои волосы металлической расческой до тех пор, пока не появилась кровь [13].

Очевидно, что использование собственного тела в body art служит для передачи как своей сопричастности к определенному опыту (войны, насилия), к социальной группе, так и для того, чтобы отрефлексировать собственную индивидуальность.

Осмысление переживания человеком самого себя в современной культуре отражено в работах Орлан. Перформансы Орлан связаны с многочисленными операциями пластической хирургии, которые записываются на видео. Тем самым художница, по ее мнению, воплощает стремление отказаться от определенной идентичности, считая, что с помощью хирургии ее тело превращается в язык и так возможно приблизить внутреннее самоощущение к внешнему образу [12, 15].

В целом, body art как концептуальное искусство является одной из стратегий субъективации, стратегии обретения художником позиции видимости. Поэтому это направление body art вливается в критический дискурс. Не случайно многие проекты этого направления ставят под сомнение «естественность» установленного порядка. В этом отношении body art как художественная стратегия отлична от body art как массовой телесной практики.

## 4. Заключение

То, каким образом body art прочитывается в современной культуре, напрямую зависит от того, какие его стороны оказываются в фокусе внимания исследователя. В данной статье было показано, что феномен body art в современной культуре оказывается многозначным, избегающим единых, исчерпывающих толкований.

Body art как повседневная телесная практика может быть представлен как постмодернистская стратегия цитирования и эклектичного совмещения различных культурных феноменов. В то же время, акцентируя включенность body art в систему капиталистического производства и потребления, обоснованно прочитывать его с точки зрения стратегий продвижения, характерных для общества потребления. В этом отношении следует говорить об опосредованности любого потребления предлагаемыми идентичностями, т.е. речь идет о том, что в современном обществе потребляется не конкретный продукт, а образ жизни, идентичность, стоящая за ним.

Другое толкование body art связано с разделением fashion/anti-fashion. Говоря о непродуктивности поиска каких-либо глубинных объяснений этого феномена, ряд исследователей рассматривают его в контексте понятия моды. В то же время, анализируя такие особенности body art, как относительная постоянность модификации тела и боль как часть его «потребления», возможно не согласиться с представленной выше позицией.

Более глубокие объяснения body art связаны с осмыслением тех вызовов, которые современная культура предъявляет человеку. Гидденс, Салецл указывают на нестабильность и отсутствие четких экзистенциальных ориентиров в культуре постмодернизма, необходимых для ощущения человеком своей внутренней стабильности и сформированности. Таким образом, с одной стороны, контроль над телом дает современному человеку иллюзию контроля над ситуацией в целом, а с другой стороны, тело является неотъемлемой частью «Я» как индивидуального проекта.

Body art как направление в искусстве, по сути, является способом осмысления и репрезентации (наряду с теоретическим дискурсом) проблем современного человека, его телесности и включенности в определенную культуру. Так, художники в своих перформансах рефлексируют по поводу нормирования тела, специфики женского телесного опыта, идеалов красоты, насилия, отношения «Я» и тела.

Очевидно, что представленные в данной статье формы body art в современной культуре предполагают множественность осмысления и не могут быть сведены к одному определенному толкованию.

## *Литература*


1. *Бодрийяр Ж*. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
2. Body art: marks of identity // www.amnh.org/exhibitions/bodyart/glossary.html
3. A dictionary of twentieth-century art / I. Chilvers. Oxford, New York, 1999.
4. *Ельски А*. Татуировка. Мн., 1997.
5. *Fisher J. A*. Tattooing the Body, Making Culture // Body & Society. 2002. Vol. 8(4). P. 91–107.
6. *Кляйн Н*. No logo. Люди против брэндов. М.: Добрая книга, 2004.
7. *Sturken M*., *Cartwright L*. Practices of looking: an introduction to visual culture. Oxford, 2001.
8. *Jacobson Y*., *LuzzattoD*. Israeli youth body adornments: Between protest and conformity // Young. 2004. Vol. 12 (2). P. 155–174.
9. *Sweetman P*. Anchoring the (Postmodern) Self? Body Modification, Fashion and Identity // Body & Society. 1999. Vol. 5 (2-3). P. 51–76.
10. *Pitts V*. Body Modification, Self-Mutilation and Agency in Media Accounts of a Subculture // Body & Society. 1999. Vol. 5 (2–3) P. 291–303.
11. *Budgeon S*. Identity as an Embodied Event // Body & Society. 2003. Vol. 9 (1). P. 35–55.
12. *Салецл Р*. (Из)вращения любви и ненависти. М.: Художественный журнал, 1999.
13. *Guterberg A*. Know that I do not suffer, unlike you... : Visual and Verbal Codings of Pain in Body and Performance Art // http://www.genderforum.uni-koeln.de.
14. http://www.artandculture.com.
15. www.orlan.net.


**Alena Minchenia**

## Body Art: Among Body, Identity and Postmodern Culture

Summary

This article examines the phenomenon of body-art in contemporary culture. The article discuses two aspects of body-art as both ordinary practice of body modification and means of conceptual art. The phenomenon of body-art is analyzed in the framework of cultural studies. Discussing different theories related to body modification in contemporary culture (Giddens, Baudrillard, Salecl), the author aims to demonstrate the diversity of interpretation of body art.
**Keywords**: body art, postmodenism, consumer culture, identity, conceptual art, body.

*И.С. Ромашевская*

# ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПОСТСОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВАХ

В статье дается краткий обзор формирования концепции социальной справедливости, обсуждается развитие представления о социальной справедливости на протяжении существования социалистического общества, а также показывается различная динамика изменения представлений о нормах социальной справедливости и соответствующей оценки существующих общественных отношений. Также обсуждается влияние восприятия существующих общественных отношений с точки зрения справедливости на легитимацию политической системы.

**Ключевые слова**: социальная справедливость, трансформация, социализм, неравенство.

## 1. Концепция социальной справедливости

Характерной чертой политических процессов на постсоветском пространстве является активное использование представителями политических элит понятия «социальная справедливость». К принципам социальной справедливости апеллируют программы политических партий и движений. Восстановить попранную социальную справедливость или, наоборот, реформировать государственные институты и наконец-то достигнуть социальной справедливости повсеместно обещают общественные деятели и оппозиционные политики. Однако само понятие

социальной справедливости даже в современной политической науке не имеет однозначного толкования. Тем более оно зачастую наделяется произвольным (и противоречивым) смыслом в политических документах: с одной стороны, это стремление к уравнительному характеру общественных, политических и экономических отношений, с другой стороны, – характеристика бесконфликтного и стабильного общества.

Амбивалентность этого термина и произвольный характер его употребления (даже в рамках одной и той же политической стратегии) является частичным следствием того, что содержание понятия социальной справедливости, отраженное в различных теориях справедливости (исторических, философских, теологических), вплоть до недавнего времени не опиралось на изучение общественных представлений о том, какие социальные отношения, институты и нормы считаются справедливыми. Научные теории справедливости в подавляющем большинстве случаев базировались на рациональных или этических аргументах, а также представлениях их авторов о том, что кажется справедливым «простым людям» [1, с. 1].

Оценивая процессы стагнации и регресса (по отношению к либеральным реформам), наблюдаемые повсеместно в странах бывшего СССР, научное и политическое мнение связывает эти процессы либо с негативным личным экономическим опытом граждан, либо с негативной оценкой ими экономического положения в стране в целом. При этом ожидается, что по мере улучшения экономической ситуации будет возрастать приверженность граждан ценностям индивидуальной ответственности, демократии и главенству права. В то же время, как указывает Д. Мэйсон, потенциально гораздо более показательными в смысле определения общественной приверженности либеральным ценностям могут служить представления граждан о справедливости существующей политической и экономической систем (см. [2]). Эти представления в первую очередь связаны с таким явлением общественной жизни, как неравенство.

История человеческого общества – это история неравенства. На протяжении всей человеческой истории мы можем обнаружить самые различные формы его проявления, начиная от имущественного неравенства и заканчивая такими сложными и специфическими явлениями, как неравенство в доступе к до-

рогостоящим и ограниченным технологиям (например, информационным или медицинским). С одной стороны, постоянно усложняющиеся общественные отношения, все чаще пересекающие границы национальных государств, и развитие технологий, открывающих перед человеком новые возможности и формирующих новые ожидания, заставляют по-новому взглянуть на проблему неравенства в глобальном масштабе. С другой стороны, процессы трансформации, переживаемые государствами бывшего социалистического блока, привели к возникновению новой социальной реальности, новых общественных институтов и норм, изменивших устоявшиеся представления о равенстве и неравенстве в этом регионе.

Таким образом, анализ представлений о неравенстве в той или иной системе общественных отношений невозможен без использования фундаментальной концепции справедливости. Презумпция равенства, которую сформулировал И. Берлин, опираясь на труды Аристотеля, подразумевает, что именно неравенство требует обоснования через справедливость. Таким образом, любое существующее неравенство должно быть оправдано (или признано допустимым) путем приведения соответствующих аргументов, апеллирующих к морали, религии, традиции или опирающихся на анализ существующей социальной реальности. Можно сказать, что определение справедливости общественных отношений происходит через артикуляцию позиций, дискуссию и консенсус. Именно мера общественного консенсуса по поводу справедливости общественных институтов, законов и установлений и обеспечивает согласованное функционирование общества.

Полная или значительная потеря этого консенсуса чревата социальными потрясениями, а также целенаправленными попытками тех социальных групп, которые воспринимают существующие установления как наиболее несправедливые, трансформировать (тем или иным способом) или упразднить воспринимаемые как несправедливые социальные институты или общественные системы в целом (помимо общественного консенсуса, Ролз выделяет три важные важные проблемы, связанные с многообразием представлений отдельных социальных акторов о справедливости: координацию, эффективность и стабильность) [3, с. 24]. В ситуации Беларуси мы можем предполо-

жить, что существующие общественные отношения признаются справедливыми большинством социальных групп и поэтому являются достаточно стабильными, несмотря на их несоответствие большинству формальных критериев демократии.

С этой точки зрения анализ представлений о социальной справедливости в конкретном обществе может быть продуктивным для исследования различных аспектов процессов социальной трансформации, как, например, выявление социальных групп с наибольшим и наименьшим трансформационным потенциалом, оценка способности и возможностей различных социальных групп участвовать в формировании новых общественных институтов, а также диагностика социальных конфликтов.

Принцип социальной справедливости не может быть отнесен к отдельным индивидам и является характеристикой общественных отношений, в частности общественной кооперации. Поскольку такая кооперация устанавливается для получения определенных выгод, недоступных для отдельных индивидов, она накладывает на каждого ее участника определенные обязательства, а также предполагает готовность разделять тяготы совместной жизни. Содержание принципа социальной справедливости менялось на протяжении истории и отличается в различных социальных системах. Теоретическое обоснование необходимости учитывать принцип справедливости при создании общественных институтов в той или иной мере содержится в трудах античных и средневековых авторов, разрабатывающих концепции идеального государства. Хотя уже Аристотель разделял уравнительную и распределительную справедливость, справедливость широко понималась, прежде всего, как основа права, т.е. как оценка человеческих поступков на основе формального набора правил (в латинском языке понятия «право» и «справедливость» обозначались одним и тем же словом – *jus*). Поэтому термин «социальная справедливость», автором которой считается иезуит Луиджи Капарелли, указывает на отличие тотальной правовой справедливости, абстрагирующейся от индивидуальных различий, от справедливости, характеризующей общественные отношения и учитывающей индивидуальные и групповые различия участников этих отношений (например, в уровне образования, доходов, состоянии здоровья, общественном положении). Таким образом, принцип социальной справедливости может быть

применен для анализа конкретных исторических условий и социальных формаций. Этот принцип также становится основой критики существующей публичной политики [4, с. 107].

Анализируя социально-политический контекст возникновения представления о социальной справедливости, необходимо отметить, прежде всего, такое явление, как политический плюрализм. Как указывает Ролз [3, с. 25], в аристотелевской традиции справедливостью характеризуются, прежде всего, действия индивидов, воздерживающихся от несправедливых поступков. В то же время социальная несправедливость (несправедливые социальные отношения) может быть не связана с конкретными несправедливыми поступками индивидов. Такое видение проблемы не характерно для неплюралистических обществ, члены которого склонны определять справедливость как «последовательный и предсказуемый произвол властителя (патримониальная справедливость)» [5, с. 104]. Таким образом, можно сказать, что до начала XIX в. идея социальной справедливости была по большей мере явлением интеллектуальной, а не политической жизни.

Лишь необходимость согласовывать различные представления о справедливости увеличивающегося количества политических акторов актуализировала вопрос о создании действенной теории справедливости и связанной с ней дистрибутивной парадигмы. Особенности политической мысли Нового Времени позволили сформировать представление о достижимости социальной справедливости путем реформирования социальных отношений на основе рационального принципа распределения общественных благ.

Таким образом, необходимость создания всеобъемлющей теории справедливости обосновывалась своего рода «социальным заказом» – потребностью в разработке парадигмы социально-экономического распределения, имеющей в своей основе рациональные («научные») аргументы. За последние два столетия научная мысль Запада сформулировала значительное количество теорий обоснования справедливого распределения, задающих различные критерии распределения благ социальной кооперации (см., например, [6]). Концепция социальной справедливости привела к формированию представлений о соци-

альном государстве как инструменте обеспечения социальной справедливости.

Особый интерес к теориям справедливости наблюдался на протяжении XX в. Как представляется, свою роль в этом сыграли два фактора: с одной стороны, определенное разочарование интеллектуальной элиты Запада в результатах реализации на практике идей социализма. С другой стороны, централизация государственной власти в Европе, начавшаяся после Первой, а в особенности после Второй мировой войны, значительно увеличила объем как «выгод общественной кооперации» (инфраструктура, здравоохранение, образование), так и ее тягот, ложащихся бременем на всех без исключения членов общества (техногенные катастрофы, экологические проблемы и др.). В связи с этим чрезвычайно важной задачей публичной политики стало правильно сбалансировать представления различных социальных групп об их вкладе в социальную кооперацию и соответственно получаемой справедливой отдаче. Центральное место в разработке теории справедливости в этот период, как представляется, занимает теория Дж. Ролза и возникшая на ее основе дискуссия между либералами и коммунитаристами.

Необходимо отметить, что предпринимались также попытки примирить различные дистрибутивные парадигмы за счет плюрализации распределительной сферы. Так, теория М. Уолцера [7] предполагает «сферическое» понимание дистрибутивной сферы, в которой каждому благу приписан набор допустимых критериев (например, распределение благ здравоохранения по потребностям, денег и товаров – по принципу свободного обмена, публичных должностей – по квалификации и принципам честного соревнования). В рамках этой теории актуальным остается вопрос о приоритете сфер, связанных с ограниченностью общественных ресурсов.

Прикладное значение теорий справедливости реализуется через использование связанных с ними (хотя наличие однозначной связи отрицается многими исследователями) дистрибутивных парадигм в программах политических партий и движений, а через них – в обосновании различных политических стратегий.

## 2. Социальная справедливость в социалистическом обществе

К сожалению, тема социальной справедливости в социалистических обществах изучена недостаточно, хотя сформировавшиеся в советский период нормативные представления социальной справедливости оказывали и продолжают оказывать влияние на протекание трансформационных процессов в постсоциалистических обществах. Изучение представлений о социальной справедливости социалистического общества может протекать по трем основным направлениям. Во-первых, изучение лежащей в его основании теории справедливости (марксистской теории). Во-вторых, необходимо проанализировать эволюцию интерпретаций концепции социальной справедливости на разных этапах функционирования социалистического общества. В третьих, важной составной частью мог бы стать социологический анализ восприятия гражданами степени социальной справедливости/несправедливости социалистического общества. К сожалению, проводить объективный анализ мнений граждан социалистических стран по поводу меры социальной справедливости в обществе (до 1985 г.) не представляется возможным по ряду объективных причин. Частично восполнить этот пробел можно с помощью анализа современных ретроспективных исследований, в которых гражданам постсоциалистических государств предлагается оценить степень социальной справедливости в обществе по сравнению с социалистическим периодом.

Формат статьи не предполагает систематизированного исследования взглядов на справедливость основоположников марксистской теории. В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса подчеркивается, что содержание понятия «справедливость» не является универсальным, а напротив, тесно связано с конкретными ситуационно-историческими условиями. В истории российской политической философии разработка идеи социальной справедливости принадлежит Б.А. Кистяковскому в составе группы критических ревизионистов марксизма в период 1890–1905 гг. В частности, он утверждал, что «человеку всегда и везде присуще стремление к справедливости. Поэтому для всякого нормального человека существует известное принуждение не только судить о справедливости или несправедливости того или другого

явления, но и признавать, что идея справедливости должна осуществляться в социальном мире» [8, с. 111].

В то же время интерпретация идей К. Маркса и Ф. Энгельса, используемая советской идеологией, широко опиралась на концепцию справедливости. Политические практики марксизма включали в себя апелляцию к идее справедливости коммунистического общества как высшей справедливости, сформировавшейся в ходе общественно-исторического процесса. Таким образом, представление о социальной справедливости стало частью официальной идеологии.

Российские исследователи выдвинули несколько политических интерпретаций концепции справедливости применительно к истории развития общественных отношений в СССР, опираясь на своеобразие исторического, цивилизационного и ситуационного контекстов. Например, Б. Кашников считает, что в настоящее время можно говорить о двух основных типах теории справедливости: эгалитарной и иерархической (см. [9]), причем тип политической справедливости, характерный для российского общества, определяется им как патримониальная справедливость (разновидность иерархической), в ценностную основу которой не входят права человека и равенство возможностей. Социалистические общественные отношения автор расценивает как непрочный гибрид патримониальной и утилитарной модели [5, с. 106].

Действительно, можно предположить, что агрессивно-уравнительные настроения послереволюционного периода сменились утилитарным восприятием социалистической идеологии как системы выживания, представляющей собой «комплекс распределительных представлений, норм взаимоотношений, правил личного поведения» [10, с. 12]. Дальнейшее углубление этой тенденции произошло в период развенчания культа личности Сталина, ставшего концом «тотального характера» социалистической идеологии. С этого времени социализм все больше ориентируется на личные достижения и ценности частной жизни. Социалистическая система общественных отношений на протяжении этого периода все больше связывается с представлением о том, что общество должно предоставить человеку возможность проявить себя и обеспечить личное благополучие. «Вполне отчетливо обозначилось понимание равенства как ра-

венства возможностей, заработанная честным путем зажиточная жизнь вполне укладывалась в представления о социализме» [11]. Программные документы КПСС подчеркивали различие между социалистической справедливостью, выражаемой принципом «от каждого – по способностям, каждому – по труду», и социальной справедливостью, достижение которой и являлось задачей социальной политики, проводимой в СССР. Задачи социальной политики, сформулированные в программе КПСС, включали в себя «все более полное осуществление во всех сферах общественных отношений принципа социальной справедливости», понимаемой как установление политического, социального и экономического равенства общественных групп, т.е. обеспечение социальной равноценности их положения при сохранении ряда различий в его конкретных проявлениях» [12, с. 94].

Можно сказать, что в качестве целей реформ конца 1980-х гг. декларировалось именно преодоление несправедливости и возвращение к концепции социалистической справедливости в ее «оригинальном варианте». В исследованиях того периода высказывается предположение, что в основе кризиса общественных отношений лежал именно дисбаланс представлений об их справедливости у различных социальных групп. В данном контексте можно говорить том, что наиболее социально активные группы: квалифицированные рабочие, специалисты, представители творческих профессий – воспринимали текущее распределения выгод и тягот общественной жизни как несправедливое, т.е. оценивали свой вклад в создание «ресурса для распределения» как непропорционально высокий по сравнению с объемом получаемых ими выгод. Как показали исследования Ф. Паркина, граждане социалистических стран чаще связывают оценку личной ситуации с общей справедливостью или несправедливостью общественного строя (см. [13]). Как представляется, последовавший за реформами политический кризис частично можно объяснить тем, что государственные институты, играющие ключевую роль в распределении, воспринимаемом как несправедливое, постепенно потеряли свою легитимность.

## 3. Представления о социальной справедливости и трансформация общества

Политико-социальные трансформации социалистических стран породили новую волну интереса к теме социальной справедливости как в самих странах, переживавших переходные период, так и в международном научном сообществе. Период 1970–1980-х гг., как представляется, был отмечен некоторым конфликтом между теориями справедливого распределения (в свою очередь, на научном уровне подвергавшихся критике со стороны таких интеллектуальных течений, как коммунитаризм, феминизм, экологизм и др.) и данными социологических исследований, до некоторой степени развенчавших представления о социальном консенсусе по поводу социальной справедливости как залоге стабильности и сплоченности общества. Так, например, Манн [14] выдвинул предположение о том, что лишь властные элиты нуждаются в согласовании своих представлений о справедливости, в то время как рядовые граждане обладают прагматическим восприятием существующих социально-политических систем. В свою очередь, Аберкромби [15] предположил, что доминирующие идеологии в очень редких случаях эффективно передаются между социальными структурами и, по сути дела, являются актуальными лишь для властных элит. Рядовые граждане воспринимают ценностные установки путем взаимодействия с государственными учреждениями, а также подчиняясь политическому и экономическому давлению.

Однако трансформационные процессы в социалистических странах послужили своего рода вызовом существовавшим представлениям о социальной справедливости и механизмах ее достижения. Можно сказать, что первые итоги трансформации социалистических обществ стали неожиданностью как для зарубежных наблюдателей, так и для самих граждан тех стран, которые переживали трансформацию. Ни одна из стратегий перехода к свободному рынку и демократии не стала безболезненной. В подавляющем большинстве случаев жители постсоциалистических стран обнаружили, что по мере снижения актуальности проблем, заставлявших скептически относиться к декларируемой справедливости общественных отношений, сложившихся в период позднего социализма (привилегии номен-

клатуры, «блат», подавление личной инициативы и т.д.), перед ними встают проблемы более глобального масштаба. «Перестроечный» проект, ориентированный на возврат к идеалам «истинного» социализма (в том числе к построению истинно справедливого общества), перерос в череду системных изменений «тектонического» масштаба, в том числе экономическому коллапсу, трансформации социальной структуры общества, коренной перестройке системы социального обеспечения. Совершенно неожиданными стали такие эффекты трансформационных процессов, как массовое крушение надежд на «регулирующую» роль рынка, уязвимость по отношению к популистским политическим программам, восстановление авторитаризма в ряде постсоциалистических стран. Эти феномены требовали объяснения как с чисто научной точки зрения, так и с прагматической – например, с целью оценки дальнейших тенденций развития региона. Однако, как указывает Мэйсон (см. [2]), академическая дискуссия в основном сконцентрировалась вокруг предпочтительности «эгоцентрического» (когда поддержка государственной власти или политической системы выводится из индивидуального положения гражданина) или «социоцентрического» (когда эта поддержка отражает представления об общественной системе в целом) подхода. Как уже упоминалось выше, использование такого подхода подразумевает наличие прямой связи между благосостоянием индивида/общества и их приверженности идеалам демократии и свободного предпринимательства. Однако, как мы особенно четко видим на примерах некоторых постсоциалистических стран (включая Беларусь), эта связь не всегда может быть обнаружена, а соответственно, динамика развития трансформационных обществ не всегда может быть проанализирована лишь из этой предпосылки. Важной частью анализа трансформационных процессов может быть также изучение представлений граждан о справедливости (или несправедливости) существующих общественных отношений. В таком виде отношение к существующему в обществе неравенству является существенной характеристикой преобладающей в обществе политической культуры.

В научной литературе выделяются два «измерения» представлений о справедливости общественных отношений. С одной стороны, различают дескриптивный и нормативный подходы.

Дескриптивный подход фиксирует, как, по оценкам индивидов, в действительности обстоят дела с социальной справедливостью в конкретном обществе. Нормативный подход выделяет компонент должного в представлениях о справедливости, т.е. ожидания того, как должны обстоять дела.

Также представления о справедливости могут рассматриваться на макро- и микроуровне [16]. В первом случае объектами оценки в массовом сознании является общество в целом, т.е. существующее неравенство и реально действующие в нем механизмы распределения благ. Во втором случае речь идет об индивидуальных субъективных чувствах, восприятии собственного положения, в основе которых лежат реальные интересы и достижения. В целом, можно сказать, что чем более существующие общественные отношения представляются отличными от «идеальной» модели, тем больше ощущение несправедливости.

Надо отметить, что в ходе трансформационных процессов достаточно быстрому изменению подвергается как реальная ситуация в обществе, так и политическая культура как система взглядов о том, как общество должно функционировать. Однако изменения в политической культуре происходят гораздо медленнее и не всегда напрямую связаны с происходящими изменениями в общественных отношениях, а оценка справедливости системы общественных отношений в целом напрямую связана с легитимацией политической системы, а также стратификацией общества [1, с. 4].

Интерес к этой теме инициировал две волны сравнительных международных исследований: «Представления о социальной справедливости», которое проводилось в 1991 г. и в 1996 г. [17], сравнительные исследования социального неравенства в рамках международной исследовательской программы социальных исследований (International Social Science Program), проведенные в 1992 и 1999 гг.

Можно отметить, что на ранних стадиях трансформационных процессов в постсоциалистических странах идея социальной справедливости не имела значительной актуальности. Во многом идеализированные представления о том, как «работает» свободный рынок, предполагали убежденность в том, что социальная справедливость будет достигнута автоматически, как только граждане получат равные возможности реализовать

свои таланты и амбиции. Соответственно, на первый план выдвигались такие свойства системы, как возможность реализовать свои способности.

Оценка справедливости существующей системы общественных отношений связана с оценкой индивидуального успеха/неуспеха. Так, например, те граждане, которые, по их собственным убеждениям, «выиграли» в результате реформ/трансформаций, склонны считать систему общественных отношений справедливой. В этом случае они рассматривают «успех» как справедливое воздаяние их индивидуальным качествам и считают, что система позволяет преуспевать наиболее активным, предприимчивым, трудолюбивым и т.д. В то же время граждане, считающие, что они «проиграли» в ходе реформ, склонны оценивать существующие социальные отношения как несправедливые и считать, что «система» дает возможность преуспеть отнюдь не самым достойным (а их высокие личные качества и профессиональные навыки остались недооцененными).

Исследования показывают, что нормативный компонент представлений о справедливости остается довольно инертным и мало отличается от представлений, сложившихся в советский период. Опираясь на данные исследований социальной справедливости, Н.Ф. Наумова [18] отмечает, что трудовая интерпретация справедливости остается ведущим элементом системы, труд как ценность остается самым активным элементом и в подсистеме ценностей. При этом «равенство возможностей» оказывается более значимым, чем «реальное равенство». Иначе говоря, различия в доходах и потреблении не должны, по мнению населения, превышать различий в трудовых вкладах отдельных работников («от каждого – по способностям, каждому – по труду»). Согласно этому принципу, для достижения справедливости всем членам общества следует предоставить равные возможности для развития и использования своих способностей. Сама идея существования неравенства при условии равных возможностей получения образования, выбора деятельности поддерживается большинством опрошенных: 3/4 опрошенных согласны с мнением, что «когда у одних людей денег больше, чем у других, это справедливо, если они имели равные возможности их заработать» [19].

По-прежнему высоким остается восприятие роли государства как агента, обеспечивающего социальную справедливость (в частности, путем обеспечения прожиточного минимума и доступа к основным общественным благам, как-то: образование, здравоохранение, жилье и др.). В то же время необходимо отметить, что такое восприятие не является уникальным для постсоциалистических стран, а в той или иной мере характерно для большинства стран, в которых реализована концепция социального государства.

### *Литература*


1. Social Justice and Political Change: Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States. Contributors: *James R. Kluegel, David S. Mason, Bernd Wegener.* N. Y., 1995.
2. *Mason David S.*: Fairness Matters: Equity and the Transition to Democracy // World Policy J. Vol. XX. No 4, Winter 2003/04.
3. *Ролз Дж.* Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
4. *Behr Thomas C.* Luigi Taparelli D'Azeglio, S.J. (1793–1862) and the Development of Scholastic Natural-Law Thought As a Science of Society and Politics // J. of Markets and Morality. Vol. 6, Number 1, Spring 2003.
5. Либеральные теории справедливости и политическая практика России / *Б.Н. Кашников*; [Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, Новгород. межрегион. ин-т обществ. наук и др.]. Великий Новгород: Б.и., 2004.
6. *Прокофьев А.В.* Социальная справедливость: нормативное содержание и история становления понятия. Грант РГНФ, 2000–2003. Проект № 01-03-81001 а/ц.
7. *Walzer M.* Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality. N.Y.: Basic Books, 1983.
8. *Кистяковский Б.*А. Философия и социология права. СПб., 1998.
9. *Кашников Б.Н.* Концепция общей справедливости Аристотеля: Опыт реконструкции // Сектор этики Института философии РАН. Этическая мысль. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2001.
10. *Волков В.В.* Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1/2.
11. *Попова И.М.* Повседневные идеологии // Социологический журнал, 1998, № 3–4.
12. A Voice of Reform. Essays by Tat'iana Zaslavskaya / ed. M. Yanovitch. M.E. Sharp. N.Y.; L. P. 94.
13. *Parkin, F.* (1972) Class Inequality and Political Order. London: Paladin.

14. *Mann, M.* (1970) The Social Cohesion of Liberal Democracy. American Sociological Review. 35: 430.
15. *Abercrombie, N. et al.* (1980) The Dominant Ideology Thesis. London: George Allen & Unwin.
16. *Хахулина Л.А., Стивенсон С.А.* Неравенство и справедливость // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 2.
17. Social Justice and Political Change / ed. J. Klulgel, D. Mason, B. Weqener, N.Y., Aldine de Gruyter; Marketing Democracy, *ed. D. Mason, J. Klulgel*. Rowman & Littlefield Publishers, inc.
18. *Наумова Н.Ф.* Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Социологический журнал. 1995. № 2.
19. *Хахулина Л.А., Стивенсон С.А.* Неравенство и справедливость // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения: Информационный бюллетень. 1997. № 2.

**Ina Ramasheuskaya**

## Evolution of the Concept and Perception of Social Justice in Post-Soviet Societies

Summary

In the article, the author reviews the problem of researching a social and political transformation of the post-Soviet space in the context of changing citizens’ perception of social justice. The article discusses shaping of citizens’ perceptions of social justice throughout existence of the USSR, and also shows difference in dynamics of change in perceptions of norms of social justice and evaluation of existing social relations from the point of view of social justice, during the period of transformation.

**Keywords**: inequality, socialism, social justice, transformation.

***А.А. Теткин***

# ИДЕЯ РАДИКАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ: СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ?

Идея радикальной демократии играет существенную роль в современных политических дискуссиях. Возрастающее недовольство доминирующими формами либеральной политики и практиками конвенциональных демократий требует переформулирования базовых демократических ценностей в направлении радикальной и плюральной демократии. Целью данной статьи является исследование двух подходов к концепту радикальной демократии в работах Э. Лакло, Ш. Муфф и А. Хоннета и анализ достоинств и недостатков обоих подходов.

**Ключевые слова**: радикальная демократия, политическое участие, модерные общества, борьба за автономию и гегемонию, борьба за признание, общественная кооперация.

## 1. Введение

Нормативная ценность демократического способа правления, основанного на принципах равенства и свободы, является повсеместно признанной в западных странах, однако споры по поводу содержательного наполнения данного идеала, как и по поводу его эмпирического воплощения, далеки от разрешения. Примечательным образом в этом отношении начинает свою статью «К агонистической модели демократии» Шанталь Муфф: «По мере приближения к концу этого беспокойного столетия либеральная демократия все чаще признается единственной законной формой правления. Но означает ли это, как говорят

некоторые, окончательную победу над ее соперниками? …И хотя мало кто решается открыто бросить вызов либерально-демократической модели, признаки утраты доверия к существующим институтам встречаются все чаще: растет число людей, которые ощущают, что традиционные партии перестали учитывать их интересы, а во многих европейских странах крайне правые партии добиваются больших успехов. …Нет никаких сомнений в том, что в большинстве либерально-демократических обществ действует отрицательная сила, опровергающая всеобщее ликование, которое мы наблюдали после краха советского коммунизма» [2, с. 180].

Таким образом, в сложившейся ситуации в разнообразных интеллектуальных кругах выдвигается требование о необходимости пересмотра идеи демократии в направлении ее радикализации, которое способствовало бы более адекватному формированию демократической воли в сложившихся условиях и расширению возможностей политического участия. Как правило, необходимость радикальной демократии обосновывается следующими соображениями:

1. Господствующая ныне идеология политического либерализма открывает весьма ограниченные условия для возможности осуществления политического процесса в рамках демократии: признавая высшей ценностью права и свободы автономного индивида, определяемые во многом на основании негативного понятия свободы, либерализм сводит возможности политического процесса к периодическим ритуалам голосования, имеющим своей целью, с одной стороны, легитимацию осуществления государственной власти; с другой – достижение компромисса между различными интересами на основании инструменталистской и агрегативной модели [2, с. 181; 4, с. 283].

2. В современных условиях расширяющейся глобализации становится необходимым новое определение изначальных амбивалентностей, характерных для европейской модели демократии. Как отмечает Эрнесто Лакло, западная модель демократии содержит в себе изначальную двойственность: с одной стороны, она направлена на организацию политического пространства вокруг универсальности самого сообщества, исключающего любые иерархии и дистинкции; с другой – развитие демократии необходимым образом включает в себя уважение к различиям

[10, с. 4]. Итак, каким образом возможна современная модель демократии, которая делала бы возможным наличие и единства, и различия? Необходимость ответа на этот вопрос диктуется также и тем обстоятельством, что простое соположение двух противоположных принципов в непосредственной форме приводит к противоречивым результатам. Приведем исторический пример, который рассматривает немецкий социальный теоретик Аксель Хоннет. Анализируя творчество И. Берлина, которое оказало огромное влияние на формирование понятий либеральной свободы и ценностного плюрализма, Хоннет отмечает, что в своем определении человеческой свободы Берлин некритическим образом соединяет два ее несовместимых определения: с одной стороны, модель негативной свободы, основанной на неограниченной открытости человеческого выбора; с другой – модель позитивной свободы, состоящей в принадлежности к определенной культуре и нацеленной на подержание ее существования [9, с. 325–326].

В данной работе я сосредоточу свои усилия на рассмотрении и сопоставлении двух концепций радикальной демократии, представленных в постмарксистской парадигме (Лакло, Муфф) и современной версии социально-критической теории Хоннета. Ценность данных подходов состоит не только в их попытках дать углубленные ответы на поставленные вопросы, но в том, что проблематика демократического правления разворачивается из более широкого контекста понимания осуществления социально-политических практик, а не сводится к вопросам функционирования политических институтов, отделенных от других общественных сфер. Что касается основного различия, то оно отображено в самом названии статьи: если теория гегемонии Лакло и Муфф основывается на примате политического над социальным, что делает необходимым понимание идеи радикальной демократии как политического проекта; то теория борьбы за признания Хоннета стремится реконструировать феномен демократии не только как политический, но и как социальный идеал.

## 2. Концепция радикальной и плюралистической демократии в постмарксизме

Согласно Лакло и Муфф, политический момент имеет онтологический приоритет перед социальным как сфера властной конструкции социального пространства, благодаря которой становится возможной сама социальная объективность. Политическое конструирование общества представляет собой практику ограничения поля дискурсивности, в котором существующие в нем элементы обладают множественной детерминацией (*overdetermined*) и полисемией значений, фиксации игры различий и «сшивания» социального поля по определенным привилегированным принципам («узловым точкам») [10, с. 111–112]. При этом конструкция общества, равно как и узловые точки и агент, осуществляющий акт конструирования, – радикально случайны, т.е. не предопределены какой-либо «сущностной» логикой (природой человека, классовым интересом). В результате политических операций диффузное и хаотичное поле элементов трансформируются в собственно «общество» как относительно замкнутую и стабильную систему дифференцированных моментов. Конструирование общества является необходимым с онтологической точки зрения, поскольку в противном случае, во-первых, социальная действительность уподобилось бы хаотичному миру психотика [11, с. 112]; во-вторых, было бы невозможно образование какой-либо идентичности, поскольку последняя образуется благодаря реляционным отношениям в рамках относительно замкнутого контекста [13, с. 151].

Далее, конструирование социального поля происходит благодаря сложному взаимодействию двух логик: логики различия и логики эквиваленции. Первая действует как логика расширения социального пространства и его усложнения, благодаря чему создается непрерывность дифференцированных субъективных позиций. Логика эквиваленции функционирует как логика упрощения политического пространства, которая создает универсализующие эффекты и «мы» определенного контекста [11, с. 130].

Однако ни одна из логик не может создать полностью зашитого социального поля, поэтому неизбежной является практика исключения за пределы общества радикального Другого. При

этом практика исключения имеет двоякий вид: 1) изгоняется за пределы общества «избыток значения», разрушающий системный порядок [11, с. 137]; 2) постулируется такое различие (антагонизм), которое не может быть вписано в систему как дифференцированный момент и которое представляет собой внешнюю угрозу для всех системных позиций [13, с. 151–152]. Таким образом, практики исключения свидетельствуют о неудаче самого проекта построения общества как позитивной системы различий, поскольку для ее конституции необходимым является наличие негативности, которая не может быть абсорбирована. Кроме того, практики исключения создают одновременно условия для дальнейшего разрушения созданной системы дифференций: вытесненный избыток значения постоянно вторгается в зафиксированное социальное пространство; наличие антагонистического Другого делает возможной эквиваленцию различий, создавая тем самым возможности для подрыва установленной системы дифференциации.

Эта общая логика организации социального пространства имеет и историческую динамику, определяющим событием для которой является «демократическая революция», сделавшая возможным различие между домодерными и модерными сообществами. Согласно Лакло и Муфф, первый тип общества представляет собой неэгалитарную и иерархическую организацию, в которой индивиды зафиксированы в различных позициях в рамках целого и легитимацию которой осуществляет божественная воля [11, с. 155]. В рамках данных сообществ политика сводится к ритуалам повторения-воспроизводства сложившегося *status quo,* для которого наличие антагонизмов и дефектов (*dislocation*) общественных отношений является признаком коррупции или радикальным злом. Соответственно, двумя главными политическими фигурами были платоновский философ-король, обладающий абсолютным знанием, необходимым для управления социумом, и в то же время, гоббсовский суверен, выводящий общество из хаоса и устраняющий момент случайности из социальной жизни [12, с. 69–74].

Французская революция положила конец иерархическому обществу и открыла возможности для нового вида конструирования социальных отношений, определяющими для которого являются опустошение места власти и признание народа един-

ственным источником ее легитимации, присутствие момента неопределенности в социальном пространстве и отсутствие трансцендентального центра, связующего власть, знание и закон [11, с. 186]. Собственно говоря, в модерных сообществах возникает возможность самой политики, которая представляет собой не только место властных отношений, но и практику создания и трансформации социальных отношений, не детерминированную каким-либо сегментом общества и осуществляемую в поле, пересеченном антагонизмами [11, с. 153]. Продолжение и радикализация возможностей, открываемых демократической революцией, являются сутью проекта радикальной демократии Лакло и Муфф, который мы рассмотрим по трем пунктам: радикальная демократия как борьба за свободу и равенство; радикальная демократия как практика гегемонических артикуляций и возможность радикальной демократии в современных условиях неолибиральной гегемонии.

1. Результатом демократической революции стало появление демократического дискурса, способного артикулировать различные способы протеста против сложившихся отношений субординации. Здесь необходимо отметить, что, согласно постмарксистской парадигме, не существует необходимой связи между отношениями подчинения и борьбой, направленной против властных отношений. Для организации протеста необходимым является наличие «внешнего» для господствующих образований дискурса, в свете которого отношения субординации интерпретируются как отношения подавления и доминации, т.е. практики подчинения одного субъекта другому истолковываются как антагонистические и нелегитимные. Либерально-демократические идеи равенства и свободы, таким образом, представляют собой не только новую матрицу социального воображения, но и те дискурсивные условия, благодаря которым становится возможным борьба против различных типов неравенства. При этом особенностью функционирования демократических ценностей свободы и равенства является возможность их эквивалентных смещений (*displacements*) в различные сферы социальной жизни, что создает возможности для расширения борьбы против неравенства и субординации [11, с. 153–156].

Таким образом, проект радикальной и плюральной демократии Лакло и Муфф необходимым образом связан с борьбой

«за максимальную автономизацию сфер на основе обобщения эквивалентно-эгалитарной логики», которая основывается на следующих положениях: а) субъектные позиции не могут быть сведены к единому фундаментальному принципу; б) каждый элемент имеет свой собственный принцип значимости, не требующий обращения к какому-либо трансцендентальному означающему; в) самоконституирование каждого элемента является результатом смещений эгалитарного воображения [11, с. 167].

2. Однако, как отмечают Лакло и Муфф, логика эгалитарного воображения является недостаточным фактором для построения самого общества, поскольку она направлена исключительно на уничтожение субординации и неравенства. Поэтому существенным для проекта радикальной демократии является не только разработка ценностного масштаба либеральной демократии, но и разработка системы власти, совместимой с демократическими принципами (см. [1]). Обобщая, можно сказать, что необходимость внимания к отношениям власти диктуется следующими обстоятельствами. Во-первых, как уже отмечалось, любая политическая практика (в том числе и в рамках демократии) нацелена на конструирование общества («народа»), для осуществления которого необходимыми являются практики исключения, не совместимые с всеобщими либеральными установками. Создание общества требует, таким образом, замыкания контекста и создания цепей эквивалентности не на основе универсального политического равенства всех людей, но на основе принадлежности к самому социуму. Игнорирование факта политического конструирования народа, как это происходит в либеральной теории, не только не устраняет самого феномена, но и служит оправданием сложившегося *status quo* и замены политического конструирования различий экономическим [3, с. 141–144].

Во-вторых, значимость политического момента диктуется еще и тем обстоятельством, что присутствующая в демократических сообществах относительная дестабилизация общественных отношений и созданная на ее основе открытость общественного развития ни в коей мере не предопределяют необходимость осуществления демократических ценностей. Наоборот, ситуация недетерминированности и распространение в социальном пространстве «плавающих означающих», не вписанных в замкнутые дискурсы, открывает возможность и для осуществления

тоталитарных практик, которые способны реализовать проект общества как полностью замкнутого пространства в еще более радикальной степени, чем домодерные практики [11, с. 186].

Собственно демократическую практику осуществления властных отношений Лакло и Муфф описывают как гегемонию, которой необходимы два условия: а) возможность артикуляционных практик, осуществляемых в условиях дестабилизации границ и распространения плавающих означающих и представляющих собой конструирование дискурса таким образом, что единство между элементами является случайным, а не необходимым (как в ситуации отношений медиации [11, с. 94]); б) присутствие в социальном пространстве антагонистических отношений [11, с. 136]. Политическое действие, таким образом, «имеет своей целью конструкцию «мы» в условиях многообразия и конфликта» [14, с. 234].

Суть же гегемонического действия Лакло и Муфф описывают как практику, в которой партикулярная сила стремится репрезентировать универсальность и целостность, радикально не совместимую с ней (см. [1]). При этом отношения между партикулярным и универсальным организуются таким образом, что моменты напряжения, асимметрии и взаимной контаминации между универсальным и партикулярным являются неустранимыми (см. [10]). Благодаря этому становятся зримыми радикальная случайность практик конструирования общества и исторический характер агентов, осуществляющих ее, а также наличие разрыва между референтом репрезентации (обществом) и самой репрезентацией (интерпретацией общества), что, с одной стороны, открывает возможности для постоянных переопределений и создания новых артикуляционных практик; с другой – для осуществления плюрализма, который не устраняется путем гегемонических артикуляций.

Необходимо также отметить, что демократическая политика как гегемоническая практика не может быть сведена к этическому дискурсу (как рациональному способу обсуждения, лишенному отношений власти и направленного на достижения всеобщего универсального консенсуса, покрывающего всех участников), что, согласно Лакло и Муфф, пытается сделать Ю. Хабермас. Политика – эта не область моральных назиданий, а практика власти, в которой неизбежной становится конструкция «мы» через

исключения «их». Однако это не означает неизбежности перманентного присутствия в обществе деструктивных отношений. Наоборот, в ходе своей истории западные модерные сообщества оказались способны к трансформации «народных войн» (в рамках которых идентичности образуются за счет разделения единого публичного пространства на два лагеря, находящихся во враждебных отношениях) в «демократическую борьбу», которая осуществляется в ситуации множественности публичных сфер и в которой существенно ослаблен «заряд негативности» [11, с. 131–132]. Таким образом, демократическая политика осуществляется в отношениях между соперниками, разделяющими базовые принципы либеральной демократии и находящимися не в антагонистических, а в агональных отношениях [2, с. 194–196].

3. В заключение рассмотрим постмарксистский проект радикальной демократии как ответ на возникновение и торжество неолиберальной гегемонии в западных странах. Сначала необходимо отметить, что последняя возникла как ответ на патологии, характерные для функционирования «государства благосостояния» (как основной гегемонической практики в послевоенном западном мире). Согласно Лакло и Муфф, государство благосостояния представляет собой одну из попыток конструкции общества исключительно средствами логики различия и имеет своей целью построение чистого пространства различий, поглощение различных требований в систему дифференцированных позиций и оттеснение антагонистического момента на периферию социального [11, с. 130]. Однако платой за стабилизацию общественной системы стали новые неравенства и конфликты, возникшие вследствие трех негативных тенденции государства благосостояния: коммодификации, бюрократизации и гомогенизации общественных отношений (подчинение динамики социальных отношений логике производства и интервенциям государственного аппарата, установление равенства только на уровне потребления и элиминация других способов различия) [11, с. 160–163]. Неолиберальная идеология возникает как новая гегемоническая формация, призванная преодолеть огрехи государства благосостояния путем предоставления большей свободы и возможностей для самоопределения. Тем не менее новый исторический блок оценивается постмарксистами как «кон-

сервативная реакция» и «антидемократическое наступление», поставившие под угрозу основные достижения демократической революции: переинтерпретация отношения либеральных и демократических принципов в пользу негативного и индивидуального понятия свободы, защита свободы рыночных отношений, традиционализм и сужение поля политического участия в пользу расширения полномочий политических экспертов, – все это под эгидой защиты прав индивида служит легитимации отношений неравенства и реконструкции иерархического общества, в котором роль божественной судьбы играют рыночные силы [11, с. 171–176]. В сложившихся условиях альтернативой неолиберальной гегемонии служит создание цепей эквиваленции между различными видами борьбы против неравенства и расширение либерально-демократических принципов в направлении радикальной и плюралистической демократии, которые в конечном итоге имеют своей целью реализацию возможностей, открываемых демократической революцией, и восстановление центральной роли политики в общественной жизни [1; 11, с. 176].

## 3. Концепция радикальной демократии в свете теории признания А. Хоннета[1]

Обратимся теперь к концепции Хоннета и проясним сначала, как и в случае с постмарксистской теорией, онтологию социального поля. Согласно немецкому исследователю, социальное пространство представляет собой диффузную сеть социальных интеракций, организованных благодаря разнообразным принципам признания. При этом практики признания представляют собой как принципы социальной интеграции, так и способы образования индивидуальной идентичности. Поэтому социальные интеракции можно описывать как совокупность практик, в которых индивидуальные акторы выдвигают по отношению друг к другу нормативно оправданные ожидания признания, невы-

1 Необходимо указать на разную «весовую категорию» рассматриваемых авторов: если для Лакло и Муфф анализ идеи радикальной демократии имеет принципиальное значение, то для Хоннета политическая проблематика является одной сфер приложения его теории борьбы за признание.

полнение которых нарушает моральный порядок общества и блокирует возможности индивидуальной самореализации.

Обобщая, Хоннет выделяет три интерсубъективные сферы признания и три способа конституирования идентичности. Это – сферы любви, права и солидарности.

1. Сфера любви образует область первичных эмоциональных отношений, в которой индивиды получают признание в своей непосредственной единичности. Достижение признания делает возможным образование идентичности телесного индивида, испытывающего доверие по отношению к своим собственным желаниям и их возможным реализациям в мире; в то время как нарушение данного процесса может иметь деструктивные последствия в виде разрушения базовых телесных схем субъекта.

2. В сфере правовых отношений индивиды признаются в качестве морально вменяемых лиц. Результатом данного процесса является образование идентичности морально-правового субъекта как носителя определенных норм и обязанностей и обретение им когнитивного уважения к самому себе.

3. В сфере отношений солидарности индивиды обретают признание своей собственной деятельности, что достигается путем оценки вклада, осуществленного данным субъектом в производство общественно значимых целей. В результате индивид обретает идентичность общественно полезного существа, а также чувство достоинства и социальной значимости своей активности [6, с. 148–210].

Данная логика функционирования социального пространства имеет историческую перспективу, ключевым моментом для которой является переход от домодерных обществ к модерным. Согласно Хоннету, традиционный тип сообщества представляет собой упорядоченный иерархическим способом космос, который и определяет степень признания в сферах эмоциональных, правовых и солидарных отношений согласно гендерной, сословной и языковой идентичности. При этом определение степени признания на основе местоположения в общественной иерархии имеет то следствие, что достижение признания во всех трех сферах взаимосвязанно и определяется на основании представлений о «сословной чести». Под данным понятием имеется в виду степень социального уважения и признания, достигаемого

путем исполнения тех нормативных требований, которые предписывает этика того или иного сословия [6, с. 199–200].

В эпоху Нового времени в европейских культурах происходит существенный перелом в общественных отношениях: происходит постепенное разрушение жестко установленной иерархии общественных позиций и ценностей, становится возможным появление субъекта как исторической и индивидуальной величины; наконец, выделение порядков признания, каждый из которых обретает свой собственный нормативный принцип:

1. Сфера эмоциональных отношений обособляется от всех других видов общественных отношений и признает только те виды контактов между людьми, которые нацелены на самих себя и не подчинены каким-либо другим прагматическим интересам. Соответственно, идентичность, которую приобретает человек в данной сфере, – это идентичность индивида, заинтересованного в непосредственных отношениях между людьми и обладающего для этого необходимой сферой приватности.

2. Признание правового статуса индивида в модерных обществах осуществляется на основании базового принципа всеобщего равноправия, в соответствии с которым каждый член сообщества наделяется правовым равенством наряду с другими и обретает тем самым идентичность автономного субъекта, обладающего способностью взвешенно выбирать разнообразные возможности для собственной самореализации.

3. В сфере солидарности обретение признания для собственной деятельности достигается в согласии с базовым модерным принципом производительности (*Leistung*) и логикой индивидуальных достижений [8, с. 163–169].

Все три перечисленных нормативных принципа образуют моральную грамматику модерных сообществ, демократичность которых зависит от того, насколько социально-политическая жизнь организуется вокруг данных принципов признания. При этом специфика модерных сообществ состоит не только в новом определении принципов признания, но, с одной стороны, в открытии возможностей для их радикализации и переопределении, осуществляемых в рамках дальнейших социально-политических конфликтов; с другой – в возможности осуществления политики на основе модерных принципов признания.

А) Согласно Хоннету, нормативные принципы модерных и демократических сообществ, зафиксированных выше, играли значительную роль в мобилизации самых разнообразных социально-политических движений (рабочих, феминистских, антиколониальных). Равно как Лакло и Муфф, немецкий исследователь признает, что для образования протестных движений необходимым является наличие соответствующих дискурсивных условий. В качестве таковых выступает «моральная грамматика» модерного общества, имеющая то преимущество по сравнению с другими источниками мотивации протеста, что ставкой в данной политической борьбе являются сами условия индивидуальной самореализации, а также возможность социальной интеграции, не связанной с подавлением автономии субъекта [6, с. 264–265]. В отличие от Лакло и Муфф, Хоннет настаивает на том, что нормативная грамматика модерных демократических сообществ имеет плюралистический вид, не сводимый исключительно к принципам свободы и равенства; политическая борьба, мотивированная нарушением ожиданий признания, имеет своей целью не столько конструирование социума вообще, сколько преодоление разнообразных патологий в социально-общественной жизни.

Согласно Хоннету, динамика общественно-политической борьбы в рамках модерных демократических сообществ не только осуществлялась на основе сложившихся нормативных принципов признания, но и служила источником разнообразного применения моральных принципов и их существенного обогащения. Это достигалось, с одной стороны, путем разворачивания «моральной диалектики всеобщего и особенного», благодаря которой нелегитимность тех или иных практик непризнания в разнообразных сферах общества становилась видимой в свете соответствующего всеобщего нормативного принципа [8, с. 180–181]; с другой – благодаря присущему каждому моральному принципу «избытку значимости», на основании которого становятся возможными разнообразные инновативные толкования самих принципов [5, с. 302].

Рассмотрим данный процесс на примере реализации модерных принципов права и солидарности, которые значимы также и тем, что на их основе становятся возможными два радикально отличных способа общественной интеграции. Используя тер-

минологию Тениса, Хоннет говорит об «обществе» (*Gesellschaft*) как ассоциации свободных и равноправных лиц, выказывающих по отношению друг к другу чувство когнитивного уважения и толерантности и действия которых подчинены принципам равноправия и индивидуальной автономии; и об «общности» (*Gemeinschaft*) как сфере отношений солидарности, основанных на общности целей, в осуществлении которых участвует каждый индивид, руководствуясь при этом не только чувством толерантности, но и стремлением активно способствовать развитию социально полезных качеств другого индивида [7, с. 331]. Соответственно, развитие правовых отношений, как отмечает Хоннет, идет путем постепенной универсализации и материализации: с одной стороны, происходит приписывание всеобщих прав независимо от гендерной и сословной (классовой) идентичности; с другой стороны, осуществляется постоянная тенденция в направлении все большего обеспечения и содержательного наполнения фундаментальных прав и свобод индивида (возникновение трех видов прав человека) [6, с. 186–195].

Отношения же солидарности в рамках модерных обществ образуются, как полагают Лакло и Муфф, не только на основе десубстанциализации понятия блага, но и в соответствии с базовым принципом производительности и логикой достижений. При этом в ходе реализации принципа производительности происходят эгалитаризация, плюрализация ценностей и индивидуализация. То есть, во-первых, признается ценным всякий труд независимо от каких-либо сословных привилегий. Во-вторых, солидаристские основания и ценности того или иного сообщества подвергаются значительной плюрализации, так что становится возможным включение большего спектра разнообразных деятельностей в качестве социально значимых действий[2]. В-третьих, существенным в оценке того или иного вида деятельности становится не только соответствие определенному рангу ценностей, но и тот факт, что эту деятельность исполняет именно конкретный индивид [6, с. 205–210].

[2] Здесь необходимо отметить, что плюрализация общественных ценностей осуществляется не путем создания более широкой системы ценностей, включающей в себя разнообразные принципы, но путем преодоления односторонних интерпретаций, в свете которых была невозможна позитивная оценка тех или иных действий [5, с. 303].

В заключение необходимо отметить, что рассмотрение моральной мотивации социально-политических конфликтов не только позволяет осветить природу политической борьбы в рамках демократического сообщества, но и значимо для формулирования самой идеи радикальной демократии, имеющей своей целью расширение возможностей политического конструирования общества: как подчеркивает Хоннет, организация демократического процесса достигается не только путем обеспечения равноправного доступа к публичной сфере и создания условий для демократического обсуждения, но и путем реализации (независимо от степени их политической артикуляции) базовых принципов признания и их продуктивных интерпретаций в разнообразных сферах повседневных интеракций, поскольку обеспечение признания предоставляет возможность как самореализации субъекта и формирования его позитивного отношения к самому себе, так и морально оправданной социальной интеграции. Политическая борьба за определение самого общества, о которой говорят Лакло и Муфф, предполагает активного и неиндифферентного субъекта, формирование которого происходит, как демонстрирует Хоннет, в дополитических взаимодействиях, подчиненных моральным принципам признания.

Б) Развитие этого тезиса Хоннет осуществляет на примере реконструкции идеи демократии Д. Дьюи, которая предоставляет возможность анализировать демократическую практику не только на основании модерных принципов *Gesellschaft*, но и в свете нормативных оснований *Gemeinschaft*. Как отмечает немецкий исследователь, концепция демократии как рефлексивной формы общественной кооперации, разработанная американским философом, не только вносит существенный вклад в обсуждение идеи радикальной демократии, но и представляет собой превосходящую альтернативу по отношению к двум сложившимся традициям: республиканским и процедуралистическим концепциям демократии [4, с. 282–286]. Несмотря на существенные различия, обе концепции объединяет попытка осмыслить публичное пространство через опыт интерсубъективного разговора (как взаимного обмена мнениями) и свести демократические процедуры исключительно к политической сфере. Равно обе концепции испытывают нормативный дефицит при объяснении значимости политической активности и не-

обходимых мотивов, побуждающих к участию в политическом процессе. В отличие от указанных позиций, теория Дьюи, как отмечает Хоннет, избегает подобных трудностей, поскольку изначально ориентируется на практику общественной кооперации, позволяющую реконструировать идею демократии не только как политический, но, прежде всего, как социальный идеал [4, с. 309].

Согласно Дьюи, возможность реализации индивидуальной свободы зависит от участия индивида в социальной кооперации, основанной на демократических принципах. Необходимо сразу заметить, что в отличие от положений Лакло и Муфф, Дьюи, равно как и Хоннет, признает возможность в рамках модерных сообществ социальной интеграции на основе общественно значимых ценностей: десубстанциализация ценностных масштабов, произошедшая в эпоху модерна, привела не к отмиранию *Gemeinschaft*, но к существенной перестройке принципов его организации на основании идеи демократического разделения труда [4, с. 303–304]. В свете этого принципа сообщество представляет собой кооперацию разнообразных групп и ассоциаций, специфическими чертами которой являются: 1) отсутствие какой-либо плановой деятельности в рамках целого; 2) ведущая роль индивидуальной инициативы и ответственности; 3) нацеленность не только на эффективную реализацию общественных целей, но и на освобождение нереализованных потенциалов субъекта; 4) неустранимый плюрализм ценностных ориентиров, не препятствующий возможности общественного взаимодействия.

Далее, общественная кооперация осуществляется не только в рамках непосредственного взаимодействия, но и путем рефлексивного обсуждения возникающих проблем в сфере публичных дебатов и политических институтов. Как отмечает Хоннет, специфика подхода Дьюи позволяет понять демократическую политику как способ рефлексивного разрешения проблем в рамках общественной кооперации. Политическая сфера, таким образом, представляет собой когнитивную сферу, в которой участники экспериментальным и рациональным способом пытаются разрешить возникшие перед социумом проблемы. При этом под рациональными демократическими процедурами имеется в виду обеспечение возможности артикуляции в публичном пространстве разнообразных мнений и подходов [4,

с. 300–302]. Таким образом, социальные и политические интеракции выступают как взаимодополняющие моменты: политическая сфера служит рациональным средством для разрешения общественных проблем, причем интенсивность политического участия граждан имеет прямую зависимость от дополитической интеграции субъектов в рамках общественной кооперации, на основании которой образуется заинтересованность в обсуждении социально значимых проблем.

В заключение Хоннет отмечает, что особую актуальность идеи Дьюи приобретают в эпоху развитого капитализма, характеризующейся усложнением социальных сфер и возрастанием дезинтегрирующих тенденций, ставящих под сомнение возможность демократии. Выход из сложившегося положения видится не в том, чтобы провозглашать политическую практику целью самой по себе, но в том, чтобы прояснить условия общественной кооперации в современных условиях и продолжать борьбу против разнообразных патологий в сфере социальных интеракций, на основе которых интерес в расширении политического участия (и самой радикальной демократии) возникал бы у самих участников общества [4, с. 302–303, 309], а не только у интеллектуалов, призывающих к сопротивлению силе глобального капитализма и неолиберализма.

## 4. Заключение

Выполненная в статье реконструкция двух трактовок идеи радикальной демократии (обозначим их как «политическую» и «социально-политическую») позволяет выявить их сильные и слабые стороны. При этом сопоставление данных концепций не осуществляется тем очевидным путем, в свете которого их основное различие связывается не с различием между политической и этической трактовками демократии: ведь концепция Лакло и Муфф не лишена нормативной нагруженности, в то время как в теории Хоннета «этическое» употребляется не как обозначение универсальной и рациональной сферы, устраняющей разногласия между участниками, но как определение совокупности интерсубъективных предпосылок (дискурсивно и политически опосредованных), необходимых для индивидуальной самореализации. Различие же трактовок идеи радикальной

демократии проистекает, прежде всего, из различия понимания нормативных предпосылок модерных сообществ и динамики их исторического развития.

Так, на основании концепции Хоннета можно констатировать, что постмарсксистская парадигма существенно сужает нормативный потенциал демократических сообществ, сводя его исключительно к принципам свободы и равенства, что дает основание провозглашать политическое участие в качестве основополагающей активности субъекта. Это имеет как теоретические, так и практические последствия. Во-первых, теория Лакло и Муфф не может в полной мере определить специфику формирования демократического сообщества. Признавая, что принципы либеральной автономии (свободы и равенства) недостаточны для формирования сообщества («народа») и должны быть дополнены стратегиями политических артикуляций, Лакло и Муфф, тем не менее, описывают идентичность граждан модерных демократий через уважение к либерально-демократическим принципам (свободы и равенства), т.е. описание специфики сообщества (*Gemeinschaft*) сводится к воспроизводству принципов общества (*Gesellschaft*) (ср.: [14, с. 231]). Во-вторых, это игнорирование оснований модерной солидарности имеет то следствие, что проект радикальной демократии встречает серьезные трудности при столкновении, с одной стороны, с различными сепаратистскими и дезинтегрирующими тенденциями в современных сообществах (например, между центрами-мегаполисами и периферией); с другой – с различными консервативными течениями, направленными на восстановление иерархического порядка общества, обеспечивающего не только социальный порядок, но и возможность участия в воспроизводстве общественных ценностей. Возникают серьезные вопросы: чем мотивируется необходимость участия в общественной жизни в рамках данного сообщества и насколько участие в практиках политической конструкции общества компенсирует ослабление возможностей обретения идентичности в сфере солидарности? Перед лицом этих затруднений задача нормативного самооправдания проекта Лакло и Муфф принимает вид жесткой дилеммы, не оставляющей выбора: или свобода в рамках политического действия или полная несвобода во всем.

Концепция Хоннета избегает подобных трудностей, однако сталкивается с различными проблемами, связанными с определением роли политического конструирования демократического общества. При анализе концепции немецкого теоретика возникает вопрос, каким образом происходит согласование различных нормативных принципов и разнообразных практик, основанных на них. Ведь, как убедительно демонстрирует постмарксистская парадигма, ситуация плюрализма разнообразных практик требует относительной стабилизации, которая в демократическом сообществе осуществляется не сама собой, но за счет гегемонических артикуляций.

При этом особая значимость политического действия, отстаиваемого Лакло и Муфф, основана на необходимости учета специфики современного этапа общественного развития: признавая, что принятие новых дискурсивных образований основано на возможности их совместимости с базовыми нормами и ценностями социальной группы [12, с. 66], Лакло отмечает, что в эпоху дезорганизованного капитализма создаются условия для разрушения широких пластов нормативных образований демократического сообщества. Поэтому интенсификация радикальной демократии как политического проекта имеет своей целью не только сохранение определенных ценностей модерных сообществ, но и сохранение возможности их осуществления.

## *Литература*


1. *Лакло Э. и Муфф Ш.* К радикальной демократической политике: предисловие ко второму изданию «Гегемонии и социалистической стратегии» // http://www.politizdat.ru.
2. *Муфф Ш.* К агонистической модели демократии // Логос 2 (42), 2004.
3. *Муфф Ш.* Карл Шмидт и парадокс либеральной демократии // Логос 6 (45), 2004.
4. *Honneth, A.* Demokratie als reflexive Kooperation. John Dewey und die Demokratietheorie der Gegenwart // *Honneth, A.* Das Andere der Gerechtigkeit. Frankfur/M.: Suhrkamp, 2000.
5. *Honneth, A.* Die Pointe der Anerkennung. Eine Entgegnung auf die Entgegnung // *Fraser, N., Honneth, A.* Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003.

6. *Honneth, A*. Kampf um Anerkennung. Zur moralischer Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992.
7. *Honneth, A.* Posttraditionale Gemeinschaften. Ein konzeptueller Vorschlag // *Honneth,* A. Das Andere der Gerechtigkeit. Frankfur/M.: Suhrkamp, 2000.
8. *Honneth, A.* Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser // *Fraser, N., Honneth, A.* Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003.
9. *Honneth, A.* Zwischen negativer Freiheit und kultureller Zugehörigkeit. Eine ungelöste Spannung in der politischen Philosophie Isaiah Berlins // *Honneth, A.* Das Andere der Gerechtigkeit. Frankfur/M.: Suhrkamp, 2000.
10. *Laclau, E.* Democracy and the Question of power // Constellations. Vol. 8. No 1. 2001.
11. *Laclau, E.* and Mouffe, C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.
12. *Laclau, E.* New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso, 1990.
13. *Laclau, E.* Subject of politicts, politics of subject, in: Differences // A J. of Feminist Cultural studies, 7.1, 1995.
14. *Mouffe, C*. Democratic citizenship and the political community // *C. Mouffe* (Ed.). Dimensions of radical democracy: Pluralism, citizenship, community. London: Verso, 1992.

**Andrei Tsiatserkin**

## The Idea of Radical Democracy: Social or Political Ideal?

Summary

The idea of radical democracy plays a very significant role in the contemporary political discussion. A growing disaffection with the dominant forms of liberal politics and the practice of conventional democracies requires the reformulation of basic democratic values in the direction of radical and plural democracy. Accordingly, the aim of this article is to examine two approaches towards the concept of radical democracy in the works of E. Laclau, C. Mouffe and Honneth and to analyze their advantages and disadvantages.

**Keywords:** radical democracy, political participation, modern societies, struggle for autonomy and hegemony, struggle for recognition, social cooperation.

*И.И. Хатковская*

# НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Данная статья обращается к рассмотрению понятия «национальное кино». Исследуются условия и процессы, посредством которых определенному виду кинопродукции присваивается название «национального кино», и анализируются практики, которые формируют это понятие (национальное кино как культурная, институциональная практика и как бизнес-индустрия). Понятие «национальное кино» рассматривается как в его «классической» интерпретации в кинотеории, сформировавшейся к 1990-м гг., так и в современной, явившейся следствием переосмысления понятия и границ национального в результате глобальных изменений в мире.

**Ключевые слова**: национальное, кино.

## 1. Введение

В последние полтора десятилетия, с начала 1990-х гг., обозначился все возрастающий интерес к исследованию национального кинематографа, особенно в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве. То есть речь идет о возрожденном интересе к национальному кино в тех государствах, которые находятся в состоянии национального самоопределения после долгого периода его вынужденного нивелирования. Для них национальное кино становится одной из культурных практик утверждения своеобразия национальной культуры.

Но чем, собственно, является национальное кино? Что заключает в себе само понятие «национальное кино» – и почему его производство и регулирование становится такой востребованной и эффективной практикой утверждения национальной специфики и культурного своеобразия?

Конечно, первое, что приходит на ум при разговоре о национальном кино, это совокупность фильмов, произведенных в рамках конкретного национального государства. Именно таким образом понятие «национального кино» зачастую и используется. Однако, как отмечает Эндрю Хигсон в статье «Понятие национального кино», которая, будучи впервые опубликована в британском журнале «Screen» в 1989 г. вскоре стала отправной точкой для всех последующих дебатов по национальному кино вплоть до сегодняшнего дня, это не есть ни единственный, ни самый подходящий способ его использования. Помимо обозначенного выше, существуют различные другие способы мобилизации и использования понятия «национальное кино», а следовательно, существуют определенные условия и процессы, посредством которых определенный вид практики начинает рассматриваться как национальное кино.

Цель данной статьи – рассмотреть этот вопрос, т.е. обратиться к самому понятию «национальное кино», к тому дискурсу, который сложился в отношении него в кинотеории. Нас будет интересовать, каковы общие условия и процессы, посредством которых определенный вид практики начинает рассматриваться как национальное кино, как в принципе формируется понятие «национальное кино», какое содержание оно в себя включает, как и кем в конечном итоге присваивается само это название («национальное кино»). Мы обратимся как к «классическому» пониманию национального кино (т.е. к тому варианту, который сформировался в кинотеории к 1990-м гг.), так и к современному контексту его рассмотрения с учетом ситуации глобальных изменений в мире, в том числе изменений и переосмысления понятия и границ национального, что, безусловно, затрагивает и кинематограф, а точнее, переосмысления национального в отношении кинематографа.

## 2. Национальное кино как культурная и институциональная практика

Идентифицировать национальное кино, считает Хигсон, значит, прежде всего, установить определенную связь и единство, провозгласить уникальную идентичность и стабильный ряд значений. Процесс идентификации, таким образом, неизменно предстает как процесс гегемонизации и мифологизации, включающий в себя как производство, так и передачу определенного ряда значений и одновременно предотвращение пролиферации других значений [11, с. 54]. Вместе с тем процесс идентификации может происходить как через противопоставление национальных кинематографий в понятиях их отличия друг от друга (установления различных степеней другости), так и через рассмотрение национальной кинематографии в рамках ее отношений к существующим политическим, экономическим и культурным практикам в рамках конкретного государства. Иными словами, национальное кино может и должно быть рассмотрено как определенная культурная и институциональная практика в рамках конкретного государства, но в то же время и как практика, выходящая за пределы этого государства и функционирующая на международной арене. Именно на этих двух взаимосвязанных аспектах рассмотрения национального кино мы и сосредоточимся дальше.

Как определенная культурная практика в рамках конкретного государства национальное кино участвует в производстве культурной идентичности нации. В то же время, будучи определенной институциональной практикой («институцией с национализирующей функцией»), она связана с государством, являясь частью его политической экономии. Эта связь важна, поскольку в то время как «государство – это ансамбль законов и институтов, нация – это своего рода культурный клей, который помогает все связать между собой» [12, с. 11].

Кинематограф практически с самого начала своего развития был осознан как сильный и эффективный инструмент пропаганды и идеологического воздействия. Вальтер Беньямин, рассматривая, как в целом изменяется социальная функция искусства с изобретением кинематографа, отмечал, что на смену ритуальной функции в результате утраты произведением искус-

ства ауры и исчезновения мерила подлинности приходит политическая. Помимо самой технологической природы кинематографа и возможности (и даже, скорее, необходимости) массового тиражирования фильмов, которые лежат в основании этих преобразований, появление кино стало симптомом глубокого преобразования восприятия и способа участия в произведении искусства. В кино, как нигде более, реакция отдельного человека (сумма этих реакций составляет массовую реакцию публики) оказывается с самого начала обусловленной непосредственно предстоящим перерастанием в массовую реакцию. А такая способность кино организовывать и мобилизовать массы позволяет ассоциировать его с революционным производством. Именно с возникновением кинематографа становится понятно, что социальная функция искусства, и в первую очередь самого кинематографа, больше не может рассматриваться как ограниченная только сферой эстетического. Эстетическое становится обратной стороной политического и наоборот [2, с. 59].

Пропагандистская и идеологическая функции кино рассматривались, как правило, как средство сплочения народа, формирования и утверждения национальной специфики и стимулирования чувства национальной принадлежности в оппозиции к «другому» или «другим» в рамках конкретного национального государства. При этом именно государству в этих процессах отводилась определяющая роль; кинематограф становился одним из инструментов продвижения и поддержания государственной политики. После Первой мировой войны, когда впервые была использована кинопропаганда, правительства осознали потенциальную идеологическую функцию кино, а само кино стало рассматриваться как нечто вроде национальной культурной формы, институции с национализирующей функцией [11, с. 61], кинематографии стали являться частью своих политических экономий. С этого времени государственные меры, цензура и различные постановления начинают играть значительную роль в легализации, но также и в легитимации публичной сферы национального кино, задавая как само понятие «национальное кино», так и отношение к нему государства, колеблющееся между промышленным и культурным его определением [7, с. 37]. И если после Второй мировой войны пропагандистская функция кино ослабевает, то как инструмент идеологического воздействия ки-

нематограф становится еще более сильным, но в то же время более рассеянным и менее очевидным в смысле своей непрозрачности.

При этом большое значение в вопросах регулирования национальных кинематографий приобретала именно экономическая степень и способность вмешательства государства. На уровне политической экономии, как отмечает Хигсон, национальные кинематографии становятся определенной промышленной структурой, определенной моделью собственности и контроля оборудования, действительного имущества, человеческих ресурсов и капитала, а также системы государственного законодательства, которое обозначает пределы «национального [характера]» этой собственности – и прежде всего в отношении к производству. Относительная экономическая мощь национальной киноиндустрии зависит от той степени, с которой производство, распространение и демонстрация интегрированы, регулируются, технически оснащаются и капитализируются, от размера домашнего рынка и степени проникновения зарубежных рынков [11, с. 60].

На уровне участия в производстве культурной идентичности национальное кино непременно отсылает к некой определенной воображаемой целостности, т.е. тесно связана с понятием нации, и в этом смысле предстает как «категория с большим историческим и даже более – идеологическим балластом» [7, с. 36]. Здесь важно исследовать, отмечает Хигсон, те способы, посредством которых кино участвует наравне с другими культурными практиками и культурными традициями в производстве нации, и в особенности в конструировании культурной идентичности, реформирует их в кинематографических понятиях и присваивает для построения своих собственных типовых конвенций[1] [11, с. 61–62]. Также, отмечает Хигсон, для рассмотрения

[1] Для этого, отмечает Хигсон, нужно обратиться к ряду вопросов. Во-первых, нужно исследовать содержание или тематический репертуар определенного ряда фильмов (т.е. то, что становится объектом репрезентации и как конструируется национальный характер), доминирующие нарративные дискурсы и нарративную традицию. К тому же нужно обратить внимание на другие привлекающиеся материалы, в особенности на то, что конструируется как национальное наследие, литературное, театральное или еще какое-нибудь. Во-вторых, следует обратиться к вопросам восприятия и структур чувствования или мировоззрения, которые задействуют фильмы. И в-третьих, проанализировать стиль,

национального кино в понятиях культурной идентичности необходимо обратить внимание на те процессы, посредством которых в рамках данной нации-государства достигается культурная гегемония, исследовать внутренние отношения модификации и унификации, способность институализировать специфический аспект в основе своей плюральной культуры как политически доминирующий, унифицировать и натурализовать его [11, с. 62]

Дело в том, что исторически рассмотрение национальных кинематографий слишком часто основывалось на принятии как данного понятия национальной специфики и ее производства; национальное кино рассматривалось как отражение определенной, уже сформированной национальной культуры и культурной идентичности нации. Этот подход был всецело эссенциалистским. В его рамках исследователи полагали, что анализ конкретных фильмов (их нарративных моделей, иконографии, лейтмотивов) поможет раскрыть некоторую уникальную и специфическую сущность, которая представляет одновременно более аутентичное и более симптоматичное измерение национальной специфики, чем в других искусствах или аспектах культуры. Пионером такого подхода стал Зигфрид Кракауэр со своей очень известной книгой «Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера» [4]. С уклоном в социологию, групповую психологию и этнографию его анализ фильмов был сконцентрирован в большей степени на изучении «национального характера» немецкого кино периода Веймарской республики. В рамках этого подхода, отмечает Эльзассер, национальное кино, скорее, рассматривалось как коннотация «глубинных структур национального сознания», прочтение которых давало возможность проникновения в секретные фантазии, точки политического давления, коллективные желания и страхи. Вместе с тем опасность этого подхода заключалась не только в эссенциалистском отношении к концепту национальной идентичности. Этот

формальные системы репрезентации (т.е. используемые формы повествования, мотивации, конструирование пространства и постановку действия, способы, посредством которых структурируется повествование, темпоральную структуру, задействованные типы визуального удовольствия, а также способы адресации к зрителю и конструированию субъективности, и особенно ту степень активности аудитории, с которой фильмы вовлекают ее активность в производство определенных значений).

подход был подвержен риску тавтологии, поскольку стремился обращаться только к типичным национальным фильмам, которые вписываются в заранее установленные рамки; укорененные в социологии, такие исследования использовали кино, скорее, для дистилляции национальных стереотипов или значимых символических конфигураций [8, с. 63–67].

Вместе с тем, если обратится к процессу конструирования нации, особенно в контексте разговора о культурной идентичности, то поиск стабильной и цельной идентичности может быть успешным только в случае подавления внутренних различий, напряжений и противоречий – классовых, гендерных, расовых, религиозных и исторических. Этот механизм, необходимый для производства цельности определенной нации, ведет к тому, что ее вторым названием становится «внутренняя культурная колонизация». Национальное кино работает по аналогии. К тому же ни идентичность, ни национальная специфика не являются раз и навсегда заданными, но постоянно должны поддерживаться: это образы, которые всегда формируются при определенных условиях (как, собственно, и сам национализм, который появляется только в конце XVIII в.), они не даны и не наследуются, но приобретаются.

Кинематограф в этом постоянном процессе поддержания и переопределения национального, особенно когда речь идет о культурной идентичности, становится тем инструментом, посредством которого национальная специфика «приобретается»[2] [11, с. 63]. Он не просто связан с нацией, как если бы мог выступать отражением или выражением уже сформированной национальной культуры и идентичности, а является неотъемлемой частью процесса их конструирования и (пере)определения. И поэтому он может являться важной ареной для выяснения отношений между различными конфликтующими группами в определении того, что есть «нация» и «национальное». Он существует в поле сил включения и исключения, сопротивления и присвоения, в

[2] На примере британского кино Хигсон отмечает, что само определение «британское кино» вовлекает в себя, с одной стороны, конструирование воображаемой гомогенности идентичности и культуры, уже достигнутой культурной идентичности, предположительно разделяемой всеми британскими субъектами, с другой стороны, валоризацию самого понятия «британское кино», которое конструируется через полное игнорирование некоторых областей истории британского кино.

процессе которых определенные вещи занимают центральное положение, другие маргинализуются. Это процесс, в котором интересы одной социальной группы репрезентируются как коллективные и национальные интересы, производя то, что Андерсон называет «воображаемым сообществом нации». И поэтому прокламация национального кино, как отмечает Хигсон, может быть рассмотрена также как своего рода «внутренняя культурная колонизация».

Вместе с тем, несмотря на то, что и предлагаемый Хигсоном подход к исследованию национального кино, и концепция Андерсона в рассмотрении им возникновения наций являются конструктивистскими, с применением концепции Андерсона в отношении национального кино возникают определенные проблемы.

Именно появление книги Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества»[3] [1] становится ключевым моментом в консолидации конструктивисткой парадигмы в исследовании национального кино (которая приходит в 1980-х гг. на смену эссенциалистской). С этих пор, как отмечает Уильямс во введении к книге «Кино и национализм», именно эта работа, а точнее, данное в ней определение нации как «воображенного политического сообщества», которое воображается «как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное», становится отправным пунктом для многих современных исследований о нации и кино [12, с. 1]. Вместе с тем, отмечает Уильямс, большинство исследователей, занимающихся вопросами нации и кино, обращаются к известной фразе «воображаемое сообщество», но на этом же и останавливаются. Однако не многие задумываются о том, что Андерсон говорил, скорее, о возникновении, а не о развитии современных наций, и о роли, которую сыграли в этом печатные медиа. А здесь в отношении кино возникает две основные проблемы. Во-первых, это попытка приложить концепцию Андерсона к другим медиа, чья специфика принципиально отличается от печатных медиа. Если говорить о кино, то когда оно имело только печатный язык, т.е. титры, оно было сравнительно

3 Работа Б. Андерсона, появившаяся в начале 1980-х гг., прежде всего сыграла ключевую роль в консолидации конструктивистского подхода к осмыслению самого понятия «нация», но вместе с тем оказала большое влияние и на пересмотр подхода к исследованию национального кино.

не затронуто национализмом. Национальные барьеры возникли только тогда, когда в кино появляется звук. Хотя следует отметить, что если звуковое кино внешне и стимулировало национальные интересы, то по сути сделало кинопроизводство еще более интернациональным, чем прежде [2, с. 29]. А интернациональное измерение национального кино как его изначальная и неотъемлемая характеристика предполагает (интер)национальное измерение его аудитории, которая не может быть ограничена «воображаемым сообществом» определенной нации. Если уж выходить за пределы печатных медиа, журнализма и бюрократии, отмечает Эльзассер, и если при этом иметь своей целью «развитие», а не «возникновение» нации, то схему Андерсона следует приложить к телевидению, а не к кино[4] [8, с. 67].

Любое исследование национализма, в любой области, но в том числе и в кино, должно являться глубоко историчным. И в этом смысле работа Андерсона, которая концентрируется на возникновении наций и там и останавливается, не учитывает постоянно продолжающуюся природу процесса производства и поддержания национальной специфики [12, с. 3]. Вместе с тем, как мы отметили выше, национальное кино является одним из тех механизмов, которые активно участвуют в их постоянном (пере)производстве через различные практики селекции, про-

[4] Телевидение и кино являются двумя различными механизмами производства и стимуляции национального, и прежде всего это различие выстраивается на различии в способах адресации к аудитории как принадлежащей к нации. Национальное кино, в отличие от телевидения, предполагает производство национальных фильмов с учетом интернационального измерения национального кино, т.е. воспроизведения неких общих установленных конвенций, соответствующих ожиданиям зрителя. Кроме того, оно представляет собой сложное образование, которое включает в себя не только производство, но и потребление, и, будучи определенной национальной культурной практикой, всегда в себе уже заключает интернациональное измерение. Что касается национального телевидения, то оно, как и национальная телеаудитория, гораздо проще поддается локализации, чем национальное кино и его аудитория, и может рассматриваться, таким образом, как более эффективный инструмент мобилизации национального сознания. Вероятно, это одна из причин того, что на сегодняшний день, как отмечает Эльзассер, именно телевидение становится все более увеличивающейся политической силой в возрождении политического национализма в его современном, но очень противоречивом характере.

черчивания границ, видимых и невидимых линий включения и исключения и может являться важной ареной для выяснения отношений между различными конфликтующими группами в определении того, что есть «нация» и «национальное».

Поэтому идея национального «воображаемого образа», специфичная для кино, является отличной от «воображаемых сообществ» Андерсона, и должна учитывать, прежде всего, историчность в конструировании (как в производстве, так и поддержании) «национального». В качестве такого общего мастер-тропа, специфичного для кино, Томас Эльзассер предлагает понятие «исторического воображаемого» [9, с. 18–19; 10], которое является понятием одновременно «кинематографически специфичным и исторически укорененным». Оно предполагает обращение к анализу кинотекста через его историзацию, но с учетом специфических механизмов работы базового кинематографического аппарата[5]. Определенная текстуальная организация, считает он, является не столько результатом универсальных механизмов работы кинокамеры, сколько результатом вписывания в фильм и адресации к определенному историческому субъекту и субъективности, которые образуются определенными социальными отношениями. Поэтому и «универсальные» структуры производства значения в кино должны в равной степени поддаваться и историческому прочтению. В этом смысле специфические возможности самого медиума кино (как, например, композиция кадра и мизансцена, архитектура точек зрения, кадровое и закадровое пространство, глубина кадра, их плоскостность и фронтальность) должны рассматриваться как ключевые индексы формального письма, которые могут быть прочитаны исторически. Они образуют фундамент, на основании которого детально разрабатываются особенности репрезентативной си-

[5] Эльзассер, обращаясь к Ж.-Л. Бодри, который показал, что кинематограф, ввиду специфической организации самого базового кинематографического аппарата, в определенной степени можно рассматривать как универсальный механизм производства значения, специфической организации субъекта и определенных идеологических эффектов, в то же время же полагает, что эти «универсальные» механизмы принципиально историчны. См. подробнее: Бодри Ж.-Л. Идеологические эффекты базового кинематографического аппарата // Программа ТЕМПУС: учеб. материалы по спец. «Информатика и коммуникация». Т. II. Минск, 1997. С. 101–121.

стемы, запускающей в работу специфическую адресацию к зрителю как субъекту национального кино через отдельный фильм, жанр или совокупность фильмов. Этот общий мастер-троп «исторического воображаемого» позволяет обратиться, с одной стороны, к исследованию того, как кино поддерживает диалог с идеей нации в политической и исторической области, с другой стороны, проанализировать функцию, которую выполняет кино в формировании идентичности зрителя. В этом смысле анализ национального кино позволяет не только проследить привилегированный и ограниченный ряд субъектных позиций, которые воспроизводятся в национальном кино как единственные легитимные позиции национальных субъектов, но скорее предлагает исследование исторической и социальной обусловленности работы тех механизмов, которые активно участвуют в производстве субъективности зрителя.

### 3. Национальное кино как индустрия. Интернациональное измерение национального кино

Все, что говорилось выше о национальном кино, было сосредоточено только на одном из аспектов рассмотрения его в отношении к существующим политическим, экономическим и культурным практикам конкретного государства. Вместе с тем национальный кинематограф, будучи определенной *культурной* и *институциональной практикой*, является еще и *индустрией*. А как индустрия он должен рассматриваться, скорее, не как национальный, а как международный (интернациональный) бизнес, в который каждые национальные кинематографии включены по-разному [7, с. 37]. То есть являясь «оружием культурного национализма», национальное кино «функционирует как экономическое оружие на соревновательной международной арене мирового капитализма» [12, с. 6].

Как отмечает Эльзассер, любое национальное кино в международном кинобизнесе имеет очень противоречивый статус: оно одновременно является и национальным, и интернациональным, хотя и в разных сферах своего влияния. Национально, т.е. в масштабах своей страны, оно участвует в народной или литературной традиции в целом. Интернационально, т.е. в между-

народном масштабе, национальное кино обычно имеет общие с другими национальными кинематографиями функции в смысле того, что определенные национальные фильмы выступают проводниками серии ожиданий международной аудитории, представляя собой практически зеркальные отображения голливудским жанрам [7, с. 38].

Но что это значит? Если обратиться к истории возникновения кинематографа и его развитию в первые десятилетия, то можно увидеть, что он с самого начала явился поистине транскультурным и транснациональным феноменом, в отношении которого речь о национальном измерении не шла. За совсем короткое время он достиг практически всех уголков планеты. Пересекая национальные границы, создавая легкодоступные способы привлечения аудитории, кинематограф завоевывал все большее количество зрителей, вне зависимости от их лингвистических, культурных и национальных особенностей. Интернациональность раннего кинематографа, помимо массовости и доступности, объяснялась еще одной простой причиной. С момента своего возникновения и до 1928 г. кино было немым, не имело языка, разговорной речи. Оно было понятно людям всех национальностей, проживающих в различных уголках планеты.[6] И хотя уже в первое десятилетие своего существования кино обзавелось титрами на языках стран-производителей, оно, тем не менее, все еще оставалось почти не затронуто национализмом. К тому же изначально монополией на кинопроизводство обладали только некоторые страны: вначале Франция, а потом и надолго США, точнее – Голливуд. Их монополистские позиции определялись наличием капиталов и, соответственно, необходимых средств и оборудования для производства фильмов. Поэтому первые десятилетия кино существовало в основном только через экспорт картин из стран-монополистов/владельцев капитала; несмотря на изначальную интернациональность потребления кино, его производство на протяжении некоторого времени было закреплено лишь за некоторыми странами. Национальные барьеры

[6] Ведь не случайно в 1910–1920-е гг. среди теоретиков, обратившихся к исследованию киноязыка, речь шла о появлении нового универсального языка – языка образов, восходящего к иероглифическому и идеографическому письму, языка всеобщего, массового, понятного людям вне зависимости от их национальной принадлежности и, соответственно, не знающее никаких национальных ограничений.

начинают появляться в кино только с приходом в него звука речи в конце 1920-х – начале 1930-х гг.[7]

Однако к этому времени Голливуд уже представлял собой четко отстроенную систему кинопроизводства и распространения, а голливудская продукция покрывала собой практически все зарубежные рынки. Возможность возникновения национальных кинематографий вследствие появления звукового кино рассматривалась, прежде всего, как возможность положить предел американскому господству, сформировать собственные независимые системы кинопроизводства и местные кинорынки. Однако Голливуд не только заполнял национальные кинорынки, он устанавливал определенные нормы производства фильмов, задавал определенные ожидания зрителей (не только ввиду отстроенных нарративных схем и жанровых конвенций, но и потому, что вовлекал зрителей в сложную систему идентификаций с практически полным безразличием к национальности). По сути, Голливуд стал неотъемлемой частью национальных культур и массового воображения, одной из культурных традиций, ассимилированной частью национальных кинематографий. И поэтому Голливуд едва ли может считаться абсолютно другим, поскольку большой частью любой национальной кинокультуры является имплицитно «Голливуд». С точки зрения Голливуда «...каждая национальная кинематография выступает как рынок для американских фильмов, с установленными Голливудом практиками и нормами, которые имеют значительные последствия на национальный производственный сектор» [7, с. 37–38].

Таким образом, Голливуд в контексте развития национальных кинематографий не может быть рассмотрен только как одно из понятий в рамках системы равных возможностей. Скорее, его следует рассматривать как систему, которая играет сверхдетерминирующую роль в развитии национальных кинематографий; Голливуд – это международная институционализация определенных стандартов, профессиональной идеологии и практик, а

[7] Хотя, как отмечает Вальтер Беньямин, если с возникновением звукового кино публика оказалась ограниченной языковыми границами (и это как раз совпало с акцентированием национальных интересов, которое осуществил фашизм), то дальнейшее стимулирование экономической жизнеспособности национального кино только внешне стимулировало национальные интересы, но по сути сделало кинопроизводство еще более интернациональным, чем прежде.

также установление инфраструктуры производства, распространения, демонстрации и рыночных стратегий для согласования, регулирования и воспроизводства этих стандартов и ценностей [11, с. 57]. Именно в этом заключается парадокс национального кино, которое, для того чтобы быть национально популярным, должно быть интернациональным по намерениям, т.е. достичь международного (= голливудского) стандарта.

Ввиду такой сверхдетерминирующей роли Голливуда ситуация развивалась практически всегда по формуле «национальное кино vs Голливуд». Правда, если на первый взгляд кажется, что эта схема больше применима к европейским кинематографиям, то в действительности это касалось и большинства не европейских кинопромышленностей. Как показывает С. Крофт, возникновение почти всех национальных кинематографий происходило как реакция на Голливуд либо через противостояние ему, либо через временный перехват главенствующих позиций, и прежде всего на местных кинорынках, либо через подражание Голливуду, но в любом случае с оглядкой на него (см. [6]). Следует отметить, однако, что эта общность в рассмотрении национальных кинематографий с отсылкой к Голливуду не может являться основанием схожести самих различных национальных кинематографий. И несмотря на то, что «в контексте неравного культурного и экономического обмена большинство производителей национального кино должны были действовать в условиях, установленных Голливудом», политические, экономические и культурные режимы различных наций-государств способствовали возникновению различных видов национального кино, отличных друг от друга [6, с. 27]. Поэтому при разговоре о национальном кино нужно учитывать всю множественность национальных кинематографий с их специфическими политическими и экономическими контекстами, множественными политиками их производства, распространения, рецепции, их текстуальных практик, отношений с государством. Упомянутый выше С. Крофт с учетом этой множественности, которая наиболее интенсивно начинает артикулироваться еще после Второй мировой войны, но особое значение приобретает сейчас, с начала 1990-х гг. вследствие глобальных изменений в мировом устройстве, предлагает своеобразную классификацию национального кино,

выделяя семь ключевых моделей[8] [6, с. 26–27]. Вместе с тем понятно, что любая классификация является достаточно условной. Во-первых, потому что определенная национальная кинематография может относиться к нескольким моделям одновременно. Во-вторых, потому что каждая категория, хотя и позволяет объединить в себе схожие условия возникновения и развития национальных кинематографий, тем не менее внутри себя все равно является гетерогенной. Например, разговор о национальном кинематографе «третьего мира», чьи практики являются не только отличными, например, от кинематографа Западной Европы или Голливуда, но и ввиду специфик социальных, экономических и политических режимов возникших государств, существенно различаются между собой и требуют поэтому специфических стратегий осмысления в каждом конкретном случае.[9] Вместе с тем

[8] 1. Европейская модель арт-кино, которая становится наиболее известной формой национального кино; это кино, которое отличается от Голливуда, но не конкурирует с ним непосредственно, а нацелено на отличные, специфические рынки. 2. Кино «третьего мира», фильмы, которые не конкурируют непосредственно с Голливудом, но критикуют его. 3. Коммерческое европейское кино и коммерческое кино «третьего мира», которые сражаются с Голливудом с ограниченным успехом или вовсе безуспешно. 4. Модель, которую Крофт обозначает как «игнорируя Голливуд», достижение чего, правда, как отмечает Крофт, удается немногим. 5. Модель «имитируя Голливуд», англофонное кино, которое пытается победить его в его собственной игре. 6. Модель кино, которое функционирует в рамках полного государственного контроля и часто в значительной степени является государственно финансируемой институцией. 7. Региональное, или этническое, кино, чья культура или язык принимает определенную дистанцию от тех национальных государств, в рамках которых они находятся. Эта классификация учитывает также контекст неравного культурного и экономического обмена, и в первую очередь то, что большая часть национальных кинематографий так или иначе действует в понятиях повестки, устанавливаемой Голливудом, за исключением некоторых азиатских стран, которые устанавливают свои собственные территории. Несмотря на то, что Крофт выстраивает свою классификацию начиная с 1945 г., именно начало 1990-х гг., отмечает он, становится для него импульсом для пересмотра национального кино. См. подробно: S. Croft. Reconceptualizing National Cinema/s. In Film and Nationalism / ed. by Alan Williams. Rutgers, 2002. P. 25–51.

[9] В целом, следует отметить, что кинематограф «третьего мира» представляет сегодня особый интерес для исследования, поскольку включает в себя огромный материал и в действительности является даже более богатой – в смысле многообразия – почвой, чем, например, европей-

эта классификация позволяет артикулировать множественность контекстов национального кино и, что для Крофта становится исходной интенцией статьи, вывести на сцену возможность и необходимость рассмотрения национального кино в понятиях «не-первого мира».

Следует коротко остановиться на «европейской модели арт-кино», которая стала одной из наиболее известных форм национального кино и к которой зачастую оно и сводится (и в этом есть небольшая проблема, поскольку, как отмечает Крофт, именно эта модель создала определенные ограничения в определении некоторых значений и специфики национальных кинематографий, «заточив» их в рамки европейского арт-кино 1960–1970-х гг.), поскольку во многом именно благодаря арт-кино сформировался тот «универсальный» механизм производства и циркулирования национального кино, посредством которого национальные кинематографии, как правило через отдельных режиссеров и/или фильмы, выходили на международную арену, и только в результате международного признания и становились собственно национальными.

Практика производства арт-кино, будучи европейской по происхождению, исторически становится одной из наиболее

ское или американское кино. Интерес к исследованию «третьего кино», как и критический интерес к самому унифицирующему понятию кино «третьего мира», демонстрирует постоянно растущий ряд исследований, отражающих как попытки определения общей специфики, так и трансформации в осмыслении кино «третьего мира» в контексте разнообразия практик, им предлагаемых. См., например: Teshome H. Gabriel, Toward a Critical Theory of Third World Films // Colonial Discourse and Postcolonial Theory, Harvester. Wheatsheaf, 1993 / eds. Williams Patrick and Chrisman Laura. P. 340–357, где предлагается своеобразная классификация кино «третьего мира» по фазам его развития в рамках критического осмысления генеалогии культуры «третьего мира»; или например, статью Shohat E. Post-Third-Worldist Culture: Gender, Nation, and the Cinema in Postcolonialism // Critical concepts in Literary and Cultural Studies / ed. by D. Brydon. Routledge, London and New York, 2000. P. 1992–2022, где, наоборот, проводится попытка критического переосмысления понятия «третьего мира». Шохат обращается к понятию «пост-третий мир-изм», которое, считает она, выражает движение за пределы специфической идеологии – национализма «третьего мира» и позволяет разместить различные постколониальные проекты (Элла Шохат рассматривает феминистское кино «(пост)третьего мира») в их отношении к этническим, расовым, региональным и национальным локализациям.

эффективных стратегий сопротивления Голливуду. С одной стороны, она выступила как одна из главных попыток решения проблемы голливудского доминирования, как центральная стратегия попыток установления одновременно и определенной формы национальной культурной специфичности, и достижения достаточной степени международной видимости и экономической жизнеспособности. Однако она не конкурировала с Голливудом непосредственно, но формировала альтернативное пространство через отличные от Голливуда текстуальные стратегии и через обращение к другим рынкам потребления[10]. Будучи практикой, изначально ориентированной на международные кинорынки, которые после Второй мировой войны оформляются через сеть международных кинофестивалей и различных институтов кинокритики, (интер)национальное саморефлексивное арт-кино зачастую становилось главным оппонентом не только Голливуда, но и собственного национального коммерческого кино, которое, как правило, ориентировалось в той или иной степени на установленные Голливудом нормы. Интересно в этой ситуации то, что идеальный успех (на кинофестивалях) имели, как правило, те фильмы, которые шли вразрез с магистральной линией собственного национального кино и/или национальных государственных аппаратов. Наиболее выдающимися примерами зачастую становились фильмы, которые запрещаются, осуждаются и коммерчески не поддерживаются на своих местных рынках. Поэтому международный режиссер приходит из национальной традиции, но определяет себя настолько же против нее, как и в ее рамках. Арт-кино редко достигало успеха у массовой национальной аудитории как вследствие специфических способов адресации к зрителю, так и вследствие продолжающегося доминирования Голливуда и, если таковое

---

[10] В период после Второй мировой войны именно государство заменяет собой частные производственные кинокомпании, которые ранее поддерживали и финансировали производство арт-кино; с этого времени государство принимает на себя эти функции через системы грантов, наград, ссуд, но в то же время через наложение различных квот и тарифов на импорт зарубежных фильмов. Различные законопроекты и финансовое регулирование способствовали установлению в европейском кино того, что Эльзассер обозначает как «культурный способ производства», который явился прямой противоположностью промышленного способа производства Голливуда.

имело место, национального коммерческого кино. Но в определенной степени арт-кино освободило национальное кино от его зависимости от Голливуда, сформировав альтернативное пространство репрезентации. В то же время еще больше его «колонизировало», сформировав новые механизмы зависимости от признания международной аудиторией (как зрителей, так и критиков) на кинофестивалях.

Именно международные фестивали со времени своего появления начинают играть важнейшую роль в утверждении национальных кинематографий и являются поэтому не дополнительной или параллельной развитию национальных кинематографий практикой, но практикой, которая определяет и легитимирует национальное кино. Как отмечает Эльзассер, «международные фестивали становятся рынками, которые фиксируют, устанавливают и распределяют различного рода ценности... они приводят в движение новый культурный капитал». Особенно их роль становится важна сейчас, когда вследствие глобальных изменений в мире – от распада коммунистического блока, возникновения европейского сообщества, усиления этнических и национальных конфликтов до глобального распространения корпоративных капиталов, возникновения транснациональных форм собственности и консолидации глобального рынка, а также формирования мирового информационного сообщества благодаря быстроте распространения и протяженности электронных коммуникаций, – национальные культуры вынуждены менять свой облик, встраиваясь в систему международных отношений. Как отмечает Хоми Бхабха, «сами понятия гомогенной национальной культуры, последовательной и непосредственной преемственности исторических традиций или «органического» этнического сообщества – как основа культурной компаративистики – в наши дни подвергаются глубокому переосмыслению» [3, с. 166]. Демографией нового интернационализма становится «история постколониальной миграции, нарративов культурных и политических диаспор, повсеместного вытеснения на социальную периферию сельских и аборигенных сообществ, поэтикой изгнания, суровой прозой жизни политических и экономических беженцев» [3, с. 165]. Глобальные трансформации в современном мире не оставляют ни одного национального государства

не затронутым этими процессами, хотя для каждого из них это имеет разные последствия.

## 4. Современная ситуация: постнациональное кино и национальный кинематограф

Описанные выше изменения затрагивают и кино, маркируя новую стадию в развитии и осмыслении национального в отношении к кино.

Национальное кино становится колониальным понятием. Это означает, что, во-первых, только то государство, которое может принять в себя мультикультурное и многослойное измерение в рамках собственных гибридностей, может с этого времени претендовать на звание нации. И, следовательно, только те фильмы, которые готовы к исследованию гибридностей, пространства-между, себя-в-другом, могут претендовать на звание национального кино. И во-вторых, потому что многие режиссеры приобретают статус национального только вследствие признания их международной (и в первую очередь американской) аудиторией. В этой ситуации, отмечает Эльзассер, национальное кино становится дважды смещенной категорией. Марка «национальное кино» должна присваиваться либо значимыми другими (другой национальной или интернациональной аудиторией), поскольку сама форма национального кино может быть распознана как таковая только извне; либо национальной аудиторией, но в другой отрезок времени, поскольку в данном случае национальное кино в лучшем случае это ретроспективный эффект, когда только последующие поколения могут обсуждать, как оно просеивается через национальный архив пассивных и активных образов [8, с. 69–72].

Национальное кино можно рассматривать как плавающее означающее. Речь идет о практиках совместного производства (и не ограничивается только рамками Евросоюза; например, совместные итало-иракские фильмы или, например, совместные российско-белорусские проекты и многие другие). В этом случае прежние системы идентификаций нарушены: актеры, режиссеры или страны, с которыми ранее идентифицировались национальные кинематографии, теперь включены в систему межнациональных практик производства и поэтому не позво-

ляют выстраивать четкие системы принадлежности. Поэтому национальное кино больше не может рассматриваться в своих традиционных понятиях. Оно должно рассматриваться только в контексте этих пространственных и временных смещений, культурных палимпсестов, через установление отношений с постоянно расширяющимся полем медиа-репрезентаций (представляющих собой современную повседневность кино, телевидения и рекламы) [8, с. 71]. Применительно к современному периоду нужно говорить о постнациональном, или, следуя Крофту, суб- и наднациональном кинематографе. В этой ситуации ключевую роль играют уже не столько внутригосударственные национальные интересы в производстве национальной идентичности и стимулировании чувства национальной принадлежности и не столько борьба за местные и зарубежные рынки и противостояние Голливуду. Ключевыми в ситуации постнационального кино становятся сеть кинофестивалей как детерминирующий фактор в развитии современного кино и множественность идентичности как определяющий фактор принадлежности [8, с. 72].

Вместе с тем, если эта позиция может быть справедлива в полной мере по отношению к западноевропейским странам (хотя и в отношении их сложно говорить об определенной гомогенности ввиду существования этнических меньшинств, диаспорических культур, пытающихся утвердить через кинематограф свою специфическую культурную идентичность – как, например, кино басков или ирландцев), то в отношении других национальных кинематографий ситуация выглядит несколько иначе. В этом смысле, как отмечает Крофт, делая акцент на суб- и наднациональном измерении, параллельно также жизненно важно осознавать политическое значение других контекстов развития и изучения национального кино в контексте риторик нации и национализма как средства борьбы за независимость и утверждения специфической культурной идентичности. Нужно помнить, что действующая тенденция рассмотрения «национального» национального кино должна задаваться в понятиях не первого мира, чтобы сделать возможным рассмотрение всего множества его проявлений [6, с. 43].

Например, страны Восточной Европы, в частности, образовавшиеся после распада Советского Союза новые независимые государства, не только проявили возобновленный интерес к на-

циональному через попытки утверждения национальной специфики, гомогенной национальной культуры и культурной идентичности, но и оказались на передовой национального кино со своим возобновленным к нему интересом при описанной выше ситуации постнационального кино. Можно обозначить две центральные проблемы. Первая связана с изменением условий регулирования и финансирования кинематографа и необходимостью выстраивания собственных самостоятельных систем кинопроизводства, как правило, на основе рынка. Вторая проблема связана с утверждением культурной идентичности: национальная или постнациональная?

Распад коммунистической системы имел катастрофические последствия для кинематографических культур образовавшихся новых или реорганизовавшихся в новых условиях прежних национальных государств (как в рамках коммунистического блока в целом, так и по отношению к бывшим республикам Советского Союза). Помимо институтов политической цензуры и контроля, все они до распада имели централизованную систему административного регулирования и финансирования кинопроизводства. Кинематографисты в определенном смысле были наняты на работу государством и поэтому не могли проводить политику собственного финансирования через коммерческое производство или кассовые сборы. С падением коммунистической системы распалась и прежняя система финансирования, и в возникших независимых государствах кинематографии вынуждены были реорганизовывать себя уже на основе рынка. Как отмечает Поль Коатс, восточноевропейский кинематограф оказался в ситуации, когда «экономический императив капитализма заменил собой идеологический императив, устанавливаемый Политбюро» [5, с. 267]. Но, отмечает Эльзассер, как и западноевропейские страны не смогли бы поддерживать свое кинопроизводство без системы различных субсидий, заложенных еще в 1970-х и 1980-х гг., так и восточноевропейские режиссеры оказались в невыгодном положении, не имея эквивалентных схем отступления в своих странах [8, с. 70]. Именно с этим во многом и был связано (а для некоторых это и по сей день так) кризисное положение, в котором оказалось производство ряда бывших союзных республик. Это одна сторона проблемы.

Другая заключается в необходимости утверждения специфичной культурной идентичности национального кино в современной ситуации, которая, как было отмечено выше, выстраивается в постнациональном измерении. И в этом смысле одним из принципиальных отличий между западноевропейским и восточноевропейским кинематографом становится отношение к понятию «национальное». Если для первого «национальное» возвращается в кино как бренд и оружие маркетинга, производя локальное для внешнего, т.е. для глобального использования, то последний через «национальное» пытается утвердить собственную автономию и независимость и обратиться к локальным ценностям перед лицом мировых процессов глобализации [8, с. 71].

Однако если на уровне национального кино как определенной культурной практики по утверждению культурной идентичности восточноевропейские страны и оказались перед дилеммой национальной vs постнациональной идентичности, то на уровне интернационального измерения кино (это измерение заключается как в практике совместного производства, так и потребления и диктует определенные формальные конвенции, которые в определенной мере должны быть учтены) они оказываются в состоянии колонизации национального кино, поскольку для обеспечения своей видимости и признания – культурного, но также и экономического, способного обеспечивать им жизнеспособность – вынуждены так или иначе быть включенными в контекст международно устанавливаемых стандартов производства и циркуляции фильмов, в частности, через участие в кинофестивалях, которые, возвращаясь к сказанному, выступают как детерминирующий фактор в развитии современного кино.

## 5. Заключение

Итак, вопрос о национальном кино является комплексным, не сводимым только к совокупности фильмов, произведенных в рамках конкретного государства. Национальное кино является одновременно (1) определенной культурной практикой (и как таковое оно участвует в производстве культурной идентичности), (2) институциональной практикой в рамках конкретного государства (и в этом смысле оно может быть рассмотрено как

средство пропаганды, идеологический инструмент и средство по продвижению и поддержанию государственной политики), (3) (бизнес)индустрией и в этом смысле международной практикой, задающей интернациональное измерение национального кино.

Только в контексте такой комплексной картины становится возможным рассмотрение национального кино. Особенно важно то, что параметры национального кино должны быть рассмотрены со стороны потребления так же, как и со стороны производства фильмов. А это к тому же означает, что внимание должно фокусироваться на активности национальной аудитории и на тех условиях, в которых аудитория смотрит фильмы и производит определенные значения.

В настоящее время особое значение приобретает интернациональное измерение в рассмотрении национального кино. В последнее время изменился механизм циркулирования и признания национального кино, сформировав его постнациональное измерение, в развитии которого детерминирующим фактором становится сеть кинофестивалей, и множественность идентичностей выступает как определяющий фактор принадлежности. И в этом смысле достаточно проблематичным, но в то же время особенно интересным становится возродившийся интерес к национальному кино в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве.

## *Литература*


1. *Андерсон Б*. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
2. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
3. *Бхабха Х*. Местонахождение культуры // Перекрестки. 2005. № 3–4. С.166–192.
4. *Кракауэр З*. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М., 1977.
5. *Coates P*. East-Central European Cinema: Beyond the Iron Curtain in European Cinema / ed. by Elizabeth Erza. Oxford University Press, 2004. P. 265–282.
6. *Croft S*. Reconceptualizing National Cinema/s. In Film and Nationalism / ed. by A. Williams. Rutgers, 2002. P. 25–51.

7. *Elsaesser T*. European Culture, National Cinema, the Auteur and Hollywood (1994) in European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam University Press, 2005. P. 35–56.
8. *Elsaesser T*. ImpersoNations: National Cinema, Historical Imaginaries (2005) in European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam University Press, 2005. P. 57–81.
9. *Elsaesser T*. Introduction to European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam University Press, 2005. P. 13–34.
10. *Elsaesser T*. Primary Identification and Historical Subject: «Fassbinder and German Cinema» in Narrative, Apparatus, Ideolody. A Film Theory Reader. Columbia University Press, 1986. P. 535–549.
11. *Higson A*. The concept of National Cinema // Film and Nationalism / ed. by A. Williams. Rutgers, 2002. P. 52–67.
12. *Williams A*. Introduction in Film and Nationalism / ed. by A. Williams. Rutgers, 2002. P. 1–24.

**Inna Khatkovskaya**

## National Cinema: on the Definition of the Notion

Summary

The article explores the concept of «national cinema». It analyses the processes, by which a certain kind of film production is became regarded as «national cinema», and explores practices that constitute it (national cinema as the cultural, institutional practices, and as business-industry). The concept of «national cinema» is considered in its classical understanding – that has formed in film theory by the 90s of the 20$^{th}$ century, as well as in its contemporary version – that is the result of the reconsidering the very notion of the «national» in consequence of the global world changes.

**Keywords:** national, cinema.

*Научное издание*

# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Сборник научных трудов

Выпуск 1

Главный редактор *А.В. Лаврухин*
Редактор *У.Ю. Верина*
Художник *А.А. Федорченко*
Корректор *У.Ю. Верина*
Компьютерная верстка *О.Э. Малевича*

Издательство
«Европейский гуманитарный университет»
г. Вильнюс, Литва
www.ehu.lt
e-mail: office@ehu.lt

Подписано в печать 08.11.2007. Формат 60x84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Гарнитура «Сегое».
Уч.-изд. л. 17,1. Усл. печ. л. 18,6. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius